

РОМАН ГАЗЕТА

№10(656) -1970



ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

Annotation

Выпуск роман-газеты посвящён 25-летию Победы. Сборник содержит рассказы писателей СССР, посвящённых событиям Великой Отечественной войны — на фронте и в тылу.

- [ЖИВАЯ ПАМЯТЬ](#)
- [Михаил Шолохов. НАУКА НЕНАВИСТИ](#)
- [Александр Довженко. НОЧЬ ПЕРЕД БОЕМ](#)
- [Алексей Толстой. РУССКИЙ ХАРАКТЕР](#)
- [Леонид Соболев. БАТАЛЬОН ЧЕТВЕРЫХ](#)
- [Янка Брыль. МАТЬ](#)
- [Вилис Лацис. БЛАГОДАРНОСТЬ ТЕНИСА УРГИ](#)
- [Константин Симонов. ПЕХОТИНЦЫ](#)
- [Юозэс Балтушис. РАССКАЗ ПАРТИЗАНА](#)
- [Николай Тихонов. РУКИ](#)
- [Фатех Ниязи. ХУРРАМ-ПОЧТАЛЬОН](#)
- [Вадим Кожевников. МАРТ — АПРЕЛЬ](#)
- [Емилиан Буков. МОЛЧАНИЕ](#)
- [Аркадий Первенцев. ВАЛЬКА С ТОРПЕДНОЙ «ДЕВЯТКИ»](#)
- [Геннадий Семенихин. ХМУРЫЙ ЛЕЙТЕНАНТ](#)
- [Эдуард Мянник. СТАЛЬНОЙ ТРОС](#)
- [Николай Грибачев. ДЕНЬ И ДВЕ НОЧИ](#)
- [Константин Лордкипанидзе. ТАК ДАВАЛСЯ ПОБЕДА](#)
- [Андрей Платонов. В СТОРОНУ ЗАКАТА СОЛНЦА](#)
- [Рачия Кочар. ВОЗВРАЩЕНИЕ СЫНА](#)
- [Анатолий Сафронов. ЧЕСТЬ РОДА](#)
- [Ата Кауштутов. СЕМЬЯ ОХОТНИКА КАНДЫМА](#)
- [Иван Стаднюк. СВОИМИ РУКАМИ](#)
- [Абдулла Каххар. СИНИЙ КОНВЕРТ](#)
- [Николай Камбулов. РУБЕЖ ГРИГОРИЯ БУРМИНА](#)
- [Габит Мусрепов. АКЛИМА](#)

- [Антти Тимонен. Дядя](#)
 - [Шабданбай Абдыраманов. СОЛДАТ](#)
 - [Кузьма Горбунов. ВЕСТНИК ДОБРЫЙ](#)
 - [Андрей Блинов. АЛЕШКИНА ЛЕГЕНДА](#)
 - [Энвер Мамедханлы. ОН ВЕРНУЛСЯ В ПЕСНЯХ](#)
 - [Василий Соколов. ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ](#)
 - [Василий Субботин. МОЙ ГИД](#)
 - [Ольга Берггольц. ВОЗВРАЩЕНИЕ МИРА](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
-

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

Второго мая 1946 года соединения Советской Армии завершили штурм Берлина. Над поверженной столицей третьего рейха взвилось красное знамя победы. К этому времени на всей территории Германии не осталось ни одной более или менее организованной части гитлеровских войск: они были разгромлены. Зловещее пламя мировой войны, взметнувшееся из логова фашистской Германии, было погашено. Через несколько дней представители ставки Гитлера вынуждены были подписать Акт о безоговорочной капитуляции. День окончания войны с фашистской Германией — 9 мая 1945 года — был объявлен в нашей стране всенародным праздником.

С тех пор прошло двадцать пять лет. Но чем дальше отодвигает нас время от тех исторических событий, тем масштабнее и величественнее видится их значение сегодня. Никогда не забудет человечество ратные и трудовые подвиги нашего народа, принесшего освобождение Европе от фашистского ига.

Мне, участнику многих сражений на фронтах Великой Отечественной войны, довелось пережить немало трудных, порой невыносимо тяжелых дней. Но в памяти от всех испытаний осталось чувство гордости за беспримерный героизм наших воинов. Защищая священные рубежи на берегах Волги или штурмуя вражеские укрепления на всем многотрудном пути от Волги до Берлина, советский солдат не знал страха в бою! Ни вода, ни огонь, ни ливни свинца, ни вихри рваного железа, что били ему в лицо на каждом шагу, ни холод в обледеневших окопах не могли остановить победного шествия наших воинов. Это были настоящие богатыри Земли Советской!

Победу ковал весь советский народ. И в этом всенародном подвиге принимали активное участие наши писатели, которые разили врага не только словом, но и храбро сражались в осажденных городах, партизанских отрядах, десантных войсках, участвовали в штурме Берлина... И многие из них отдали жизнь за Родину.

Писательское слово на фронте можно сравнить со снарядом, прицельно разящим врага. Оно вселяло в солдатские души веру в нашу победу, укрепляло моральную стойкость бойцов. Сколько благородного гнева к врагу разбудил в сердцах советских людей рассказ Михаила Шолохова „Наука ненависти"! Вспоминаются страстные выступления Николая Тихонова из осажденного Ленинграда. Его рассказы о мужестве защитников города Ленина, блокированного фашистами, поднимали дух, поддерживали неукротимое стремление разбить врага во что бы то ни стало. В героические дни Сталинградской битвы советские люди с волнением читали рассказы и очерки бойцов «литературного полка».

И все-таки в душу закрадывалась тревога: все ли узнают наши дети, будущие поколения о подвигах своих отцов, матерей, старших братьев и сестер, совершенных в боях с фашистскими захватчиками? Нас беспокоило, не останутся ли забытыми те, кто пал смертью храбрых на поле боя, не успев сказать ни слова о себе и своих боевых товарищах? Но уже в ходе войны стали появляться большие литературно-художественные полотна — романы, поэмы, пьесы, в которых во весь голос заговорили погибшие и живые участники войны. За это наше солдатское спасибо советским писателям! Они, летописцы героических дел своего народа, как бы вводят нас в горнило былых сражений, рассказывая молодежи, какой ценой была

добыта победа, мирная жизнь, и утверждают ответственность поколений за судьбу своего Отечества.

Молодежь должна питать поистине сыновнюю любовь к тем, кто вынес на своих плечах всю тяжесть самой кровопролитной войны, которую знало человечество. И привить ей эту любовь и желание следовать дорогой отцов, сохраняя преемственность боевых традиций, призвана наша печать — историческая и особенно художественная литература.

В этом сборнике в основном представлены рассказы, отображающие героику наших воинов, самоотверженный труд советских людей в тылу. Между тем далеко не все рассказы о войне вошли в этот небольшой по объему журнал. И все же, читая эти произведения, я как будто вновь оказываюсь там, на переднем крае борьбы с захватчиками. Вспоминаются и напряженные дни сражения под Москвой, и героическая стойкость людей в дни блокады Ленинграда, и огненные бури на берегах Волги, и штурмовые ночи на Днестре, и шквальные удары наших войск по укреплениям противника на его собственной территории.

Каждый из писателей по-своему рассказывает о войне, своих боевых друзьях, о массовом героизме советских людей на фронте и в тылу, о мужестве и отваге бойцов, командиров, политработников, которых вела к победе наша великая партия.

*МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
В. ЧУЙКОВ*

Михаил Шолохов. НАУКА НЕНАВИСТИ

На войне деревья, как и люди, имеют каждое свою судьбу. Я видел огромный участок леса, срезанного огнем нашей артиллерии. В этом лесу недавно укреплялись немцы, выбитые из села С., здесь они думали задержаться, но смерть скосила их вместе с деревьями. Под поверженными стволами сосен лежали мертвые немецкие солдаты, в зеленом папоротнике гнили их изорванные в клочья тела, и смолистый аромат расщепленных снарядами сосен не мог заглушить удушливо-приторной, острой вони разлагающихся трупов. Казалось, что даже земля с бурыми, опаленными и жесткими краями воронок источает могильный запах.

Смерть величественно и безмолвно властвовала на этой поляне, созданной и взрытой нашими снарядами, и только в самом центре поляны стояла одна чудом сохранившаяся березка, и ветер раскачивал ее израненные осколками ветви и шумел в молодых, глянцевито-клейких листках.

Мы проходили через поляну. Шедший впереди меня связной красноармеец слегка коснулся рукой ствола березы, спросил с искренним и ласковым удивлением:

Как же ты тут уцелела, милая?..

Но если сосна гибнет от снаряда, падая, как скошенная, и на месте среза остается лишь иглистая, истекающая смолой макушка, то по-иному встречается со смертью дуб.

На повесне немецкий снаряд попал в ствол старого дуба, росшего на берегу безымянной речушки. Рваная, зияющая пробоина иссушила полдерева, но вторая

половина, пригнутая разрывом к воде, весною дивно ожила и покрылась свежей листвой. И до сегодняшнего дня, наверное, нижние ветви искалеченного дуба купаются в текучей воде, а верхние всё еще жадно протягивают к солнцу точеные, тугие листья...

Высокий, немного сутулый, с приподнятыми, как у коршуна, широкими плечами, лейтенант Герасимов сидел у входа в блиндаж и обстоятельно рассказывал о сегодняшнем бое, о танковой атаке противника, успешно отбитой батальоном.

Худое лицо лейтенанта было спокойно, почти бесстрастно, воспаленные глаза устало прищурены. Он говорил надтреснутым баском, изредка скрещивая крупные узловатые пальцы рук, и странно не вязался с его сильной фигурой, с энергическим, мужественным лицом этот жест, так красноречиво передающий безмолвное горе или глубокое и тягостное раздумье.

Но вдруг он умолк, и лицо его мгновенно преобразилось: смуглые щеки побледнели, под скулами, перекатываясь, заходили желваки, а пристально устремленные вперед глаза вспыхнули такой неугасимой, лютой ненавистью, что я невольно повернулся в сторону его взгляда и увидел шедших по лесу от переднего края нашей обороны трех пленных немцев и сзади — конвоировавшего их красноармейца в выгоревшей, почти белой от солнца, летней гимнастерке и сдвинутой на затылок пилотке.

Красноармеец шел медленно. Мерно раскачивалась в его руках винтовка, посверкивая на солнце жалом штыка. И так же медленно брели пленные немцы, нехотя переставляя ноги, обутые в короткие, измазанные желтой глиной сапоги.

Шагавший впереди немец — пожилой, со впалыми щеками, густо заросшими каштановой щетиной, — поравнялся с блиндажом, кинул в нашу сторону

исподлобный, волчий взгляд, отвернулся, на ходу поправляя привешенную к поясу каску. И тогда лейтенант Герасимов порывисто вскочил, крикнул красноармейцу резким, лающим голосом:

— Ты что, на прогулке с ними? Прибавить шагу! Веди быстрее, говорят тебе!..

Он, видимо, хотел еще что-то крикнуть, но задохнулся от волнения и, круто повернувшись, быстро сбежал по ступенькам в блиндаж. Присутствовавший при разговоре политрук, отвечая на мой удивленный взгляд, вполголоса сказал:

Ничего не поделаешь, — нервы. Он в плену у немцев был, разве вы не знаете? Вы поговорите с ним как-нибудь. Он очень много пережил там, и после этого живых гитлеровцев не может видеть, именно живых! На мертвых смотрит ничего, я бы сказал — даже с удовольствием, а вот пленных увидит и либо закроет глаза и сидит бледный и потный, либо повернется и уйдет. — Политрук придвинулся ко мне, перешел на шепот: — Мне с ним пришлось два раза ходить в атаку; силища у него лошадиная, и вы бы посмотрели, что он делает... Всякие виды мне приходилось выдвигать, но как он орудует штыком и прикладом, знаете ли, — это страшно!

Ночью немецкая тяжелая артиллерия вела тревожащий огонь. Методически, через ровные промежутки времени, издали доносился орудийный выстрел, спустя несколько секунд над нашими головами, высоко в звездном небе, слышался железный клёкот снаряда, воющий звук нарастал и удалялся, а затем где-то позади нас, в направлении дороги, по которой днем густо шли машины, подвозившие к линии фронта боеприпасы, желтой зарницей вспыхивало пламя и громово звучал разрыв.

В промежутках между выстрелами, когда в лесу устанавливалась тишина, слышно было, как тонко пели комары и несмело перекликались в соседнем болотце потревоженные стрельбой лягушки.

Мы лежали под кустом орешника, и лейтенант Герасимов, отмахиваясь от комаров сломленной веткой, неторопливо рассказывал о себе. Я передаю этот рассказ так, как мне удалось его запомнить.

— До войны работал я механиком на одном из заводов Западной Сибири. В армию призван девятого июля прошлого года. Семья у меня — жена, двое ребят, отец-инвалид. Ну, на проводах, как полагается, жена и поплакала, и напутствие сказала: «Защищай родину и нас крепко. Если понадобится — жизнь отдай, а чтобы победа была нашей». Помню, засмеялся я тогда и говорю ей: «Кто ты мне есть, жена или семейный агитатор? Я сам большой, а что касается победы, так мы ее у фашистов вместе с горлом вынем, не беспокойся!»

Отец, тот, конечно, покрепче, но без наказа и тут не обошлось: «Смотри, говорит, Виктор, фамилия Герасимовых — это не простая фамилия. Ты — потомственный рабочий; прадед твой еще у Строганова работал; наша фамилия сотни лет железо для родины делала, и чтобы ты на этой войне был железным. Власть-то — твоя, она тебя командиром запаса до войны держала, и должен ты врага бить крепко».

«Будет сделано, отец».

По пути на вокзал забежал в райком партии. Секретарь у нас был какой-то очень сухой, рассудочный человек... Ну, думаю, уж если жена с отцом меня на дорогу агитировали, то этот вовсе спуску не даст, двинет какую-нибудь речугу на полчаса, обязательно двинет! А получилось все наоборот. «Садись, Герасимов, — говорит мой секретарь, — перед дорогой посидим минутку по старому обычаю».

Посидели мы с ним немного, помолчали, потом он встал, и вижу — очки у него будто бы отпотели... Вот, думаю, чудеса какие нынче происходят! А секретарь и говорит: «Все ясно и понятно, товарищ Герасимов. Помню я тебя еще вот таким, лопоухим, когда ты пионерский галстук носил, помню затем комсомольцем, знаю и как коммуниста на протяжении десяти лет. Иди, бей гадов беспощадно! Парторганизация на тебя надеется». Первый раз в жизни расцеловался я со своим секретарем, и, черт его знает, показался он тогда мне вовсе не таким уж сухарем, как раньше...

И до того мне тепло стало от этой его душевности, что вышел я из райкома радостный и взволнованный.

А тут еще жена развеселила. Сами понимаете, что провожать мужа на фронт никакой жене невесело; ну, и моя жена, конечно, тоже растерялась немного от горя, все хотела что-то важное сказать, а в голове у нее сквозняк получился, все мысли вылетели. И вот уже поезд тронулся, а она идет рядом с моим вагоном, руку мою из своей не выпускает и быстро так говорит:

«Смотри, Витя, береги себя, не простудись там, на фронте». — «Что ты, — говорю ей, — Надя, что ты! Ни за что не простужусь. Там климат отличный и очень даже умеренный». И горько мне было расставаться; и веселее стало от милых и глупеньких слов жены, и такое зло взяло на немцев. Ну, думаю, тронули нас, вероломные соседи, — теперь держитесь! Вколем мы вам по первое число!

Герасимов помолчал несколько минут, прислушиваясь к вспыхнувшей на переднем крае пулеметной перестрелке, потом, когда стрельба прекратилась, так же внезапно, как и началась, продолжал:

— До войны на завод к нам поступали машины из Германии. При сборке, бывало, раз по пять ощупаю каждую деталь, осмотрю ее со всех сторон. Ничего не

скажешь — умные руки эти машины делали. Книги немецких писателей читал и любил и как-то привык с уважением относиться к немецкому народу. Правда, иной раз обидно становилось за то, что такой трудолюбивый и талантливый народ терпит у себя самый паскудный гитлеровский режим, но это было в конце концов их дело. Потом началась война в Западной Европе...

И вот еду я на фронт и думаю: техника у немцев сильная, армия — тоже ничего себе. Черт возьми, с таким противником даже интересно подраться и наломать ему бока. Мы-то тоже к сорок первому году были не лыком шиты. Признаться, особой честности я от этого противника не ждал, какая уж там честность, когда имеешь дело с фашизмом, но никогда не думал, что придется воевать с такой бессовестной сволочью, какой оказалась армия Гитлера. Ну, да об этом после...

В конце июля наша часть прибыла на фронт. В бой вступили двадцать седьмого рано утром. Сначала, в новинку-то, было страшновато малость. Минометами сильно они нас одолевали, но к вечеру освоились мы немного и дали им по зубам, выбили из одной деревушки. В этом же бою захватили мы группу, человек в пятнадцать, пленных. Помню, как сейчас: привели их, испуганных, бледных; бойцы мои к этому времени остыли от боя, и вот каждый из них тащит пленным все, что может: кто — котелок щей, кто — табаку или папирос, кто — чаем угощает. По спинам их похлопывают, «камрадами» называют: за что, мол, воюете, камрады?..

А один боец-кадровик смотрел-смотрел на эту трогательную картину и говорит: «Слюни вы распустили с этими друзьями. Здесь они все камрады, а вы бы посмотрели, что эти камрады делают там, за линией фронта, и как они с нашими ранеными и с мирным

населением обращаются». Сказал, словно ушат холодной воды на нас вылил, и ушел.

Вскоре перешли мы в наступление и тут действительно насмотрелись... Сожженные дотла деревни, сотни расстрелянных женщин, детей, стариков, изуродованные трупы попавших в плен красноармейцев, изнасилованные и зверски убитые женщины, девушки и девочки-подростки...

Особенно одна осталась у меня в памяти: ей было лет одиннадцать, она, как видно, шла в школу; немцы поймали ее, затащили на огород, изнасиловали и убили. Она лежала в помятой картофельной ботве, маленькая девочка, почти ребенок, а кругом валялись залитые кровью ученические тетради и учебники... Лицо ее было страшно изрублено тесаком, в руке она сжимала раскрытую школьную сумку. Мы накрыли тело плащ-палаткой и стояли молча. Потом бойцы так же молча разошлись, а я стоял и, помню, как иступленный, шептал: «Барков, Половинкин. Физическая география. Учебник для неполной средней и средней школы». Это я прочитал на одном из учебников, валявшихся там же, в траве, а учебник этот мне знаком. Моя дочь тоже училась в пятом классе.

Это было неподалеку от Ружина. А около Сквиры в овраге мы наткнулись на место казни, где мучили захваченных в плен красноармейцев. Приходилось вам бывать в мясных лавках? Ну, вот так примерно выглядело это место... На ветвях деревьев, росших по оврагу, висели окровавленные туловища, без рук, без ног, со снятой до половины кожей... Отдельной кучей было свалено на дне оврага восемь человек убитых. Там нельзя было понять, кому из замученных что принадлежит, лежала просто куча крупно нарубленного мяса, а сверху — стопкой, как надвинутые одна на другую тарелки, — восемь красноармейских пилоток...

Вы думаете, можно рассказать словами обо всем, что пришлось видеть? Нельзя! Нет таких слов. Это надо видеть самому. И вообще хватит об этом! — Лейтенант Герасимов надолго умолк.

— Можно здесь закурить? — спросил я его.

— Можно. Курите в руку, — охрипшим голосом ответил он.

И, закулив, продолжал:

— Вы понимаете, что мы озверели, насмотревшись на все, что творили фашисты, да иначе и не могло быть. Все мы поняли, что имеем дело не с людьми, а с какими-то осатаневшими от крови собачьими выродками. Оказалось, что они с такой же тщательностью, с какой когда-то делали станки и машины, теперь убивают, насилуют и казнят наших людей. Потом мы снова отступали, но дрались как черти!

В моей роте почти все бойцы были сибиряки. Однако украинскую землю мы защищали прямо-таки отчаянно. Много моих земляков погибло на Украине, а фашистов мы положили там еще больше. Что ж, мы отходили, но духу им давали неплохо.

С жадностью затягиваясь папиросой, лейтенант Герасимов сказал уже несколько иным, смягченным тоном:

— Хорошая земля на Украине, и природа там чудесная! Каждое село и деревушка казались нам родными, может быть, потому, что, не скупясь, проливали мы там свою кровь, а кровь ведь, как говорят, роднит... И вот оставляешь какое-нибудь село, а сердце щемит и щемит, как проклятое. Жалко было, просто до боли жалко! Уходим и в глаза друг другу не глядим.

...Не думал я тогда, что придется побывать у фашистов в плену, однако пришлось. В сентябре я был первый раз ранен, но остался в строю. А двадцать

первого, в бою под Денисовкой, Полтавской области, я был ранен вторично и взят в плен.

Немецкие танки прорвались на нашем левом фланге, следом за ними потекла пехота. Мы с боем выходили из окружения. В этот день моя рота понесла очень большие потери. Два раза мы отбили танковые атаки противника, сожгли и подбили шесть танков и одну бронемашину, уложили на кукурузном поле человек сто двадцать гитлеровцев, а потом они подтянули минометные батареи, и мы вынуждены были оставить высотку, которую держали с полудня до четырех часов. С утра было жарко. В небе ни облачка, а солнце палило так, что буквально нечем было дышать. Мины ложились страшно густо, и, помню, пить хотелось до того, что у бойцов губы чернели от жажды, а я подавал команду каким-то чужим, окончательно осипшим голосом. Мы перебежали по ложине, когда впереди меня разорвалась мина. Кажется, я успел увидеть столб черной земли и пыли, и это — все. Осколок мины пробил мою каску, второй попал в правое плечо.

Не помню, сколько я пролежал без сознания, но очнулся от топота чьих-то ног. Приподнял голову и увидел, что лежу не на том месте, где упал. Гимнастерки на мне нет, а плечо наспех кем-то перевязано. Нет и каски на голове. Голова тоже кем-то перевязана, но бинт не закреплен, кончик его висит у меня на груди. Мгновенно я подумал, что мои бойцы тащили меня и на ходу перевязали, и я надеялся увидеть своих, когда с трудом поднял голову. Но ко мне бежали не свои, а немцы. Это топот их ног вернул мне сознание. Я увидел их очень отчетливо, как в хорошем кино. Я пошарил вокруг руками. Около меня не было оружия: ни нагана, ни винтовки, даже гранаты не было. Планшетку и оружие кто-то из наших снял с меня.

«Вот и смерть», — подумал я. О чем я еще думал в этот момент? Если вам это для будущего романа, так напишите что-нибудь от себя, а я тогда ничего не успел подумать. Немцы были уже очень близко, и мне не захотелось умирать лежа. Просто я не хотел, не мог умереть лежа, понятно? Я собрал все силы и встал на колени, касаясь руками земли. Когда они подбежали ко мне, я уже стоял на ногах. Стоял, и качался, и ужасно боялся, что вот сейчас опять упаду и они меня заколют лежащего. Ни одного лица я не помню. Они стояли вокруг меня, что-то говорили и смеялись. Я сказал: «Ну, убивайте, сволочи! Убивайте, а то сейчас упаду». Один из них ударил меня прикладом по шее, я упал, но тотчас снова встал. Они засмеялись, и один из них махнул рукой — иди, мол, вперед. Я пошел. Все лицо у меня было в засохшей крови, из раны на голове все еще бежала кровь, очень теплая и липкая, плечо болело, и я не мог поднять правую руку. Помню, что мне очень хотелось лечь и никуда не идти, но я все же шел...

Нет, я вовсе не хотел умирать и тем более — оставаться в плену. С великим трудом преодолевая головокружение и тошноту, я шел, — значит, я был жив и мог еще действовать. Ох, как меня томила жажда! Во рту у меня спеклось, и все время, пока мои ноги шли, перед глазами колыхалась какая-то черная штора. Я был почти без сознания, но шел и думал: «Как только напьюсь и чуточку отдохну — убегу!»

На опушке рощи нас всех, попавших в плен, собрали и построили. Все это были бойцы соседней части. Из нашего полка я угадал только двух красноармейцев третьей роты. Большинство пленных было ранено. Немецкий лейтенант на плохом русском языке спросил, есть ли среди нас комиссары и командиры. Все молчали. Тогда он еще раз спросил: «Комиссары и офицеры идут два шага вперед». Никто из строя не вышел.

Лейтенант медленно прошел перед строем и отобрал человек шестнадцать, по виду похожих на евреев. У каждого он спрашивал: «Юде?» — и, не дожидаясь ответа, приказывал выходить из строя. Среди отобранных им были и евреи, и армяне, и просто русские, но смуглые лицом и черноволосые. Всех их отвели немного в сторону и расстреляли на наших глазах из автоматов. Потом нас наспех обыскали и отобрали бумажники и все, что было из личных вещей. Я никогда не носил партбилета в бумажнике, боялся потерять; он был у меня во внутреннем кармане брюк, и его при обыске не нашли. Все же человек — удивительное создание: я твердо знал, что жизнь моя — на волоске, что если меня не убьют при попытке к бегству, то все равно убьют по дороге, так как от сильной потери крови я едва ли мог бы идти наравне с остальными, но когда обыск кончился и партбилет остался при мне, — я так обрадовался, что даже про жажду забыл!

Нас построили в походную колонну и погнали на запад. По сторонам дороги шел довольно сильный конвой и ехало человек десять немецких мотоциклистов. Гнали нас быстрым шагом, и силы мои приходили к концу. Два раза я падал, вставал и шел потому, что знал, что если пролежу лишнюю минуту и колонна пройдет, — меня пристрелят там же, на дороге. Так произошло с шедшим впереди меня сержантом. Он был ранен в ногу и с трудом шел, стоная, иногда даже вскрикивая от боли. Прошли с километр, и тут он громко сказал:

— Нет, не могу. Прощайте, товарищи! — и сел среди дороги.

Его пытались на ходу поднять, поставить на ноги, но он снова опускался на землю. Как во сне, помню его очень бледное молодое лицо, нахмуренные брови и мокрые от слез глаза... Колонна прошла. Он остался

позади. Я оглянулся и увидел, как мотоциклист подъехал к нему вплотную, не слезая с седла, вынул из кобуры пистолет, приставил к уху сержанта и выстрелил. Пока дошли до речки, фашисты пристрелили еще нескольких отстававших красноармейцев.

И вот уже вижу речку, разрушенный мост и грузовую машину, застрявшую сбоку переезда, и тут падаю вниз лицом. Потерял ли я сознание? Нет, не потерял. Я лежал, протянувшись во весь рост, во рту у меня было полно пыли, я скрипел от ярости зубами, и песок хрустел у меня на зубах, но подняться я не мог. Мимо меня шагали мои товарищи. Один из них тихо сказал: «Вставай же, а то убьют!» Я стал пальцами раздирать себе рот, давить глаза, чтобы боль помогла мне подняться...

А колонна уже прошла, и я слышал, как шуршат колеса подъезжающего ко мне мотоцикла. И все-таки я встал! Не оглядываясь на мотоциклиста, качаясь, как пьяный, я заставил себя догнать колонну и пристроился к задним рядам. Проходившие через речку немецкие танки и автомашины взмутили воду, но мы пили ее, эту коричневую теплую жижу, и она казалась нам слаще самой хорошей ключевой воды. Я намочил голову и плечо. Это меня очень освежило, и ко мне вернулись силы. Теперь-то я мог идти в надежде, что не упаду и не останусь лежать на дороге...

Только отошли от речки, как по пути нам встретилась колонна средних немецких танков. Они двигались нам навстречу. Водитель головного танка, рассмотрев, что мы — пленные, дал полный газ и на всем ходу врезался в нашу колонну. Передние ряды были смяты и раздавлены гусеницами. Пешие конвойные и мотоциклисты с хохотом наблюдали эту картину, что-то орали высунувшимся из люков танкистам и размахивали руками. Потом снова

построили нас и погнали сбоку дороги. Веселые люди, ничего не скажешь...

В этот вечер и ночью я не пытался бежать, так как понял, что уйти не смогу, потому что очень ослабел от потери крови, да и охраняли нас строго, и всякая попытка к бегству наверняка закончилась бы неудачей. Но как проклинал я себя впоследствии за то, что не предпринял этой попытки! Утром нас гнали через одну деревню, в которой стояла немецкая часть. Немецкие пехотинцы высыпали на улицу посмотреть на нас. Конвой заставил нас бежать через всю деревню рысью. Надо же было унижить нас в глазах подходившей к фронту немецкой части. И мы бежали. Кто падал или отставал, в того немедленно стреляли. К вечеру мы были уже в лагере для военнопленных.

Двор какой-то МТС был густо огорожен колючей проволокой. Внутри плечом к плечу стояли пленные. Нас сдали охране лагеря, и те прикладами винтовок загнали нас за огорожу. Сказать, что этот лагерь был адом, — значит, ничего не сказать. Уборной не было. Люди испражнялись здесь же и стояли и лежали в грязи и в зловонной жиже. Наиболее ослабевшие вообще уже не вставали. Воду и пищу давали раз в сутки. Кружку воды и горсть сырого проса или прелого подсолнуха, вот и все. Иной день совсем забывали что-либо дать...

Дня через два пошли сильные дожди. Грязь в лагере растолкли так, что бродили в ней по колено. Утром от намокших людей шел пар, словно от лошадей, а дождь лил не переставая... каждую ночь умирало по несколько десятков человек. Все мы слабели от недоедания с каждым днем. Меня вдобавок мучили раны.

На шестые сутки я почувствовал, что у меня еще сильнее заболело плечо и рана на голове. Началось нагноение. Потом появился дурной запах. Рядом с лагерем были колхозные конюшни, в которых лежали тяжелораненые красноармейцы. Утром я обратился к

унтеру из охраны и попросил разрешения обратиться к врачу, который, как сказали мне, был при раненых. Унтер хорошо говорил по-русски. Он ответил: «Иди, русский, к своему врачу. Он немедленно окажет тебе помощь».

Тогда я не понял насмешки и, обрадованный, побрел к конюшне.

Военврач третьего ранга встретил меня у входа. Это был уже конченный человек. Худой до изнеможения, измученный, он был уже полусумасшедшим от всего, что ему пришлось пережить. Раненые лежали на навозных подстилках и задыхались от дикого зловония, наполнявшего конюшню. У большинства в ранах кишели черви, и те из раненых, которые могли, выковыривали их из ран пальцами и палочками... Тут же лежала груда умерших пленных, их не успевали убирать.

«Видели? — спросил у меня врач. — Чем же я могу вам помочь? У меня нет ни одного бинта, ничего нет! Идите отсюда, ради бога, идите! А бинты ваши сорвите и присыпьте раны золой. Вот здесь у двери — свежая зола».

Я так и сделал. Унтер встретил меня у входа, широко улыбаясь. «Ну, как? О, у ваших солдат превосходный врач! Оказал он вам помощь?» Я хотел молча пройти мимо него, но он ударил меня кулаком в лицо, крикнул: «Ты не хочешь отвечать, скотина?!» Я упал, и он долго бил меня ногами в грудь и в голову. Бил до тех пор, пока не устал. Этого фашиста я не забуду до самой смерти, нет, не забуду! Он и после бил меня не раз. Как только увидит сквозь проволоку меня, приказывает выйти и начинает бить, молча, сосредоточенно...

Вы спрашиваете, как я выжил?

До войны, когда я еще не был механиком, а работал грузчиком на Каме, я на разгрузке носил по два куля соли, в каждом — по центнеру. Силенка была, не

жаловался, к тому же вообще организм у меня здоровый, но главное — это то, что не хотел я умирать, воля к сопротивлению была сильна. Я должен был вернуться в строй бойцов за родину, и я вернулся, чтобы мстить врагам до конца!

Из этого лагеря, который являлся как бы распределительным, меня перевели в другой лагерь, находившийся километрах в ста от первого. Там все было так же устроено, как и в распределительном: высокие столбы, обнесенные колючей проволокой, ни навеса над головой, ничего. Кормили так же, но изредка вместо сырого проса давали по кружке вареного гнилого зерна или же втаскивали в лагерь трупы издохших лошадей, предоставляя пленным самим делить эту падаль. Чтобы не умереть с голоду, мы ели — и умирали сотнями... Вдобавок ко всему в октябре наступили холода, беспрестанно шли дожди, по утрам были заморозки. Мы жестоко страдали от холода. С умершего красноармейца мне удалось снять гимнастерку и шинель. Но и это не спасало от холода, а к голоду мы уже привыкли...

Стерегли нас разжиревшие от грабежей солдаты. Все они по характеру были сделаны на одну колодку. Наша охрана на подбор состояла из отъявленных мерзавцев. Как они, к примеру, развлекались: утром к проволоке подходит какой-нибудь ефрейтор и говорит через переводчика:

«Сейчас раздача пищи. Раздача будет происходить с левой стороны».

Ефрейтор уходит. У левой стороны огорожи толпятся все, кто в состоянии стоять на ногах. Ждем час, два, три. Сотни дрожащих, живых скелетов стоят на пронизывающем ветру... Стоят и ждут.

И вдруг на противоположной стороне быстро появляются охранники. Они бросают через проволоку куски нарубленной конины. Вся толпа, понукаемая

голодом, шарахается туда, около кусков измазанной в грязи конины идет свалка...

Охранники хохочут во все горло, а затем резко звучит длинная пулеметная очередь. Крики и стоны. Пленные отбегают к левой стороне огорожи, а на земле остаются убитые и раненые... Высокий обер-лейтенант — начальник лагеря — подходит с переводчиком к проволоке. Обер-лейтенант, еле сдерживаясь от смеха, говорит:

«При раздаче пищи произошли возмутительные беспорядки. Если это повторится, я прикажу вас, русских свиней, расстреливать беспощадно! Убрать убитых и раненых!» Гитлеровские солдаты, толпящиеся позади начальника лагеря, просто помирают со смеху. Им по душе «остроумная» выходка их начальника.

Мы молча вытаскиваем из лагеря убитых, хороним их неподалеку, в овраге... Били и в этом лагере кулаками, палками, прикладами. Били так просто, от скуки или для развлечения. Раны мои затянулись, потом, наверное от вечной сырости и побоев, снова открылись и болели нестерпимо. Но я все еще жил и не терял надежды на избавление... Спали мы прямо в грязи, не было ни соломенных подстилок, ничего. Собьемся в тесную кучу, лежим. Всю ночь идет тихая возня: зябнут те, которые лежат на самом низу, в грязи, зябнут и те, которые находятся сверху. Это был не сон, а горькая мука.

Так шли дни, словно в тяжком сне. С каждым днем я слабел все более. Теперь меня мог бы свалить на землю и ребенок. Иногда я с ужасом смотрел на свои обтянутые одной кожей, высохшие руки, думал: «Как же я уйду отсюда?!» Вот когда я проклинал себя за то, что не попытался бежать в первые же дни. Что ж, если бы убили тогда, не мучился бы так страшно теперь.

Пришла зима. Мы разгребали снег, спали на мерзлой земле. Все меньше становилось нас в лагере... Наконец

было объявлено, что через несколько дней нас отправят на работу. Все ожили. У каждого проснулась надежда, хоть слабенькая, но надежда, что, может быть, удастся бежать.

В эту ночь было тихо, но морозно. Перед рассветом мы услышали орудийный гул. Все вокруг меня зашевелилось. А когда гул повторился, вдруг кто-то громко сказал:

— Товарищи, наши наступают!

И тут произошло что-то невообразимое: весь лагерь поднялся на ноги, как по команде! Встали даже те, которые не поднимались по нескольку дней. Вокруг слышался горячий шепот и подавленные рыдания... Кто-то плакал рядом со мной по-женски, навзрыд... Я тоже... я тоже... — прерывающимся голосом быстро проговорил лейтенант Герасимов и умолк на минуту, но затем, овладев собой, продолжал уже спокойнее: — У меня тоже катились по щекам слезы и замерзали на ветру... Кто-то слабым голосом запел «Интернационал», мы подхватили тонкими, скрипучими голосами. Часовые открыли стрельбу по нам из пулеметов и автоматов, раздалась команда: «Лежать!» Я лежал, вдавив тело в снег, и плакал, как ребенок. Но это были слезы не только радости, но и гордости за наш народ. Фашисты могли убить нас, безоружных и обессилевших от голода, могли замучить, но сломить наш дух не могли, и никогда не сломят! Не на тех напали, это я прямо скажу.

Мне не удалось в ту ночь дослушать рассказ лейтенанта Герасимова. Его срочно вызвали в штаб части. Но через несколько дней мы снова встретились. В землянке пахло плесенью и сосновой смолой. Лейтенант сидел на скамье, согнувшись, положив на колени огромные кисти рук со скрещенными пальцами. Глядя на него, невольно я подумал, что это там, в

лагере для военнопленных, он привык сидеть вот так, скрестив пальцы, часами молчать и тягостно, бесплодно думать...

— Вы спрашиваете, как мне удалось бежать? Сейчас расскажу. Вскоре после того, как услышали мы ночью орудийный гул, нас отправили на работу по строительству укреплений. Морозы сменились оттепелью. Шли дожди. Нас гнали на север от лагеря. Снова было то же, что и вначале: истощенные люди падали, их пристреливали и бросали на дороге...

Впрочем, одного унтер застрелил за то, что он на ходу взял с земли мерзлую картофелину. Мы шли через картофельное поле. Старшина, по фамилии Гончар, украинец по национальности, поднял эту проклятую картофелину и хотел спрятать ее. Унтер заметил. Ни слова не говоря, он подошел к Гончару и выстрелил ему в затылок. Колонну остановили, построили. «Все это — собственность германского государства, — сказал унтер, широко поводя вокруг рукой. — Всякий из вас, кто самовольно что-либо возьмет, будет убит».

В деревне, через которую мы проходили, женщины, увидев нас, стали бросать нам куски хлеба, печеный картофель. Кое-кто из наших успел поднять, остальным не удалось: конвой открыл стрельбу по окнам, а нам приказано было идти быстрее. Но ребяташки— бесстрашный народ, они выбегали за несколько кварталов вперед, прямо на дорогу клали хлеб, и мы подбирали его. Мне досталась большая вареная картофелина. Разделили ее пополам с соседом, съели с кожурой. В жизни я не ел более вкусного картофеля!

Укрепления строились в лесу. Немцы значительно усилили охрану, выдали нам лопаты. Нет, не строить им укрепления, а разрушать я хотел!

В этот же день перед вечером я решился: вылез из ямы, которую мы рыли, взял лопату в левую руку, подошел к охраннику... До этого я заметил, что

остальные немцы находятся у рва и, кроме этого, какой наблюдал за нашей группой, поблизости никого из охраны не было.

— У меня сломалась лопата... вот посмотрите, — бормотал я, приближаясь к солдату. На какой-то миг мелькнула у меня мысль, что если не хватит сил и я не свалю его с первого удара, — я погиб. Часовой, видимо, что-то заметил в выражении моего лица. Он сделал движение плечом, снимая ремень автомата, и тогда я нанес удар лопатой ему по лицу. Я не мог ударить его по голове, на нем была каска. Силы у меня все же хватило, немец без крика запрокинулся навзничь.

В руках у меня автомат и три обоймы. Бегу! И тут-то оказалось, что бегать я не могу. Нет сил, и баста! Остановился, перевел дух и снова еле-еле потрусил рысцей. За оврагом лес был гуще, и я стремился туда. Уже не помню, сколько раз падал, вставал, снова падал... Но с каждой минутой уходил все дальше. Всхлипывая и задыхаясь от усталости, пробирался я по чаще на той стороне холма, когда далеко сзади застучали очереди автоматов и послышался крик. Теперь поймать меня было нелегко.

Приближались сумерки. Но если бы немцы сумели напасть на мой след и приблизиться, — только последний патрон я приберег бы для себя. Эта мысль меня ободрила, я пошел тише и осторожнее.

Ночевал в лесу. Какая-то деревня была от меня в полукилометре, но я побоялся идти туда, опасаясь нарваться на немцев.

На другой день меня подобрала партизаны. Недели две я отлеживался у них в землянке, окреп и набрался сил. Вначале они относились ко мне с некоторым подозрением, несмотря на то что я достал из-под подкладки шинели кое-как зашитый мною в лагере партбилет и показал им. Потом, когда я стал принимать участие в их операциях, отношение ко мне сразу

изменилось. Еще там открыл я счет убитым мною фашистам, тщательно веду его до сих пор, и цифра помаленьку подвигается к сотне.

В январе партизаны провели меня через линию фронта. Около месяца пролежал в госпитале. Удалили из плеча осколок мины, а добытый в лагерях ревматизм и все остальные недуги буду залечивать после войны. Из госпиталя отпустили меня домой на поправку. Пожил дома неделю, а больше не мог. Затосковал, и все тут! Как там ни говори, а мое место здесь, до конца.

Прощались мы у входа в землянку. Задумчиво глядя на залитую ярким солнечным светом просеку, лейтенант Герасимов говорил:

— ...И воевать научились по-настоящему, и ненавидеть, и любить. На таком оселке, как война, все чувства отлично оттачиваются. Казалось бы, любовь и ненависть никак нельзя поставить рядышком; знаете, как это говорится: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань», — а вот у нас они впряжены и здорово тянут! Тяжко я ненавижу фашистов за все, что они причинили моей родине и мне лично, и в то же время всем сердцем люблю свой народ и не хочу, чтобы ему пришлось страдать под фашистским игмом. Вот это-то и заставляет меня, да и всех нас, драться с таким ожесточением, именно эти два чувства, воплощенные в действие, и приведут к нам победу. И если любовь к родине хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть всегда мы носим на кончиках штыков. Извините, если это замысловато сказано, но я так думаю, — закончил лейтенант Герасимов и впервые за время нашего знакомства улыбнулся простой и милой, ребяческой улыбкой.

А я впервые заметил, что у этого тридцатидвухлетнего лейтенанта, надломленного

пережитыми лишениями, но все еще сильного и крепкого, как дуб, ослепительно-белые от седины виски. И так чиста была эта добытая большими страданиями седина, что белая нитка паутины, прилипшая к пилотке лейтенанта, исчезала, коснувшись виска, и рассмотреть ее было невозможно, как я ни старался.

1942

Александр Довженко. НОЧЬ ПЕРЕД БОЕМ

— Товарищ командир! Завтра вы поведете нас в бой. Мы все вот тут — и старики, что по полгода уже на войне, и молодые, вроде Овчаренко, идущего в битву впервые, все мы знаем, что завтра бой будет горячий и кое-кто из нас, конечно, погибнет. Правду я говорю?

Иван Дробот, молодой танкист, с чрезвычайно приятным и скромным лицом, волновался.

— Правду, — ответил просто и спокойно Герой Советского Союза, знаменитый их командир Петро Колодуб. — Продолжайте, Дробот. Что вы хотели сказать перед боем?

— Я хотел спросить вас, хотя о вас пишут во всех газетах и на собраниях говорят как о человеке бесстрашном и неутомимом, хоть вы на вид, извините, такой маленький и не очень как будто здоровый, так вот, откуда оно у вас берется, все это, что говорят и сами мы знаем, что вы из любого пекла выходите победителем; так вот, что вы за человек такой, скажите нам неофициально, как будто мы и не на войне совсем. Где ваш не боевой, а, как бы сказать, внутренний секрет? Может, я не так высказался, извините.

Дробот покраснел от своего долгого и путаного вопроса. Ему казалось, что он неясно выразился, и это его совсем расстроило.

— Нет, хорошо, Дробот. Вы прекрасно и тонко высказали свою мысль, и я с большой охотой вам отвечу, тем более что и секрет такой у меня действительно есть.

Все бойцы и командиры, а их было в землянке человек тридцать, задвигались и, расположившись для

долгого и приятного слушания, притихли. Командир умел рассказывать. Они были добрые бойцы, и Петро Колодуб любил их. Отложив на походный столик трубку, он немного выждал, пока стало совсем тихо.

— Это было на Десне, — начал знаменитый капитан, улыбнувшись. — Да... Одним словом, самый обыкновенный наш украинский дед-рыбалка перевернул мне тогда всю душу.

Кто из бойцов, познавших всю тяжесть прошлогоднего фашистского вторжения, забудет этого деда? Помните осень? Что ни река, то и драма, то и перевозчики-деды, словно добрые речные духи. Они были смелые, эти деды, суровые и не боялись смерти. Кое-кто сказал бы, что они не любили нас на переправах. Иной раз их нелюбовь к нам ну прямо-таки не знала границ. Было такое?

— Было, — вздохнули в землянке.

— Ну так вот, слушайте.

Капитан Колодуб подобрал под себя ноги — это была его любимая поза с пастушеского детства — и, упершись руками в колени, посмотрел на бойцов.

В землянке было накурено. Бойцы сидели в полутьме в самых разнообразных позах, прислонившись друг к другу. Все они были разные, и все родные. Всех их объединяло чувство единой семьи, то незабываемое и неповторимое, что перед лицом ежедневных опасностей сближает на войне чистые сердца воинов, что остается потом у человека самым дорогим воспоминанием на всю его жизнь.

Пройдут года, заживут раны, запашутся вражьи могилы, застроятся пожарища, и многие события перепутаются в седых головах от частых воспоминаний и превратятся в рассказы, но одно останется неизменно верным и незабываемым — высокое благородное чувство товарищества и братства всех бойцов, что

уничтожили и стерли с лица земли фашистское безумие.

— Мы отходили без связи, без артиллерии, мы отступали на восток день и ночь. Вражьи клещи вот-вот должны были сомкнуться перед нами. Мы несли на плечах своих раненых товарищей, падали с ними, проклинали все на свете и шли дальше. Правду сказать, были такие, что и стрелялись в отчаянии и гордости. Были такие, что бросали оружие и с горькой бранью ползли к своим хатам, не имея духу пройти мимо.

Колодуб замолк, задумавшись.

— Нас было немного, человек пятнадцать, — сказал он погодя. — Было несколько танкистов из сожженных танков, были пулеметчики, политработники, два бортмеханика, радист и даже один полковник. Я был тогда еще командиром танка, брошенного на дороге с пробитым мотором. А до войны я был садовником, песни пел, девчат любил, да, кажется, и все.

Капитан Колодуб так тепло и с такой иронией усмехнулся, что за ним усмехнулась вся землянка.

— Мы выбились из сил. Ноги нас уже не несли, наступала ночь. Перед нами, за селом, большая река. Многие из нас не умели плавать. А враги были недалеко.

Нам указали хату перевозчика.

— Тикаете, бисовы сыны? — спросил нас дед Платон Пивторак, выходя из сеней с веслом, сетью и деревянным черпаком. — Богато я уже вас перевез. Ой, богато, да здоровые все, да молодые, да все — перевези да перевези... Савка! — крикнул Платон в соседнюю хатку. — Пойдем, Савка. Надо перевозить — нехай уж тикают. Га?! Пойдем, пойдем, это уже, мабудь, последние!

Савка вышел из своей хаты и смотрел на нас с притворным удивлением. Было ему лет семьдесят, если

не больше. Был он маленький, с подстриженной бородкой, очень похожий на икону Николая Угодника, если бы безобразная, как коровий кизяк, кепка не лежала у него на ушах да землистого, так сказать, цвета свитер не висел на нем, как отцовский пиджак на подростке.

За дедом Савкой из сеней вышел здоровый хлопец с двумя веслами.

— Э-ге-е! Что-то вы, хлопцы, не той, не как его, не туда будто идете, — сказал дед Савка и хитро посмотрел на нас. — Одежда вот на вас новая, да и торбочки и ремни, эге, и сами молодые, а заворачиваете, неначе, не туды, га!

— Пойдем, уж довольно, — сказал Платон.

Пошли.

— Успокойтесь, лодка есть, и довольно порядочная,— прошептал я нашему спутнику Борису Троянде, который все время волновался больше всех. Он не умел плавать.

— Вы думаете, они нас перевезут? По-моему, надо быть очень осторожными, — сдерживая волнение, сказал Троянда.

— Не знаю, чего они так тикают? — сказал дед Платон, идя с Савкой к реке, как будто нас тут вовсе и не было. — Чего они так той смерти боятся? Раз уж война, так ее нечего бояться. Уж если судилась она кому, так и не сбежишь от нее никуда.

— Эге! — согласился Савка. — Уж, как говорится, ни в танке не спрячешься, ни в печи не замажешься.

— Душа несерьезная, разбалованная, — сердился Платон. — Ты возьми моего Левка. Как он на Халхин-Голе тех самых, как их, бил? Всех до одного вычистил! Читал письмо? Полковник Левко Пивторак, я понимаю! А это казна — що, не люди.

Мы шли молча тропинкой в густом лозняке. Деды шли впереди с сетками и веслами, очень медленно, как

на обычную рыбную ловлю, и, казалось, не обращали внимания ни на орудийную стрельбу, ни на рев вражеских самолетов, — словом, весь фашистский фейерверк, что так замучил нас за последние дни тяжелого наступления, для них вовсе не существовал.

— Слушай, старик, ты не можешь идти немножко быстрее? — обратился к Платону Троянда.

Платон не ответил.

— Слушайте, диду, вы не можете идти немножко швидче? — сдерживая себя, спросил Троянда еще раз.

— Не могу, — ответил Платон. — Чего вы такой швидкий стали, кто вас знает? Стар я уже швидко ходить. Отходил свое.

— Скажите, а где речка? Далеко речка?

— А вот и речка.

Действительно, лозняк сразу кончился, и мы вышли на чистый песчаный плёс. Перед нами была тихая, широкая Десна. За рекой крутой берег, а далее вправо — снова пески и лозы. За ними темные леса, а над рекой и над лесами вечернее небо, какого я никогда в жизни таким не видел.

Солнце давно уже зашло. Но его лучи еще освещали из-за горизонта верхи исполинского нагромождения туч, что надвигались с запада на все небо. Тучи были тяжелые, темно-темно-синие, снизу совсем черные, а самый верх, самый венец их, почти над нашими головами, написан был буйными кручеными кроваво-красными и желтыми мазками.

Величественные немые молнии воробьиной ночи полыхали меж громадами туч, почти не угасая. И все это отражалось в воде. Казалось, мы стояли не на земле и реки нет, а есть межоблачный темный простор и мы затеряны в этом просторе, как речные песчинки.

Небо было необычайное. Природа была словно в заговоре с событиями и предупреждала нас своими грозными знаками. Рыба боялась такой ночи и

бросалась на отмели у берегов. Где-то за нами, под самыми тучами, возносились, как змеи, ракеты. Было светло. Светило желтоватым отблеском от зловещей короны туч. Далеко гремели орудия. Мы стояли неподвижно. Было -что-то торжественное и грозное вокруг. Все приумолкли и растерялись, точно перед каким-то необыкновенным событием.

— Ну, сидайте, повезем. Чего стали? — сказал дед Платон. Он уже стоял с веслом возле челна. — Повезем уже, а там — что бог даст. Не умели соблюсти себя, так уж повезем, тикайте, черт вашу душу бери... Куда ты шагаешь? Челна не видел, боин? — загремел дед на кого-то из нас.

Мы молча уселись в лодку, и каждый стал думать свою невеселую думу.

— У тебя готово, Савка?

— Можно.

— А туч наперло. Ач, що робится! Страшный суд, что ли, начинается.

Дед Платон поглядел на небо и плюнул в ладонь. Потом он взял весло и сильным рывком оттолкнулся от берега. Савка с внуком налегли на боковые весла. Челн был большой и старый. Весь он был просмолен и иссечен временем.

Я сидел в челне вблизи деда Платона. Я смотрел на тихую реку, и на берега, и на сурового кормчего, что возвышался надо мною на фоне торжественного неба. Мне показалось, что меня перевозят на тот свет. Стыд, и отчаяние, и невыразимая тоска, и множество других чувств охватили мою душу, скрутили ее и пригнули. Прощай, моя красавица Десна!

Меня вывел из задумчивости голос Платона. Он продолжал с Савкой свою беседу, оскорбительную и горькую для нас. Видно, его что-то мучило, что-то хотелось ему додумать до конца. Он словно думал вслух.

— Черт его знае, что оно такое началось. Сегодня утром заходит в хату какое-то дерьмо, да все кругом в оружии, да в ремнях, да не в каких-либо ремнях, а в новых.

— Эге! — слышался сзади голос Савки.

— А это ж всё гроши!

— Эге!

— Вставай, говорит, вези, довольно спать. А я три ночи не спал, возил.

Платон немного помолчал.

— А недавно вот перед вечером перевозил я с Митрофаном одну партию. Так одно, чёрты его батька бери, в очках, вроде того, что возле тебя сидит, тоже в новых ремнях, так еще револьвер вытянул да кричит— вези, говорит, скорей, куркуль! Ей-богу, правда. А у самого руки дрожат и очи вытаращил, как ерш чи окунь, от страха. Вот творение, хай бог милует.

— А-а, черт зна що.

— Эге. Так товарищи вступились, спасибо им. Что же ты, говорят, чертов сын, дида обижаешь? Да чуть не побили. Так притихло. Вот такая пустота. Ну, ты подумай... О, здорово! — прислушался Платон к орудийным выстрелам. — Скоро, мабудь, появится герман.

Прогремели выстрелы тяжелых орудий. Пролетели перепуганные утки.

— Диду, перевези... — сердился Платон.

— Эге! — подхватил Савка. — А не знают, тряся их матери, что уж кому на войне судилося помереть, так не выкрутишься, никакой челн тебя не спасет. Не догонит пуля, догонит воша, а война свое возьмет... Бери влево! Быстрина велика, — захлюпал Савка веслом.

— Беру. Коли б мой Левко со своим полком был тут, тот бы не отступил, нет. Тот бы этого челна повернул назад, да по шеям, по шеям! — рассердился

Платон и налег на весло. — Тот не отступит, нет, черта с два!

— Эге! Вот такой и мой Демид. Его хоть огнем жги, хоть на шматки режь, ну не отступит. Куды твое дело! — сказал Савка и плюнул в ладони. — А ци думают спастись, а оно, гляди, выйдет на то, что долго будут харкать кровью. Это же все доведется забирать назад!

— А доведется, — подхватил Платон и со всей силы гребнул веслом три раза. — Шутка сказать, сколько земли надо отбирать назад. А это же все кровь!

Я смотрел на деда Платона и с трепетом слушал каждое его слово. Дед верил в нашу победу. Он был для меня живым и грозным голосом нашего мужественного народа.

— Наша часть вынуждена была отступить, — сказал полковник.

— Балакай. Не умели биться. Бот тебе и отступление, — сказал Платон. — Что в войсковом уставе сказано про войну? Ну? Сказано — коли целишь в ворога, возненавидь цель.

— А где ваша ненависть? — подхватил Савка.

— Эге! А умирать боитесь. Значит, нема у вас живой ненависти. Нема! — Дед Платон даже крякнул и привстал на корме.

Мы не знали, что отвечать.

— О, плыве шось. Наш чи фашист? — сказал дед Платон и притянул веслом труп.

— Фашист... А, холера на твою голову. Уже плывешь. Ач, куда забрался. В Десну! Успел, нечистый. А вы все думаете да все страдаете. А страдать некогда!

— Я, диду, ненавижу фашизм всей душой! — крикнул Троянда и даже привстал от волнения.

— Значит, душа у тебя мала, — сказал Платон.— Душа, хлопче, она бывает всякая. Одна глубока и быстра, как Днепро, другая — как Десна, вот третья —

как лужица, а, часом, бывает так, что и лужицы нет, а так что-то мокренькое, вроде, извините, бык покропил.

— Ну, а если душа большая, а человек нервный?— обиделся Троянда и рассердился тут же на себя. Был он умный и находчивый человек, а тут вдруг вся находчивость словно испарилась.

— А ты прикуй себя от страха цепью к пулемету, да и клади врага молча до смерти, — сказал Платон. — А там уже когда-то живые разберут, какой ты был нервный. А то, выходит, ненависти в тебе много, а нервов и себялюбства еще больше. Вот и перевезите, диду! А ненависть твоя потратится на что-либо другое. Какая же ей цена, когда умирать не умеешь?

— Ну, это не всякий может, — пролепетал окончательно сбитый с толку Троянда.

— В том-то и беда. А надо, чтоб всякий мог, когда враг ломится. Хлеба ж кушать всякий требует. И языками балакать все научились.

— Подай чо-го-го-го! Човен пода-а-ай! Ага-га-га! — донеслось с того берега.

— О, уже распинаются нервные души. А нема того чтоб тихо подождать, — сказал Савка.

Проплыли немного молча. Платон начал сильно грести веслом. Видно, ему хотелось что-то еще сказать, чем-то перебить свое недовольство.

— Ты подумай себе, Савка, как народу смотреть на все это. Ведь все же надеялись на них, как я на своего Левка, а оно вот что выходит, — диду, перевези!

— Эге, — промолвил Савка. — Сколько лет их учили, ты подумай, Платон. А они бегают. Вот и сказать им теперь: что делаете? Стойте, не смейте тикать! Чем же дальше вы тикаете, тем больше крови прольется. Да не только вашей, солдатской, а и материнской и дитячей крови.

— Не знаю, как ты, Савка, — сказал Платон, — а меня бы с Днепра или с Десны не то что Гитлер, а сам

нечистый не выгнал бы, не к ночи будь помянут, прости господи.

— Легко сказать, дедушка. А вот посмотрели б вы на танкетки! — оправдывался лейтенант Сокол.

— Ну и что ж? — перебил его Платон, очевидно не имея никакого желания выслушивать нас. — Сколько она может убить вас, танкетка? Все равно вам же придется их разбивать, не мне. Я свое отвоевал. А вот Левко мой на Халхин-Голе, слышали, что сделал с этими, как их?.. Танкетки!.. — разгневался дед. — Людская душа молодецкая сильнее всякой танкетки. Было, есть и будет! Как это в песне про Морозенко поют: «Де проїхав Морозенко, — кривая річка» — вот!

Я не выдержал дедовых разговоров, так тяжело мне стало его слушать. В эту минуту он показался мне жестоким и несправедливым дедом.

— А разве вы думаете, диду, что нам не тяжело? Разве вы думаете, что боль и жалость не раздирают наши души, не мучают, не жгут наши сердца адским огнем?! — простонал я ему в самые очи.

— А что мне думать? — посмотрел на меня Платон. — Думайте вы. Жизнь ведь, она уже ваша, а не моя. А только я так скажу вам на прощанье: не с той чаши наливаете. Пьете вы, я вижу, горе и тоску. Зря пьете. Это, хлопцы, не ваши напитки. Это напитки бабские. А бойцу надо сегодня напиться крепкой лютости к врагу да злобы. Это ваше вино. А горе и жалость — не ваше занятие. Жалость подтачивает человека, как червь. Побеждают быстрые да сердитые, а не жалостливые! — сказал дед Платон и умолк. Он высказал наконец свою мысль. Это была его правда. Он возвышался на корме, суровый и красивый, и смотрел вперед вверх нас.

В это время недалеко от нас упал снаряд и поднял вверх огромный водяной столб.

— Ого!.. А что рыбы поглушат в речках! — слышался голос Савки.

— Теперь поглушат, — сказал Платон. — Позапрошлую зиму подохла от засухи, а теперь гранатами высадят дотла. Опустеют теперь и речки, и все на свете. Приехали.

Челн мягко уткнулся в речной песок. Я вышел на берег совершенно опустошенный и вместе с тем какой-то совсем иной, новый. Как будто я утопил в Десне и свою печаль, и тоску, и отчаяние отступления. Я оглянулся. За Десной горело. И красное зарево пожара как-то по-новому осветило мою душу. Нестерпимый огонь прожег меня насквозь. На мгновение мне показалось, что, кинься я сейчас назад в Десну, и вода с расступилась передо мной.

Этого, хлопцы, я никогда не забуду.

Мы стали прощаться с дедами, спеша в кусты.

— Пойдите трохи, — сказал Платон, опершись на весло. — Так что ж прикажете передать фашисту? Как встречать его, как в глаза смотреть?

— Передайте, что мы еще вернемся. Не дрейфьте, дед, вернемся, — попробовал подбодрить деда Троянда.

Дед посмотрел мимо планшеток Троянды и легонько сплюнул.

— По-дай го-го-го-го! Ого-го-го! — донеслось с того берега.

— Прощайте, спасибо, — тихо говорили мои спутники, уходя в лозы.

— Идите себе... — равнодушно сказал дед Савка. Платон молчал.

Мы ушли в лозы. Я шел последним и думал про деда Платона. Спасибо ему, думал я, что не пожалел нас, не окропил нашу дорогу слезами, что высек из моего сердца огонь в ночи... Отчего ж ты, правда, так горька и солонка подчас, подумал я и остановился. Потом я побежал назад, к Десне.

Я должен был что-то сказать на прощанье деду Платону. Я выбежал на берег.

Платон стоял у самой воды с веслом, как пророк неподвижный, и, очевидно, глядел нам вслед.

— Прощайте, диду. Простите нас, что не уберегли вашу старость, — сказал я, задыхаясь. — Мы вас, диду, никогда...

— Иди, не крутись перед очами, — сказал Платон, даже не взглянув на меня.

По сухому, темному его лицу текли слезы и падали в Десну.

Вот, друзья мои, и все. Вот и весь секрет мой, — сказал капитан Колодуб и зажег трубку.

Все в землянке вздохнули.

— Сейчас я Герой Советского Союза. Много я уничтожил врага, что и говорить. Много пострелял в наступлении и гусеницами подавил немало. Бывало, поверите, тошнило от хруста фашистских костей. И сам попадал не раз в переплет. Но где б я ни был, как бы ни бушевали вокруг меня вражьи ветры, им никогда уж не погасить того огня, что зажег во мне когда-то в челне дед Платон. Что наша жизнь? Что наша кровь, когда страдает вся наша земля, весь народ? — Голос капитана зазвучал как боевой сигнал. — Я, хлопцы, в бою сторукий, стократ помножен гнев во мне и ненависть! Так...

Капитан Колодуб усмехнулся.

— А все-таки ничего в жизни я бы так не хотел, как после войны поехать на Десну к деду Платону...

— И сказать ему, что он ошибался, товарищ Герой Советского Союза.

— Добрый вечер! Ну как? — раздался у дверей бравый голос Бориса Троянды, который только что зашел в землянку.

— И поклониться деду Платону в ноги за науку, — сказал капитан, словно не слыша вошедшего.

Стало тихо. Никто не двигался, словно все танкисты мыслями были еще ка Десне.

— Нет, товарищ капитан, не поклонитесь вы деду Платону, — вздохнул молодой танкист.

Все оглянулись. Это был Иван Дробот. Он стоял в дальнем углу землянки. Он был как-то особенно взволнован рассказом.

— Деда Платона, товарищ капитан, уже нет в живых,— сказал Дробот. — Как только вы ушли в лозы, а дед Платон и Савка вернулись на свой берег, сразу подбежали фашисты. Долго били они стариков за перевоз, хотели было расстрелять, а потом прибыл приказ им немедленно переправиться на другой берег. Ну, повезли. Насело их полным-полно. Выплыли на середину Десны, тогда дед Платон и говорит: «Савка, прости меня!»— «Бог простит». — «В другой раз». — «Бог простит». — «В третий раз». — «Бог простит». Да за третьим разом как подняли они весла, да как бросились сразу на правый борт, так и перевернули челны. Все потонуло: и пулеметы, и немцы, и деды. Один только я выплыл на наш берег.

— А кто ж ты такой? — тихо спросил капитан Колодуб.

— Я внук деда Савки. Я сидел на втором весле.

— Встать! — скомандовал Колодуб.

Все встали. Долгую минуту стояла молча семья бойцов. Капитан был бледен и торжествен. Он стоял с закрытыми глазами. Потом он опустился на одно колено, все последовали за его движением.

— Готовы к бою? — спросил капитан Колодуб и вырос перед бойцами, как дед Платон на Десне.

— Готовы на любой огонь!

Тихо стало в землянке.

Тихо и на позиции. Только далеко на горизонте качался в небе огненный знак прожектора.

Алексей Толстой. РУССКИЙ ХАРАКТЕР

Русский характер! — для небольшого рассказа название слишком многозначительное. Что поделаешь, — мне именно и хочется поговорить с вами о русском характере.

Русский характер! Поди-ка опиши его... Рассказывать ли о героических подвигах? Но их столько, что растеряешься, — который предпочесть. Вот меня и выручил один мой приятель небольшой историей из личной жизни. Как он бил немцев — я рассказывать не стану, хотя он и носит золотую звездочку и половина груди в орденах. Человек он простой, тихий, обыкновенный — колхозник из приволжского села Саратовской области. Но среди других замечен сильным и соразмерным сложением и красотой. Бывало, заглядишься, когда он вылезет из башни танка, — бог войны! Спрыгивает с брони на землю, стаскивает шлем с влажных кудрей, вытирает ветошью чумазое лицо и непременно улыбнется от душевной приязни,

На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога, и остается в человеке — ядро. Разумеется, у одного оно покрепче, у другого послабже, но и те, у кого ядро с изъяном, тянутся, каждому хочется быть хорошим и верным товарищем. Но приятель мой, Егор Дремов, и до войны был строгого поведения, чрезвычайно уважал и любил мать, Марью Поликарповну, и отца своего, Егора Егоровича. «Отец мой — человек степенный, первое — он себя уважает. Ты, говорит, сынок, многое увидишь на

свете, и за границей побываешь, но русским званием — гордись...»

У него была невеста из того же села на Волге. Про невест и про жен у нас говорят много, особенно если на фронте затишье, стужа, в землянке коптит огонек, трещит печурка и люди поужинали. Тут наплетут такое — уши развесишь. Начнут, например: «Что такое любовь?» Один скажет: «Любовь возникает на базе уважения...» Другой: «Ничего подобного, любовь— это привычка, человек любит не только жену, но отца с матерью и даже животных...» — «Тьфу, бестолковый!— скажет третий. — Любовь — это когда в тебе все кипит, человек ходит, вроде как пьяный...» И так философствуют и час и другой, покуда старшина, вмешавшись, повелительным голосом не определит самую суть... Егор Дремов, должно быть, стесняясь этих разговоров, только вскользь помянул мне о невесте, — очень, мол, хорошая девушка, и уже если сказала, что будет ждать, — дождетя, хотя бы он вернулся на одной ноге...

Про военные подвиги он тоже не любил разглагольствовать: «О таких делах вспоминать неохота!» Нахмурится и закурит. Про боевые дела его танка мы узнавали со слов экипажа, в особенности удивлял слушателей водитель Чувилев.

«Понимаешь, только мы развернулись, гляжу, из-за горушки вылезает... Кричу: «Товарищ лейтенант, тигра!» — «Вперед, кричит, полный газ!..» Я и давай по ельничку маскироваться — вправо, влево... Тигра стволом-то водит, как слепой, ударил, — мимо... А товарищ лейтенант как даст ему в бок, — брызги! Как даст еще в башню, — он и хобот задрал... Как даст в третий, — у тигра из всех щелей повалил дым, — пламя как рванется из него на сто метров вверх... Экипаж и полез через запасной люк... Ванька Лапшин из пулемета повел, — они и лежат, ногами дрыгаются... Нам,

понимаешь, путь расчищен. Через пять минут влетаем в деревню. Тут я прямо обезживотел... Фашисты кто куда... А — грязно, понимаешь, другой выскочит без сапогов и в одних носках — порск. Бегут все к сараю. Товарищ лейтенант дает мне команду: «А ну — двинь по сараю». Пушку мы отвернули, на полном газу я на сарай и наехал... Батюшки! По броне балки загрохотали, доски, кирпичи, фашисты, которые сидели под крышей... А я еще—и проутюжил, остальные руки вверх — и Гитлер капут...»

Так воевал лейтенант Егор Дремов, покуда не случилось с ним несчастье. Во время Курского побоища, когда немцы уже истекали кровью и дрогнули, его танк — на бугре, «а пшеничном поле — был подбит снарядом, двое из экипажа тут же убиты, от второго снаряда танк загорелся. Водитель Чувилев, выскочивший через передний люк, опять взобрался на броню и успел вытащить лейтенанта, — он был без сознания, комбинезон на нем горел. Едва Чувилев оттащил лейтенанта, танк взорвался с такой силой, что башню отшвырнуло метров на пятьдесят. Чувилев кидал пригоршнями рыхлую землю на лицо лейтенанта, на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. Потом пополз с ним от воронки к воронке на перевязочный пункт... «Я почему его тогда поволок? — рассказывал Чувилев. — Слышу, у него сердце стучит...»

Егор Дремов выжил и даже не потерял зрения, хотя лицо его было так обуглено, что местами виднелись кости. Восемь месяцев он пролежал в госпитале, ему делали одну за другой пластические операции, восстановили и нос, и губы, и веки, и уши. Через восемь месяцев, когда были сняты повязки, он взглянул на свое и теперь не на свое лицо. Медсестра, подавшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. Он тотчас ей вернул зеркальце.

— Бывает хуже, — сказал он, — с этим жить можно.

Но больше он не просил зеркальце у медсестры, только часто ощупывал свое лицо, будто привыкал к нему. Комиссия нашла его годным к нестроевой службе. Тогда он пошел к генералу и сказал: «Прошу вашего разрешения вернуться в полк». — «Но вы же инвалид», — сказал генерал. «Никак нет, я урод, но это делу не помешает, боеспособность восстановлю полностью». (То, что генерал во время разговора старался не глядеть на него, Егор Дремов отметил и только усмехнулся лиловыми, прямыми, как щель, губами.) Он получил двадцатидневный отпуск для полного восстановления здоровья и поехал домой к отцу с матерью. Это было как раз в марте этого года.

На станции он думал взять подводку, но пришлось идти пешком восемнадцать верст. Кругом еще лежали снега, было сыро, пустынно, студёный ветер отдувал полы его шинели, одинокой тоской насвистывал в ушах. В село он пришел, когда уже были сумерки. Вот и колодезь, высокий журавль покачивался и скрипел. Отсюда шестая изба — родительская. Он вдруг остановился, засунув руки в карманы. Покачал головой. Свернул наискосок к дому. Увязнув по колено в снегу, нагнувшись к окошечку, увидел мать, — при тусклом свете привернутой лампы, над столом, она собирала ужинать. Всё в том же темном платке, тихая, неторопливая, добрая. Постарела, торчали худые плечи... «Ох, знать бы — каждый бы день ей надо было писать о себе хоть два словечка...» Собрала на стол нехитрое — чашку с молоком, кусок хлеба, две ложки, солонку и задумалась, стоя перед столом, сложив худые руки под грудь... Егор Дремов, глядя в окошечко на мать, понял, что невозможно ее испугать, нельзя, чтобы у нее отчаянно задрожало старенькое лицо.

Ну, ладно! Он отворил калитку, вошел во дворик и на крыльцо, постучался. Мать откликнулась за дверью: «Кто там?» Он ответил: «Лейтенант, Герой Советского Союза Громов».

У него так заколотилось сердце — привалился плечом к притолоке. Нет, мать не узнала его голоса. Он и сам, будто в первый раз, услышал свой голос, изменившийся после всех операций, — хриплый, глухой, неясный.

— Батюшка, а чего тебе надо-то? — спросила она.

— Марье Поликарповне привез поклон от сына, старшего лейтенанта Дремова.

Тогда она отворила дверь и кинулась к нему, схватила за руки:

— Жив Егор-то мой? Здоров? Батюшка, да ты зайди в избу.

Егор Дремов сел на лазку у стола на то самое место, где сидел, когда еще у него ноги не доставали до полу, и мать, бывало, погладив его по кудрявой головке, говаривала: «Кушай, касатик». Он стал рассказывать про ее сына, про самого себя подробно, как он ест, пьет, не терпит нужды ни в чем, всегда здоров, весел, и — кратко о сражениях, где он участвовал со своим танком.

— Ты скажи — страшно на войне-то? — перебивала она, глядя ему в лицо темными, его не видящими глазами.

— Да, конечно, страшно, мамаша, однако — привычка.

Пришел отец, Егор Егорович, тоже сдавший за эти годы, — бородку у него как мукой осыпало. Поглядывая на гостя, потопал на пороге разбитыми валенками, не спеша размотал шарф, снял полушубок, подошел к столу, поздоровался за руку, — ах, знакомая была, широкая, справедливая родительская рука! Ничего не спрашивая, потому что и без того было понятно, зачем

здесь гость в орденах, сел и тоже начал слушать, полуприкрыв глаза.

Чем дальше лейтенант Дремов сидел неузнаваемый и рассказывал о себе и не о себе, тем невозможнее было ему открыться, — встать, сказать: да признайте же вы меня, урода, мать, отец!.. Ему было и хорошо за родительским столом, и обидно.

— Ну что ж, давайте ужинать, мать, собери чего-нибудь для гостя. — Егор Егорович открыл дверцу старенького шкафчика, где в уголку налево лежали рыболовные крючки в спичечной коробке, — они там и лежали, — и стоял чайник с отбитым носиком, — он там и стоял, где пахло хлебными крошками и луковой шелухой. Егор Егорович достал склянку с вином, — всего на два стаканчика, вздохнул, что больше не достать. Сели ужинать, как в прежние годы. И только за ужином старший лейтенант Дремов заметил, что мать особенно пристально следит за его рукой с ложкой. Он усмехнулся, мать подняла глаза, лицо ее болезненно задрожало.

Поговорили о том и о сем, какова будет весна и справится ли народ с севом, и о том, что этим летом надо ждать конца войны.

— Почему вы думаете, Егор Егорович, что этим летом надо ждать конца войны?

— Народ осерчал, — ответил Егор Егорович, — через смерть перешли, теперь его не остановишь, немцу — капут.

Марья Поликарповна спросила:

— Вы не рассказали, когда ему дадут отпуск, — к нам съездить на побывку. Три года его не видали, чай, взрослый стал, с усами ходит... Эдак — каждый день — около смерти, чай, и голос у него стал грубый?

— Да вот приедет — может, и не узнаете, — сказал лейтенант.

Спать ему отвели на печке, где он помнил каждый кирпич, каждую щель в бревенчатой стене, каждый сучок в потолке. Пахло овчиной, хлебом — тем родным уютом, что не забывается и в смертный час. Мартовский ветер посвистывал над крышей. За перегородкой похрапывал отец. Мать ворочалась, вздыхала, не спала. Лейтенант лежал ничком, лицо в ладони: «Неужто так и не признала, — думал, — неужто не признала? Мама, мама...»

Наутро он проснулся от потрескивания дров, мать осторожно возилась у печи; на протянутой веревке висели его выстиранные портянки, у двери стояли вымытые сапоги.

— Ты блинчики пшеничные ешь? — спросила она.

Он не сразу ответил, слез с печи, надел гимнастерку, затянул пояс и — босой — сел на лавку.

— Скажите, у вас в селе проживает Катя Малышева, Андрея Степановича Малышева дочь?

— Она в прошлом году курсы окончила, у нас учительницей. А тебе ее повидать надо?

— Сынок ваш просил непременно ей передать поклон.

Мать послала за ней соседскую девочку. Лейтенант не успел и обуться, как прибежала Катя Малышева. Широкие серые глаза ее блестели, брови изумленно взлетали, на щеках радостный румянец. Когда откинула с головы на широкие плечи вязаный платок, лейтенант даже застонал про себя: поцеловать бы эти теплые светлые волосы!.. Только такой представлялась ему подруга — свежа, нежна, весела, добра, красива, так, что вот вошла, и вся изба стала золотая...

— Вы привезли поклон от Егора? (Он стоял спиной к свету и только нагнул голову, потому что говорить не мог.) А уж я его жду день и ночь, так ему и скажите...

Она подошла близко к нему. Взглянула, и будто ее слегка ударили в грудь, откинулась, испугалась. Тогда

он твердо решил уйти — сегодня же.

Мать напекла пшеничных блинов с топленым молоком. Он опять рассказывал о лейтенанте Дремове, на этот раз о его воинских подвигах, — рассказывал жестоко и не поднимал глаз на Катю, чтобы не видеть на ее милом лице отражения своего уродства. Егор Егорович захлопотал было, чтобы достать колхозную лошадь, — но он ушел на станцию пешком, как пришел. Он был очень угнетен всем происшедшим, даже, останавливаясь, ударял ладонями себе в лицо, повторял сиплым голосом: «Как же быть-то теперь?»

Он вернулся в свой полк, стоявший в глубоком тылу на пополнении. Боевые товарищи встретили его такой искренней радостью, что у него отвалилось от души то, что не давало ни спать, ни есть, ни дышать. Решил так, — пускай мать подольше не знает о его несчастье. Что же касается Кати, — эту занозу он из сердца вырвет.

Недели через две пришло от матери письмо:

«Здравствуй, сынок мой ненаглядный. Боюсь тебе и писать, не знаю, что и думать. Был у нас один человек от тебя, — человек очень хороший, только лицом дурной. Хотел пожить, да сразу собрался и уехал. С тех пор, сынок, не сплю ночи — кажется мне, что приезжал ты. Егор Егорович бранит меня за это, — совсем, говорит, ты, старуха, свихнулась с ума: был бы он наш сын, — разве бы он не открылся... Чего ему скрывать, если это был бы он, — таким лицом, как у этого, кто к нам приезжал, гордиться нужно. Уговорит меня Егор Егорович, а материнское сердце — все свое: он это, он был у нас!.. Человек этот спал на печи, я шинель его вынесла на двор — почистить, да припаду к ней, да заплачу, — он это, его это!.. Егорушка, напиши мне, Христа ради, надоумь ты меня, — что было? Или уж вправду — с ума я свихнулась...»

Егор Дремов показал это письмо мне, Ивану Судареву, и, рассказывая свою историю, вытер глаза

рукавом. Я ему: «Вот, говорю, характеры столкнулись! Дурень ты, дурень, пиши скорее матери, проси у нее прощенья, не своди ее с ума... Очень ей нужен твой образ! Таким-то она тебя еще больше станет любить».

Он в тот же день написал письмо: «Дорогие мои родители, Марья Поликарповна и Егор Егорович, простите меня за невежество, действительно у вас был я, сын ваш...» И так далее и так далее — на четырех страницах мелким почерком, — он бы и на двадцати страницах написал, — было бы можно.

Спустя некоторое время стоим мы с ним на полигоне — прибегает солдат и — Егору Дремову: «Товарищ капитан, вас спрашивают...» Выражение у солдата такое, хотя он стоит по всей форме, будто человек собирается выпить. Мы пошли в поселок, подходим к избе, где мы с Дремовым жили. Вижу — он не в себе, — все покашливает... Думаю: «Танкист, танкист, а — нервы». Входим в избу, он — впереди меня, и я слышу:

«Мама, здравствуй, это я!..» И вижу — маленькая старушка припала к нему на грудь. Оглядываюсь, тут, оказывается, и другая женщина. Даю честное слово, — есть где-нибудь еще красавицы, не одна же она такая, но лично я — не видал.

Он оторвал от себя мать, подходит к этой девушке, а я уже поминал, что всем богатырским сложением это был бог войны. «Катя! — говорит он. — Катя, зачем вы приехали? Вы того обещали ждать, а не этого...»

Красивая Катя ему отвечает, — а я хотя ушел в сени, но слышу: «Егор, я с вами собралась жить навек. Я вас буду любить верно, очень буду любить... Не отсылайте меня...»

Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придет суровая беда, и поднимается в нем великая сила — человеческая красота.

Леонид Соболев. БАТАЛЬОН ЧЕТВЕРЫХ

Этот бой начался для Михаила Негребы прыжком в темноту. Вернее — дружеским, но очень чувствительным толчком в спину, которым ему помогли вылететь из люка самолета, где он неловко застрял, задерживая других.

Он пролетел порядочный кусок темноты, пока решился дернуть за кольцо: это был его первый прыжок, и он опасался повиснуть на хвосте самолета. Парашют послушно раскрылся, и, если бы Негреба смог увидеть рядом своего дружка Королева, он подмигнул бы ему и сказал: «А все-таки вышло по-нашему!»

Две недели назад в Севастополе формировался отряд добровольцев-парашютистов. Ни Королев, ни Негреба не могли, понятно, упустить такого случая, и оба на вопрос, прыгали ли они раньше, гордо ответили: «Как же... в аэроклубе — семь прыжков». Можно было бы для верности сказать — двадцать, но тогда их сделали бы инструкторами, что, несомненно, было бы неосторожностью: достаточно было и того, что при первой подгонке парашютов обоим пришлось долго ворочать эти странные мешки (как бы критикуя укладку на основании своего опыта) и косить глазом на других, пока оба не присмотрелись, как же надо надевать парашют и подгонять лямки.

Однако все это обошлось, и теперь Негреба плыл в ночном небе, удивляясь его тишине. Сюда, в высоту, орудийная стрельба едва доносилась, хотя огненное кольцо залпов поблескивало вокруг всей Одессы, а с моря били корабли, поддерживая высадку десантного морского полка (с которым должны были соединиться

парашютисты, пройдя с тыла ему навстречу). В городе кровавым цветком распускался большой, высокий пожар. Там же, где должен был приземлиться Негреба, было совершенно темно.

Впрочем, вскоре и там он различил огоньки. Было похоже, будто смотришь с мачты на бак линкора, где множество людей торопливо докуривают папиросы, вспыхивая частыми затылками. Это и была линия фронта, и сесть следовало за ней, в тылу у румын. Он потянул ляжки, как его учили, и заскользил над боем вкось.

Видимо, он приземлился слишком далеко от боя, потому что добрый час полз в темноте, никого не встречая. Внезапно что-то схватило его за горло, и он с размаху ударил в темноте кинжалом. Но это оказалось проволокой связи. Негреба вынул из мешка кусачки и перекусил ее в нескольких местах, ползя вдоль нее. Тут ему пришло в голову, что проволока может привести к румынской части, где можно устроить порядочный аврал огнем из автомата.

Через час проволока привела в бурьян. Всмотревшись в рассветную мглу, Негреба увидел трех коней и поодаль часового. Кони, почуяв человека, захрапели, и пришлось долго выжидать, пока они привыкнут. За это время Негреба надумал, что можно снять часового, вскочить на коня и помчаться по деревне, постреливая из автомата. Он медленно пополз к часовому, держа в левой руке автомат, в правой кинжал. Именно эта правая рука провалилась на ползке в непонятную яму и тотчас уперлась во что-то мягкое. Его кинуло в жар, и он замер на месте. Откуда-то из-под земли шли громкие голоса.

Наконец он понял: мягкое и упругое препятствие оказалось одеялом, закрывавшим отдушину погреба. Там слышался чужой говор, звенели шпоры, стучала пишущая машинка. Негреба осторожно прорезал

кинжалом дырку и заглянул в погреб. Очевидно, это был штаб батальона, может быть, полка. Румынские офицеры сгрудились у стола за картой, по которой им что-то раздраженно показывал черноусый и давно не бритый пожилой офицер. В углу на корточках сидели телефонисты. Они подозвали одного из офицеров, и тот начал кричать в трубку. Негреба под этот шум вынул из сумки гранату. Одной ему показалось мало. Когда в подвале снова начался громкий говор, он достал вторую, потом третью и связал их вместе. Он собрался было кинуть их в отдушину, но тут зацокали копыта, и к погребу подскакали еще двое. Негреба дал им войти и тотчас же похвалил себя за это: все офицеры в подвале вытянулись и встали «смирно», — очевидно, один из вошедших был большим начальником.

Негреба швырнул гранаты в отдушину и кубарем покатился в бурьян. Часовой крикнул, но в подвале грянуло и рвануло, и часовой исчез неизвестно куда.

Уже рассвело, когда Негреба вышел в тыл переднего края румынских окопов. Он залег в копне и стал выжидать. Промчался одинокий всадник. Он скакал во весь дух, оглядываясь и пригибая голову к шее коня. Негреба навел на него автомат, но где-то близко простучала очередь, и всадник свалился. Негреба обрадовался: видно, рядом прятался еще один наш парашютист. Снова застучал автомат, и Негреба понял, что он бьет из кустов рядом.

Он решил переползти по кукурузе к товарищу (все же вдвоем лучше), но тут завыли мины и стали рваться у кустов одна за другой, и автомат замолк. Тогда из ложбинки показались несколько румын, непрерывно стреляющих по кустам, где сидел неизвестный Негребе товарищ. Негреба в их трескотню добавил свою очередь. Несколько румын упало, остальные кинулись в кукурузу. Все снова стихло, только издали доносилась стрельба.

Он пополз к кустам и нашел там Леонтьева. Тот лежал ничком, подбитый миной. Негреба повернул его. Леонтьев открыл глаза, но тут же закрыл их и негромко сказал:

— Миша... пристрели... не выбраться...

Негреба взглянул в его белое, восковое лицо и вдруг отчетливо понял, что тут, в этих кустах, он найдет и свой собственный конец: пронести Леонтьева через фронт один он не сможет, оставить его здесь или выполнить его просьбу — тоже. Все в нем похолодело и зануло, и он ругнул себя — нужно ему было лезть сюда... Шел бы сам по себе, целый и сильный, выбрался бы... Но хотя жалость к себе и своей жизни, с которой приходится расставаться из-за другого, и сжимала его сердце, он прилег к Леонтьеву и сказал так весело, как сумел:

— Это, друг, всегда успеется... Сперва перевяжу... Отсидимся: двое — не один...

На перевязку ушли оба пакета — леонтьевский и свой. Леонтьев почувствовал себя лучше. Негреба устроил его поудобнее, всунул ему в руки автомат и сказал:

— Ты за кинжальную батарею будешь. Лежи и нажимай спуск, только и делов! Отобьемся. Слышь, наши близко.

В самом деле впереди, за румынскими окопами, шла яростная стрельба. Видимо, десантный полк атаковал румын. Но от этого было не легче: скоро румыны, выбитые из окопов, хлынут назад, а кустик с двумя моряками окажется как раз на пути их отступления. Надо было приготовиться к этому. Негреба выложил перед собой гранаты, запасной диск к автомату и повернулся к Леонтьеву.

— Гранаты у тебя есть?

— Есть, — отвечал тот, примеряясь, сможет ли он хоть немного водить перед собой автоматом. — Три

штуки. Гранаты возьми, а диск мой не тронь. Сам стрелять буду... Наложим их, Миша, пока дойдут, а?

— Факт, наложим, — сказал Негреба, и они замолчали.

Бой приближался. Стрельба доносилась все ближе. Солнце уже грело порядочно, и теплый, горький запах трав подымался от земли. Ждать последнего боя — и с ним смерти — было трудно. Сбоку, метрах в трехстах, виднелась глубокая балка, где можно было бы отлично держаться и бить румынских фашистов с фланга. Но перенести туда Леонтьева он не мог.

Он заставил себя смотреть перед собой, на ложбинку, откуда должны были появиться враги. И уже хотелось, чтобы это было скорее: ему показалось, что нервов у него не хватит и что, если это ожидание еще продлится, он оставит Леонтьева в кустах и один поползет к балке, в сторону от пути отходящих батальонов.

— Наши сзади, — сказал вдруг Леонтьев. — Слышишь?

Негреба и сам слышал сзади четкие недолгие очереди, но боялся этому верить. Леонтьев зашевелился и закричал слабым, хриплым голосом:

— Моряки!.. Сюда!..

Он пытался подняться, но снова упал на траву. Негреба высунул голову из куста и в желтой кукурузе увидел неподалеку черную бескозырку, левее — вторую. Он встал во весь рост и замахал рукой:

— Моряки!.. Перепелица, чертяка, право на борт, свои!

Два парашютиста перебежали по кукурузе к кустам.

Это были Перепелица и Котиков. Они прилегли в куст, и Негреба наскоро сообщил им обстановку и свой план: перебежать в балку и бить отходящих румын с фланга.

— Тут нам не позиция, тут нас, как курей, задушат,— сказал он. — Тащите Леонтьева, я прикрывать буду.

Котиков и Перепелица подняли раненого. Тот стиснул зубы и закрыл глаза: каждый толчок на бегу отдавался острой болью. До балки оставалось еще метров восемьдесят, когда из ложбинки затрещали выстрелы и выскочило больше десятка румын. Негреба ответил огнем из автомата, но и остальным двоим пришлось положить Леонтьева и тоже вступить в бой. Отбившись, моряки наконец скатились в балку и там нашли еще одного парашютиста — Литовченко. Он лежал, хозяйственно обложившись гранатами и выставив из травы черное дуло автомата. Увидев краснофлотцев, он возбужденно сказал:

— А я уж думал — мне труба! Лежу один, как перст, а их сейчас поперет — только считай!.. Ну, теперь нас сила!

Леонтьев был без сознания. Негреба осмотрел повязки: они были в крови. Тогда он снял с себя форменку, разорвал ее и сделал новую перевязку. Перепелица тем временем достал бисквиты и шоколад.

— Позавтракаем пока, что ли, — сказал он. И остальные тоже вынули свои пайки. Но сухие бисквиты не лезли в горло, а шоколад забивал рот, и проглотить его было трудно. Во рту пересохло от бега, солнце уже пекло, и каждый из них дорого дал бы за глоток воды. Но все, оказывается, опорожнили свои фляги еще ночью. Только у Литовченко случайно оказалось немного воды, и он протянул фляжку Негребе:

— Дай ему. Горит человек.

Негреба осторожно влил воду в рот Леонтьева. Тот глотнул и открыл глаза.

— Держись, Леонтьич, — сказал Негреба, — гляди, нас теперь сколько... Факт, пробьемся!

Леонтьев не ответил и снова закрыл глаза. Перепелица негромко сказал:

— Поперли руманешти, гляди...

И точно, из ложбинки прямо на те кусты, где недавно еще были моряки, выбежала первая толпа отступающих румын. Впереди всех и быстрее всех бежали шесть немцев-автоматчиков. Они добежали до кустов, залегли и открыли огонь по отступающим румынам.

— Вот это тактика! — удивился Негреба. — Что ж, морячки, поможем немцам?.. Только, чур, не по-ихнему: прицельно бить, не очередями.

Он засучил рукава тельняшки и выстрелил первым в офицера, размахивающего пистолетом. Из балки во фланг отступающим ударили пули моряков.

Можно было и не стрелять. Румыны не заметили бы этой горсточки, спрятанной в балке, и моряки прошли бы к себе в тыл без потерь. Но они стреляли, открывая огнем свое присутствие здесь, стреляли потому, что каждый выстрел уничтожал еще одного врага, стреляли, помогая атаке десантного полка.

Под этим огнем офицерам не удалось ни остановить, ни собрать выбежавшие из окопов роты. Тогда немецкие автоматчики перенесли огонь на моряков, и кто-то из офицеров собрал десятка два солдат и повел их на балку. Это был уже настоящий бой. Моряки отбили две атаки. Наконец волна румын прошла, оставив в кукурузе и у балки неподвижные тела. Перепелица оглянул поле боя.

— Порядком наложили! — сказал он удовлетворенно.— А как у нас с патронами, ребята?

С патронами было плохо. На автоматчиков и на отражение двух атак моряки израсходовали почти весь запас. Это было тем хуже, что теперь должны были побегать румыны соседнего участка, и, по всем расчетам, они неминуемо должны были наскочить на

балку. Негреба предложил повторить маневр и перебраться в соседнюю, которая опять окажется с фланга отступающих, но, посмотрев на Леонтьева, сам отказался от этой мысли. Моряки помолчали, обдумывая. Потом Негреба сказал:

— Что ж. Видно, тут надо держаться. Патроны беречь на прорыв. Отбиваться будем только гранатами.

По тем, кто вплотную набежит.

Они замолчали, выжидая, когда появятся враги. Потом Перепелица достал из мешка офицерский пистолет и посмотрел обойму.

— Шесть патронов, — сказал он. — А нас пятеро. Хватит. Разыграем, что ли, кому? Понятно?

— Понятно, — сказал Литовченко.

— Ясно, — подтвердил Котиков.

— Точно, — добавил Негреба.

Он сорвал четыре травинки и откусил одну, подровняв концы, зажал в кулак и протянул Литовченко.

— Откуда у тебя ихний пистолет? — спросил тот Перепелицу, вытягивая травинку, и закончил облегченно: — Не мне, длинная.

— Пристукнул ночью офицера, — ответил Перепелица.— Вещь не тяжелая, а пригодится... Тащи ты, Котиков.

— Может, лучше свои патроны оставить? — раздумчиво сказал тот, осторожно таща травинку. — Погано ихними-то пулями...

Его травинка тоже оказалась длинной.

— Коли ранят, с автоматом не справишься, а этим и лежа всех достанешь, — сказал Перепелица деловито и потянул травинку сам. — Тоже длинная. Выходит, Миша, тебе... Только ты не торопись. Когда вовсе конец будет, понятно?

— Ясно, — сказал Негреба и положил пистолет под руку.

— Кажись, пошли, — негромко сказал Котиков. — Ну, моряки... Коли ничего не будет, свидимся.

И моряки замолчали. Только изредка стонал Леонтьев. Перепелица перекинул Негребе бушлат:

— Прикройся. Лежишь, что зебра полосатая. За версту видать.

— Все одно видать, — ответил Негреба. — Лучше уж так. Хоть увидят, что моряки.

И они снова замолчали, вглядываясь в лавину румын, покотившуюся к балке.

Румыны выбегали из окопов, падали на землю, отстреливаясь от кого-то, кто наседавал на них, снова вскакивали, перебегая метров на пять-шесть. Они двигались плотной цепью, почти рядом друг с другом, и с каждой перебежкой все ближе и ближе были к горсточке моряков. Около сотни их побежало прямо на балку, видимо, чуя, что тут они смогут укрыться от огня преследующих их моряков десантного полка. Они еще раз залегли, отстреливаясь, потом, как по команде, вскочили и ринулись к балке. Уже видны были их лица, небритые, вспотевшие, искаженные страхом. Они были так близко, что тяжелый запах пота, казалось, ударял в нос. Они бежали к балке молча и дружно.

И тогда на их пути встал Негреба, встал во весь рост — крепкий и ладный, в полосатой тельняшке, с автоматом в левой руке и с поднятой гранатой в правой.

— Эй, антонески, огребай матросский подарок! — крикнул он в исступлении и швырнул гранату. Вслед за ней из балки вылетели еще три. Ахнули взрывы. Румыны попадали. Другие отшатнулись и, петляя, двинулись по сторонам. Моряки бросили еще четыре гранаты. Проход расширился. Перепелица крикнул:

— Мишка, а ведь прорвемся! Хватай Леонтьева!

Моряки мгновенно поняли его, и каждый свободной рукой подхватил раненого. Они ринулись в образовавшийся проход между румынами, и Леонтьев

от боли пришел в себя и снова стиснул зубы, чтобы вытерпеть этот стремительный яростный бег. Они проскочили уже самую гущу, когда он увидел, что румыны кинулись за ними. Он разжал зубы и глянул на Перепелицу.

— Бросьте меня... Пробивайтесь...

Перепелица выругал его на бегу, и он замолчал.

Румыны подскочили уже близко. Моряков было всего пятеро, а их сотни. Враги, видимо, поняли это и решили взять моряков живьем. Рослый солдат прыгнул на Перепелицу, пытаясь ударить его штыком. Котиков выпустил ногу Леонтьева и выстрелил румыну в затылок, но другой кинулся на него. Перепелица подхватил румынскую винтовку и сильным ударом штыка повалил солдата, за ним второго и третьего. Потом он бросил винтовку, сорвал с пояса гранату и далеко кинул ее в подбегавших солдат. Те отшатнулись, но граната взорвалась среди них. Оставшиеся в живых залегли и открыли огонь. Пули засвистели вокруг моряков. Перепелица упал и крикнул:

— Тащите вдвоем, мы с Котиковым задержим!

Моряки тоже упали в траву и стали отстреливаться последними патронами. Негреба и Литовченко тащили ползком Леонтьева, а остальные двое ползли за ними, сдерживая румын редким, но точным огнем. Наконец те отстали, спеша уйти в тыл, а моряки неожиданно для себя провалились в опустевший румынский окоп.

Тут они опомнились и осмотрелись: у Котикова пулей была пробита щека, у Перепелицы две пули сидели в ляжке, Литовченко тоже обнаружил, что он ранен. На перевязки ушли все форменки.

Румыны были уже далеко за кустами, и впереди, очевидно, были только свои. Моряки устроили Леонтьева в окопе поудобнее, принесли ему воды, обмыли и напоили, положили возле него румынский автомат и гранаты, найденные в окопе. Он смотрел на

все эти заботы, слабо улыбаясь, и глаза его, полные слез, лучше всяких слов говорили о том, что было в его душе. Взгляд этот, вероятно, смутил Негребу, потому что он встал и сказал с излишней деловитостью:

— Полежи тут, больше трясти не будем. Сейчас носилки пришлем. Идем своих искать.

И они встали в рост — четыре человека в полосатых тельняшках, в черных бескозырках, окровавленные, перевязанные обрывками форменок, но сильные и готовые снова пробиваться сквозь сотни врагов.

И, видимо, сами они поразились своей живучей силище.

И Перепелица сказал:

— Один моряк — моряк, два моряка — взвод, три моряка — рота... Сколько нас? Четверо? Батальон, слушай мою команду: шагом... арш!

1942

Янка Брыль. МАТЬ

Шла жатва, и она с каждым днем уставала все больше. Жаркую духоту трудно было отогнать от немощной груди даже самой большой, самой колосистой горстью ржи. А работать надо, хотя туман застилает глаза... И она жала, никому ничего не говоря.

Вечером, возвращаясь домой со своим младшим — в то страшное лето единственным в хате — сыном-подростком, старуха едва передвигала ноги, разбитые годами беспросветного труда... Поблекшие глаза ее, казалось, глядели на мир из-под низко надвинутого платка совсем безразлично...

Однако они многое замечали.

Вот, неожиданно остановившись, она оглянулась на сына, который тоже с серпом на плече молча и почтительно шел сзади, сдерживая шаг, по-пастушьи «поклевывая» сладкий ржаной колосок.

— Гляди, Василь, как упирается... Эх! Держись, горемыка, стой!..

Сын перестал на миг «клевать», посмотрел в ту сторону, куда она показывала. За большой узорной дерюгой чересполосицы, где-то далеко-далеко за холмом потухала заря, а совсем рядом с межей, по которой они шли, стояла понурая копенка жита. Утром по нивам с горы в долину низом прошелся ветер и надвинул копнам шапки на самые глаза. Мало того, иную, что послабей поставлена, так всю и наклонил или даже перевернул совсем. Та, на которую показала мать, склонилась всеми снопами вдогонку утреннему ветру, улетевшему уже на другой конец света, но не хотела упасть. И старая жнея улыбнулась, глядя на нее с тем же неиссякаемым жизнелюбием, как в годы, когда она

была еще батрачкой в панском имении и не знала устали, надрываясь для чужого счастья.

Когда межа уперлась в большак, мать с сыном повернули влево и пошли тропкой, протоптанной в траве обочины, все так же — она впереди, он сзади. Справа высоко поднималась насыпь дороги, слева время от времени гудели телеграфные столбы. Прогудит, потом идешь, и вот опять стоит и гудит, словно живой,— так печально, даже зловеще, бормочет.

На одном столбе, уже недалеко от поворота на их хутор, старуха заметила белое пятно бумажки на уровне глаз. Прошла мимо: некогда на все обращать внимание... Потом остановилась. Сказать сыну, чтоб поглядел, не успела: он уже сам читал, бросив «клевать» колосок. Прочитав, содрал бумажку, изорвал на клочки и швырнул их, словно пригоршню мякины, кому-то невидимому в глаза.

— Что там такое?

— Чтоб не давали есть бойцам. Чтобы доносили на них полицаям... Обещают водки и табаку.

— Пусть бы себе висело, сынок. Неужто их кто-нибудь послушает?

— Будут расстреливать тех, кто не послушает. Всю семью... И хату спалят.

— На все божья воля...

Они пошли дальше — опять друг за другом, молча.

Дома, в сенях старой хаты, еще при панской власти выдворенной из деревни на хутор, мать заткнула свой серп в щель над косяком. Сын сделал то же самое. Она обеими руками поправила платок, сверху вниз крепко провела по лицу, как бы снимая с глаз усталость, и уже хотела сказать, что вот подоит только корову и будут вечерять.

— Я пойду в деревню, — опередил ее Василь.

— Опять! — скорее испуганно, чем сердито, крикнула она. А потом решила взять лаской: — Не ходил

бы ты лучше... Завтра ведь рано вставать...

— Ну что ж, и встану.

— Так хоть поужинал бы.

— Я скоро вернусь.

— Знаю я это «скоро»... Ой, доходишься ты! Доедет тебя этот Озареночек! Попомни мое слово!..

— Ничего, мать. Уже испугалась?..

— Вот тогда посмеешься! Нашел чем шутить!.. По-твоему, я слепая, не вижу, или глупая, ничего не понимаю?..

Он подумал, что больше говорить не стоит... Нет, он просто бросил:

— Еще чего, будете учить!.. — И ушел.

Опять дай боже терпенья на целехонькую ночь!..

Вскоре старая хата среди серого, уже по-ночному однотонного поля устало потушила огоньки окон.

Мать не спит.

Возле этого хутора фронт, трагическое начало войны, прошел, как внезапно налетевший вихрь — и верхом и низом. Ревели самолеты, рвались бомбы, грохотали танки, бежали по хлебам солдаты... Пронзил этот вихрь и душу: он неожиданно вымел из хаты обоих старших сыновей. Степан только в позапрошлом году, когда пришли товарищи, вернулся из панского острога, дождавшись наконец того, за что принимал муку. Владик, самый старший, хозяин, мобилизованный панами летом тридцать девятого года, нынче, к заморозкам, принес осьмину вшей из немецкого лагеря. И вот ушли ее хлопцы опять, теперь уже на восток. И не возвращаются, как иные... Не успели и ожениться — так быстро пролетело оно, время их долгожданной воли. Владик только лесу навозил, чтобы новую хату рубить. Степан был в сельсовете председателем. А Василь — этот учился две зимы в Новогрудке...

Да, тех нету. Бог святой ведаёт, что будет дальше... А этот, последний, не хочет сидеть дома, ищет беды. Дождалась — даже не скажет, куда и зачем.

...Они пришли ещё затемно. Старуха не спала от боли в ногах, и осторожный стук в окно не разбудил её, а просто напугал... Пока она подняла с подушки голову, пока в этой седой простоволосой голове сто раз перевернулась мысль: «Кто это?» — и даже радость: «А может быть?..» — пока она успела встать, слышался до шепота приглушённый голос:

— Хозяин!.. Хозяин, открой!

Как ведётся испокон века, она сначала прижалась лбом к стеклу, поглядела... Потом вышла в сени, дрожащими руками вытащила задвижку и отворила дверь. Теперь стало совершенно ясно то, о чём она сразу догадалась: это они, бойцы.

Один из них, — а сколько было всех, не успела сразу заметить в матово-прозрачных предрассветных сумерках, — один подошёл к ней и всё ещё шепотом не то сказал, не то спросил по-русски:

— Мать?.. Ты нам хлебушка дай, родная... Из лагеря бежали... Ты не бойся, мы сразу же уйдём...

Серый и гладкий телеграфный столб со зловещим гудением проплыл перед её глазами... И на нём та самая бумажка, что разорвал её хлопец... Мелькнула мысль, тревогой сжав сердце: а он ещё не вернулся!.. Белое пятно бумажки метнулось вместе со столбом вдаль и исчезло. Осталось только страшное небритое лицо человека с большими глазами... Остались только они — теперь уже хорошо видно — четверо.

— Заходите, хлопчики! Я вам хоть молочка... Хоть жажду прогнать... А лампу зажигать не будем...

Последние слова она произнесла, уже перешагнув порог.

И на большаке и в местечке, на всем — так хорошо знакомом и каком же коротком теперь — пути от родной хаты до свежей ямы в лопухах добрые люди видели ее мученический поход. И всем было понятно, куда и за что.

Четверо босых, в солдатских лохмотьях мужчин, с руками, скрученными назад колючей проволокой, по двое шли следом за нею. Ей фашисты сделали снисхождение: не связали рук. В конце концов они ее не боялись, как этих, даже безоружных, обессиленных беглецов. Один из солдат, еще совсем мальчишка, недавно остриженный под машинку, изо всех сил старался не упасть и, глядя на товарищей, как и они, поднимал голову выше.

Свои худые, так мало в жизни целованные руки она сложила мозолями к мозолям. Шептала собственные, совсем новые слова молитвы. И в утреннем свете родного солнца ясным было ее лицо, хотя по морщинам невольно катились слезы. Она и здесь не думала о себе. Где он, ее Василек, почему не вернулся?.. «Как хорошо, боже милостивый, что он не пришел, не прибежал даже на пожар родной хаты!.. Видно, далеко уже где-то сынок, видно, откопали-таки они с Озаренком свои пулеметы... Где они, Владик и Степан?.. Сохрани их, боже, всех троих от пуль, дай им всем увидеть материнскую могилу!..» И тут ее сердце возвращалось к этим, к чужим сыновьям, с которыми ее так прочно сроднила доля... Она слышала их шаги — шарканье босых ног по гравию, слышала тяжелое дыхание... Она отдала им все, что могла... А тут даже не оглянись... И она делала одно — чему еще мама учила — молилась: и за своих сынов, и за чужих, и за себя.

Жарко дышали клыкастые глупые пасти овчарок. Черной сталью поблескивали в голых до локтя, загорелых руках автоматы. Время от времени на обочине гудели телеграфные столбы.

Мать не ведала, кто она. Она не догадывалась, что не только с ужасом глядят на ее путь встречные, что образ ее останется а сердце многих мужчин горьким, неумолимым укором, что глаза и руки ее вспоминать будут даже сильные люди, прогоняя из души последний страх перед ночной партизанской атакой...

1957

Вилис Лацис. БЛАГОДАРНОСТЬ ТЕНИСА УРГИ

Осенью, когда западный ветер гонит в залив волны из открытого моря и дождевые тучи идут низко-низко, темными, лохматыми грядками чуть не касаясь белых гребней, побережье становится неприветливым, холодным и угрюмым. Но никогда еще Тенису Урге родной берег не казался столь мрачным и пустынным, как в этом году.

Здесь он родился и вырос, весь его суровый и тернистый жизненный путь, все события прошлого были связаны со здешними местами. Семьдесят долгих лет, прожитых в тяжелом труде и нужде... Сотни раз морской ветер заносил песком тропинки, протоптанные меж дюн человеческой ногой, и сотни раз рыбаки протаптывали новые — от серых деревянных лачуг на опушке леса к берегу моря. Молодые деревца на глазах у Тениса превратились в большие деревья, а многие из них приходились ему ровесниками, такие же старые, сгорбленные и корявые, как он сам. Но сейчас ему казалось, что он живет в чужом мире и все здесь странное, незнакомое, полное угрозы и томительной неопределенности.

Но, может быть, ничего этого и нет, просто он сам постарел и изменился?

Может быть.

Лачуга Тениса Урги находилась у северной окраины поселка. Прежде она стояла, вплотную прижавшись к другим рыбацким домам, но когда ветхие, покосившиеся хибарки стали разваливаться одна за другой, рыбаки младшего поколения уже не старались восстанавливать их. Нет, молодежь стала строиться на

противоположной окраине поселка, где пролегла грунтовая дорога. Один только Тенис Урга продолжал чинить и подправлять свое старое жилье и с течением времени все больше отдалялся от других, становился все более одиноким посреди дюн, — сейчас от ближайшего соседа его отделяло уже шагов триста.

Тому были свои причины. Тенису не очень повезло с этим самым молодым поколением, не то что многим из его старых друзей. Правда, он вырастил двух сыновей и дочь, но у каждого из них была своя собственная судьба. Старший сын погиб в первую мировую войну, не оставив детей. Младшего сына расстреляли немцы во время оккупации 1918 года: он был большевиком и руководил сопротивлением. Он покоем тут же, на опушке леса за дюной, в поросшей жесткой травой могиле. Больше никакие растения там не выживали, морской ветер затягивал холмик белым песком.

Да, Вольдемар был любимый сын Тениса Урги, смелый, стойкий парень, горячий в работе и бесстрашный в борьбе. Там, где другие теряли смелость и надежды, он рвался вперед. Глаза у него сверкали, когда он слушал рассказы отца о пятом годе. Он восхищался отважными борцами за свободу, которые восставали против царского самодержавия и черной власти помещиков, с юношеским бесстрашием смотрели в глаза смерти, стоя под виселицей, пели песни борьбы и с гордо поднятыми головами шли в ссылку, на каторгу. Сам Тенис тоже тогда принимал участие в революционных выступлениях, посещал собрания и пел новые, гордые песни, возвещавшие наступление справедливости и свободы; за это карательная экспедиция впоследствии подвергла его порке.

И вот в 1918 году немцы расстреляли Вольдемара. Тенис похоронил любимого сына в песках дюн (хоронить на кладбище пастор не разрешил) и стал воспитывать своего маленького внука, оставшегося

круглым сиротой; жена Вольдемара в 1919 году ушла с красными стрелками в Россию и в годы гражданской войны умерла от тифа. Маленькому Эмилю в то время еще года не было, так что родителей он совершенно не помнил.

В 1928 году умерла подруга жизни Тениса — Лиени Урга, и он остался вдовцом с внуком.

Эмиль рано научился грести, править рулем, забрасывать сети в открытом море. Зимой он учился в начальной школе, а с весны до осени помогал деду в рыбной ловле. То, чему парнишку не научила школа буржуазной Латвии, он узнавал от старого деда, жадно слушая его рассказы о пятом годе и недолгой бурной жизни отца.

Летом 1940 года, когда пала фашистская власть Ульманиса, впервые на протяжении долгих лет Тенис Урга почувствовал, что и в его жизни наступил праздник, а Эмиль, уже взрослый парень, с головой окунулся в строительство нового.

Наблюдая за большими переменами в жизни людей, Тенис понял, что исполняется то, о чем он мечтал всю жизнь. Маленький человек, поработанный и униженный, мог наконец облегченно вздохнуть. Правда восторжествовала над темными, злобными силами. Это было наградой Тенигу Урге за все страдания, за смерть Вольдемара, за его собственную тяжелую жизнь. Осуществлялось то, за что погиб Вольдемар.

Рыбаки, которых раньше обирали жадные перекупщики, впервые стали получать справедливую плату за свой улов. Просто удивительно, сколько мог теперь зарабатывать человек! Люди в течение года успели погасить долги, в которые их загнала многолетняя нужда, а главное, они были избавлены от заботы о завтрашнем дне, о куске хлеба и о судьбе своих детей.

Тенис Урга был безгранично благодарен новой, справедливой власти и людям, которые проявляли такую братскую заботу о его жизни и жизни ему подобных простых людей.

И вдруг разразилась война.

Сердце Тениса Урги кровью обливалось, когда он видел, какие тяжелые дни переживал его народ. Отряды фашистов-грабителей рыскали по всем дорогам. Жгли, убивали, издевались над правами и жизнью людей.

Над родиной и народом Тениса опустилась черная ночь. Вот когда чужим и мрачным показалось ему родное побережье. словно в мир проникла волна чужого воздуха, насыщенного ненавистью и смертью. Небо стало серым и неприветливым, природа поникла, и люди начали задыхаться. Померк свет жизни и ее радости. Рука жадного грабителя протянулась к плодам сурового труда латышей. Злобой и кровожадностью веяло от нахлынувшей орды чужеземцев.

Все дальше отодвигался грохот сражений. С надеждой и глубоким волнением прислушивался Тенис к отзвукам борьбы. Он не мог поверить, что люди позволят торжествовать этой злой силе. Тогда всему конец, тогда не зазвучит больше в мире смех; мрак и ледяной холод умертвят всю радость, всю красоту жизни.

Вести, доходившие до Тениса, говорили, с каким героизмом и стойкостью защищают советские люди свою страну и свободу. То была страшная борьба, трудная и кровопролитная. Тенис непрестанно думал о ней, и ему казалось, будто он видит дорогого, близкого человека в смертельной схватке с хищником. Зверь, неожиданно набросившийся на него сзади, стремится его растерзать, а человек сильной рукой сдавил глотку зверю и не отпускает его. Зверь яростно мечется и терзает тело человека, но человек крепко держится на

ногах, не падает. И Тенис понял: за все то добро, какое сделал ему этот человек, он обязан прийти ему на помощь, отблагодарить делом, оказать услугу, быть ему полезным. Совесть и воля твердили, что он не смеет взирать на борьбу со стороны.

Но как это сделать?

Молодые ушли с бойцами. Многие поступили как Эмиль: ушли в леса и с оружием в руках охотились за зверем, выслеживая его, где бы он ни появлялся.

Тенис Урга хотел помочь. Уж если молодежь отдавала свои жизни за правое дело, тем легче было умереть ему — старику... Но что мог сделать седовласый старик, стоящий одной ногой в могиле?

Тенис долго ожидал часа, когда судьба призовет его.

Иногда, после нескольких недель отсутствия, в доме появлялся Эмиль, рассказывал о своем партизанском отряде и, захватив с собой запас продовольствия, вновь исчезал на долгое время.

Тенис чинил сети и думал, что он отделяется мелкими услугами в такое время, когда каждый честный человек должен отдать себя всего целиком великой борьбе. Он был готов пожертвовать всем, но никто ничего от него не требовал.

Время шло. Наступила осень с ливнями и бурями. Жесткая трава на могиле Вольдемара грустно шуршала под ветром.

И наконец Тенис Урга дождался своего часа.

Темная ветреная ночь была на исходе, когда в ставень легонько постучали. Тенис Урга спал чутким сном: накануне вечером снова пришел Эмиль. Старый рыбак мгновенно проснулся, приподнялся на кровати и стал прислушиваться. Когда стук повторился, он ощупью в темноте добрался до постели Эмиля и, коснувшись плеча внука, прошептал:

— Эмиль... сынок, слышишь? Кто-то стучится.

Теперь прислушивались оба. После недолгой тишины в ставень снова постучали.

Эмиль быстро и бесшумно оделся, поставил на боевой взвод трофейный автомат и встал в углу за печкой против двери.

— Погляди, дед, что там такое... — сказал он шепотом.

Тенис вышел. Эмиль слышал за дверью приглушенные голоса. Немного погодя дед вернулся.

— Какой-то флотский, из русских. Говорит, будто бежал через залив с эстонских островов. Просит помочь ему. Думаю, надо что-нибудь для него сделать. Как ты полагаешь, сынок?

— Если наш, так обязательно надо помочь. Он один?

— Больше никого не видно.

— Зови его в комнату да зажги огарок; посмотрим, кто он такой

Тенис вышел и тотчас вернулся, пропустив вперед пришельца. Когда свечка была зажжена, Эмиль увидел изможденное, обросшее щетиной лицо, воспаленные глаза и покрытый засохшей грязью бушлат краснофлотца. Не выпуская из рук автомата, Эмиль вышел на середину комнаты.

— Документы есть?

Незнакомец вздрогнул, и несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза — двое преследуемых, окруженных опасностями людей. Но что-то заставляло предполагать в пришельце своего. Не спуская глаз с Эмиля, он достал из внутреннего кармана бушлата бумажник, извлек из него маленькую книжку в коленкоровом переплете и подал партизану.

— Все в порядке, товарищ Королев, — произнес Эмиль, ознакомившись с документом. — Вы находитесь у своих.

Молча они пожали друг другу руки. Спрятав документы в карман, моряк рассказал, как он попал в поселок.

— Наш отряд нес службу береговой обороны на острове. Там были аэродром и несколько батарей артиллерии. Когда фашисты напали на остров, мы долго сопротивлялись, не давали десанту высадиться на берег. Но в конце концов нам пришлось отступить. Их было куда больше, да к тому же фашистская авиация вывела из строя наши батареи. И боеприпасы кончились. Тогда все мы, кто остался в живых, отошли в центральную часть острова — пытались прорваться. Несколько дней назад нам удалось раздобыть рыбацью лодку. Вечером, с наступлением темноты, мы, двадцать человек, отправились в путь и вот, полчаса тому назад, достигли берега. Меня послали в разведку — выяснить, где мы находимся и каким образом пробраться отсюда к своим.

— Где же остальные? — спросил Эмиль.

— Здесь они, в дюнах. Ваш домик окружен со всех сторон. Если бы со мною что-нибудь случилось...— Он улыбнулся.

— Правильно, — сказал Эмиль. — Действовать нужно осмотрительно. Но на этот раз вам просто повезло. Ничего страшного, конечно, не произошло бы, если бы вы попали в какой-нибудь другой дом, но там везде женщины, дети. Могут проболтаться.

— Нас привлекло то, что домик стоит отдельно, в стороне. Легче выбраться, если что и случится.

— Как у вас с продовольствием?

— Мы уже несколько дней ничего не ели...

Эмиль переглянулся с Тенисом.

— Как ты полагаешь, дед?

— Думать тут нечего. Надо накормить людей. Я поставлю на огонь котел с картошкой. Наварю трески.

— Правильно, дедушка. Пошли, товарищ, — кивнул Эмиль краснофлотцу. — Пока тут дед приготовит поесть, мы спрячем лодку.

Они ушли.

Тенис принес картошки, рыбы и начал стряпать. Давно он не чувствовал себя таким бодрым и веселым, как в это утро. Теперь в его жизни появилась настоящая цель! Теперь он может наконец помочь великому делу! Если он спасет этих двадцать бойцов, они потом уничтожат не один фашистский гарнизон. Гитлеру придется заменять выбывших другими, вместо того чтобы посылать их на передовую линию. Хоть небольшое, а все-таки будет облегчение на каком-то клочке фронта.

Несмотря на то что двадцать краснофлотцев были измучены до крайности, лодку все-таки перенесли в дюны и спрятали там в кустарнике. Сейчас, в осеннюю пору, никто в эти края не захаживал. Сами краснофлотцы укрылись в лесу. Эмиль и еще несколько человек ждали Тениса в дюнах, неподалеку от дома. Спустя некоторое время старик принес туда вареной картошки и рыбы. Потом Тенис отправился в поселок, побеседовал с соседями о лове и как бы невзначай показался старосте Лединю. От соседей он узнал, что Лединь в этот день собирается ехать в комендатуру, по-видимому, для получения новых инструкций. Собачья служба — следить за каждым человеком и доносить обо всем фашистам. Купили его мелкими подачками — табаком, сахаром. И он сам знает, что все жители поселка отвернулись от него. Знает и, видать, не особенно хорошо себя чувствует. Постоянно ходит пьяный в стельку... Разумеется, не от хорошей жизни это. Однако остерегаться его необходимо.

После полудня, когда нужно было отнести краснофлотцам обед, в лес отправился сам Тенис Урга. Все они годились ему во внуки, хотя по их

изможденным, обветренным и давно не бритым лицам им можно было дать значительно больше лет, чем было на самом деле.

Они обсудили план дальнейших действий. Эмиль согласился вывести их глухими лесными дорожками и болотными тропинками к своему партизанскому отряду. Но на острове ждали еще сорок человек. Как быть с ними?

Тенис прислушивался к разговорам и раздумывал. Здесь оставалась их лодка... Если на ней могли один раз перебраться через залив, то почему не проделать это еще раз? Но сорок человек за один раз не перевезешь. И как это двадцать человек решились отправиться в море на такой посудине? Чистое безумие. В нее можно усадить ну, скажем, человек двенадцать — тринадцать. Если бы ночь выдалась поненастнее, неизвестно еще, чем бы дело кончилось.

У Тениса была большая лодка, на которой он ходил в открытое море. Он еще не вытащил ее на зиму и паруса не убрал. При хорошем боковом ветре можно было за ночь добраться до острова. А назад? По его расчетам, на операцию требовалось несколько дней. Лединь непременно заметит, что лодки нет, — ведь в его обязанности входит следить, когда та или другая лодка уходит в море и когда возвращается. На лов в открытое море теперь никто не выезжал. «Где был? — спросит. — Зачем отправился в море без разрешения?» Ясно, что отвечать будет нечего. И не менее ясно, что последует за этим. Фашисты долго разговаривать не станут. Если им что не нравится — на сук или пулю в ребра.

Тенис Урга ясно отдавал себе отчет в том, что его ожидает, но не это волновало его сейчас. Главное— удалось бы переправить через залив и доставить в безопасное место сорок ценных бойцов, которым сейчас грозит гибель. Что ж, он готов заплатить за это головой. Вот это будет уже не мелкая услуга, какими он до сих

пор платил советской родине за все, что она дала ему. Это будет нечто настоящее. Ради этого стоит жить... и умереть. Не стыдно будет лечь рядом со своим любимым сыном в песках дюн.

И Тенис Урга, раскурив трубочку, попросил выслушать его.

— Сынки... Я думаю, нужно сделать так...

Двадцать юношей и мужчин обступили плотным кольцом седого деда и слушали его с глубочайшим вниманием.

— У меня большая лодка. В ней могут поместиться человек тридцать, и даже больше. Есть и мачта и парус. Вы останетесь здесь до вечера, а как стемнеет, отнесете обратно на берег и спустите на воду свою лодку. Один из вас, кто лучше помнит дорогу к тем, что остались на острове, поедет со мной. На двух лодках мы за один раз всех перевезем.

— Дедушка.. — мягко, взволнованно заговорил Эмиль. — В таком случае уж лучше поеду я.

— Ты проводишь товарищей к своим, — сказал Тенис. — Постарайся только поскорей вернуться, ведь потом и тех, которые приедут, нужно будет проводить.

— А если на море с вами что-нибудь случится?

— Так и с тобой может случиться. А кто же тогда проведет товарищей через леса и болота? Так-то. Я сейчас пойду домой и поставлю котел на огонь. Тем, на остров, тоже надо отвезти чего-нибудь поесть.

Краснофлотцы, один за другим, подходили к старику и с благодарностью пожимали руку. Тенис Урга слегка смутился.

— Вот это дед!.. Ну и дед... — говорили они, провожая Тениса глазами.

...Как только стемнело, краснофлотцы перетащили свою лодку назад к берегу и спустили на воду. Они помогли Тенису перенести парус и продукты для оставшихся на острове товарищей. Маленькую лодку

привязали канатом к большой. С Тенисом отправился Королев.

Оставшиеся на берегу долго наблюдали, как темные лодки скользили по воде. Вот они прошли за вторую отмель. Широко развернулся серый парус, ветер надул полотно, и лодки исчезли в ночной тьме.

Эмиль долго всматривался в потемневший простор моря. Луна не взошла. Пенясь и рокоча, набегали на прибрежный песок волны — они катились наискось, с севера на юг. Холодный ветер обжигал лицо. Наконец Эмиль повернулся.

— Ну, тронемся.

Небольшой отряд направился в лес.

Среди дюн одиноко темнела лачуга Тениса Урги.

Благодаря попутному ветру Тенис Урга и Королев до острова добрались в первую же ночь, и Королев быстро, без всяких затруднений, разыскал своих товарищей. Спрятав лодки среди камышей в устье небольшой речки, они дождались вечера и с наступлением темноты пустились в море.

Плыть приходилось наискось против ветра. Лодки дрейфовали, отклоняясь от курса, и каждые полчаса нужно было делать проверку. К рассвету им удалось достигнуть только середины залива. Нечего было и думать пристать к берегу днем, Тенис спустил парус и мачту, и весь день они качались среди волн. Чтобы ветер не отнес лодку слишком далеко на юг, двое все время оставались на веслах. К вечеру они очутились так близко от берега, что могли различить над линией горизонта на востоке шпиль церковной колокольни. За третью ночь они проделали оставшуюся часть пути.

Все продукты были съедены еще на второй день, но разжигать огонь и варить ужин было опасно: не могло быть, чтобы в деревне не заметили исчезновения лодки и отсутствия Тениса.

Ранним утром Тенис Урга подвел свою лодку к берегу километра на два севернее поселка. У маленькой лодки краснофлотцы пробили дно, нагроузили ее камнями и утопили в полукилометре от берега. Пользуясь оставшимся в их распоряжении часом темноты, они наполнили водой и большую лодку, сняли с нее якорь, парус и мачты и оставили ее без привязи между первой и второй отмелью. Они помогли Тенису доставить парус домой.

Весь день Тенис провел со спасенными в лесу: хотелось дожидаться Эмиля и самолично убедиться в том, что и второй отряд уходит верной и безопасной дорогой.

Он наполнил два мешка картошкой, выловил из бочки оставшуюся соленую треску и предложил краснофлотцам взять все это с собою в лес.

— У тебя самого-то ничего не остается, дедушка, как ты проживешь до весны?

— Обо мне не беспокойтесь, — ответил Тенис. — У меня есть еще полбочонка салаки, а в дюнах зарыто мешка два картошки. Много ли мне, старику, нужно.

Расположившись на траве у лесной опушки, Тенис время от времени посматривал в сторону моря и на свою лачугу вдали. Два раза за этот день он видел, как к домику подходили люди — человек пять или шесть... Обойдут кругом, постучатся, заглянут в окно, облазят все углы и уйдут обратно в поселок. Ну конечно, разнюхивают... что-то почуяли. Ждут...

...Под вечер возвратился Эмиль. Первая партия благополучно добралась до базы партизанского отряда и временно остановилась там, а Эмиль немедленно поспешил обратно. Он был готов, не отдыхая, снова отправиться в путь.

Краснофлотцы вскочили на ноги, взяли винтовки и построились. Эмиль подошел к деду.

— Дедушка, нам пора двигаться.

— Идите, сынки, идите, — сказал Тенис. — Вас ждет работа. Одно я хочу внушить вам накрепко. — Он покряхтел, как бы подыскивая слова. — Не кладите оружия, прежде чем наша земля не будет очищена от последнего врага... Это сорняки... нельзя давать им разрастаться, пускать корни — они заглушат у нас все доброе и хорошее. Надо искоренить их поскорее, пока они не погубили всех честных и порядочных людей. Торопитесь, сынки, торопитесь... ведь вы наши защитники и спасители.

— Исполним, дед, все исполним. Такую баню зададим этим грабителям, что им тошно станет. Но ты должен пойти с нами.

— Нет, сынок, мне лучше остаться здесь, на берегу. Там, в лесах, я мало чем смогу вам помочь, а здесь... кто знает, могу когда-нибудь еще пользу принести. Обо мне не беспокойтесь — уж я как-нибудь...

Никакие уговоры не помогли: Тенис не хотел связывать бойцов. Да и надеялся задержать ищеек. Об этом он не сказал никому.

На прощание Эмиль обнял деда и поцеловал.

— Скоро я приду сюда с товарищами. Если только фашисты осмелятся причинить тебе зло, дедушка, им придется дорого заплатить за это.

Эмиль и краснофлотцы ушли. Тенис медленно двинулся вдоль опушки к поселку.

Возвратившись домой, Тенис закрыл ставни и при свете свечи побрился, надел чистое белье. Перед тем как улечься, он достал старый альбом и долго разглядывал выцветшие, пожелтевшие фотографии. С каждой из них были связаны далекие воспоминания о прошлом. Перед глазами его прошла вся жизнь: детские шалости... мечты и стремления юности... беспощадные удары судьбы. Но как бы то ни было, за прожитую жизнь кое-что сделано. И после того как его самого, Тениса Урги, не будет на свете, останется борьба,

стремление людей к справедливости, к свободе, к лучшей жизни. Молодые совершат то, о чем Тенис думал всю жизнь. И в этом сохранится некоей крошечной частицей его труд, его мысли и жизнь. И он приложил руку к общему делу. Стало быть, недаром жил.

...Утром через дюны по направлению к лачуге Тениса Урги шли четыре человека — Лединь и три вооруженных фашиста.

Тенис заметил их и сразу понял, зачем они идут. Подсев к окну, он смотрел через головы идущих на берег, где темнели на песке черные кили вытащенных на сушу лодок, на море, которое пенилось и волновалось под натиском бури.

Вода отливала синеватым и зеленым, как спинка салаки. Против ветра летела чайка; временами ей удавалось прорваться вперед, подняться повыше, но затем порыв бури швырял ее назад, вниз, прижимая почти к самым гребням волн. Птица не сдавалась, снова и снова взмывала кверху, взмахивала крыльями и устремлялась навстречу ветру.

1942

Константин Симонов. ПЕХОТИНЦЫ

Шел седьмой или восьмой день наступления. В четвертом часу утра начало светать, и Савельев проснулся. Спал он в эту ночь, завернувшись в плащ-палатку, на дне отбитого накануне, поздно вечером, немецкого окопа. Моросил дождь, но стенки окопа закрывали от ветра, и хотя было мокро, однако не так уж холодно. Вечером здесь не удалось продвинуться дальше, потому что вся лощина впереди сплошь покрывалась огнем неприятеля. Роте было приказано окопаться и ночевать тут.

Разместились уже в темноте, часов в одиннадцать вечера, и старший лейтенант Савин разрешил бойцам спать по очереди: один боец спит, а другой дежурит. Савельев, по характеру человек терпеливый, любил откладывать самое хорошее «напоследки» и потому сговорился со своим товарищем Юдиным, чтобы тот спал первым. Два часа, до половины второго ночи, Савельев дежурил в окопе, а Юдин спал рядом с ним. В половине второго он растолкал Юдина, тот поднялся, а Савельев, завернувшись в плащ-палатку, заснул. Он проспал почти два с половиной часа и проснулся оттого, что стало светать.

— Светает, что ли? — спросил он у Юдина, выглядывая из-под плащ-палатки не столько для того, чтобы проверить, действительно ли светает, сколько для того, чтобы узнать, не заснул ли Юдин.

— Начинает, — сказал Юдин голосом, в котором чувствовался озноб от утренней свежести. — А ты давай спи пока.

Но спать не пришлось. По окопу прошел их взводный, старшина Егорычев, и приказал подниматься.

Савельев несколько раз потянулся, все еще не вылезая из-под плащ-палатки, потом разом вскочил.

Пришел командир роты, старший лейтенант Савин, который с утра обходил все взводы. Собрав их взвод, он объяснил задачу дня: надо преследовать противника, который за ночь отступил, наверное, километра на два, а то и на три, и надо опять его настичь. Савин, как заметил Савельев, обычно говорил про немцев «фрицы», но когда объяснял задачу дня, то неизменно выражался о них только как о противнике.

— Противник, — говорил он, — должен быть настигнут в ближайший же час. Через пятнадцать минут мы выступим.

Встав в окопе, Савельев старательно подогнал снаряжение. А было на нем, если считать автомат, да диск, да гранаты, да неприкосновенный запас в мешке, без малого пуд, а может, и пуд с малым. На весах он не взвешивал, только каждый день прикидывал на плечах, и, в зависимости от усталости, ему казалось то меньше пуда, то больше.

Когда они выступили, солнце еще не показывалось. Моросил дождь. Трава на луговине была мокрая, и под ней хлюпала раскисшая земля.

— Ишь какое лето паскудное! — сказал Юдин Савельеву.

— Да, — согласился Савельев. — Зато осень будет хорошая. Бабье лето.

— До этого бабьего лета еще довоевать надо, — сказал Юдин, человек смелый, когда дело доходило до боя, но склонный к невеселым размышлениям.

Они спокойно пересекли ту самую луговину, через которую вчера никак нельзя было перейти. Сейчас над всей этой длинной луговиной было совсем тихо, никто ее не обстреливал, и только частые маленькие воронки

от мин, то и дело встречавшиеся на дороге, размытые и наполненные дождевой водой, напоминали о том, что вчера здесь шел бой.

Минут через двадцать, пройдя луговину, они дошли до леска, у края которого была линия окопов, оставленных немцами ночью. В окопах валялось несколько банок от противогазов, а там, где стояли минометы, лежало полдюжины ящиков с минами.

— Все-таки бросают, — сказал Савельев.

— Да, — согласился Юдин. — А вот мертвых оттаскивают. Или, может быть, мы никого вчера не убили?

— Быть не может, — возразил Савельев. — Убили.

Тут он заметил, что окоп рядом засыпан свежей землей, а из-под земли высовывается нога в немецком ботинке с железными широкими шляпками на подошве, и сказал:

— Оттаскивать не оттаскивают, а вот хоронить хоронят,— и кивнул на засыпанный окоп, откуда торчала нога.

Они оба испытали удовлетворение оттого, что Савельев прав. Захватив немецкие позиции и понеся при этом потери, было бы досадно не увидеть ни одного мертвого немца. И хотя они знали, что у немцев имеются убитые, все-таки хотелось убедиться в этом своими глазами.

Через лесок шли осторожно, опасаясь засады. Но засады не оказалось.

Когда они вышли на другую опушку леса, перед ними раскинулось открытое поле. Савельев увидел: впереди, в полукилометре, идет разведка. Но ведь немцы могли ее заметить и пропустить, а потом ударить минами по всей роте. Поэтому, выйдя на поле, бойцы, по приказанию старшего лейтенанта Савика, развернулись редкой цепью. Двигались молча, без разговоров. Савельев ждал, что вот-вот может начаться

обстрел. Километра за два впереди виднелись холмы. Это была удобная позиция, и там непременно должны были сидеть немцы.

В самом деле, когда разведка ушла еще на километр вперед, Савельев сначала увидел, а потом услышал, как там, где находились разведчики, разорвалось сразу несколько мин. И тут же по холмам ударила наша артиллерия. Савельев знал, что, пока нашей артиллерии не удастся подавить эти немецкие минометы или заставить их переменить место, они не перестанут стрелять. И, наверное, перенесут огонь и будут пристреливаться по их роте.

Чтобы к этому моменту пройти как можно больше, Савельев и все остальные бойцы пошли вперед быстрее, почти побежали. И хотя до сих пор вещевой мешок оттягивал ему плечи, сейчас, под влиянием начавшегося возбуждения боя, он почти забыл об этом.

Они шли еще минуты три или четыре. Потом где-то неподалеку, за спиной Савельева, разорвалась мина, и кто-то справа от него, шагах в сорока, вскрикнул и сел на землю.

Савельев обернулся и увидел, как Юдин, который был в одно и то же время бойцом и санитаром, сначала остановился, а потом побежал к раненому.

Следующие мины ударили совсем близко. Бойцы залегли. Когда они вновь вскочили, Савельев успел заметить, что никого не задело.

Так они несколько раз ложились, поднимались, перебежали и прошли километр до маленьких пригорков. Здесь притаилась разведка. В ней все были живы. Противник вел переменный, то минометный, то пулеметный, огонь. Савельеву и его соседям повезло: там, где они залегли, оказались не то что окопы, но что-то вроде них (наверное, их тут немцы начали рыть, потом бросили). Савельев залег в начатый окоп,

отстегнул лопатку, подрыл немного земли и навалил ее перед собой.

Наша артиллерия все еще сильно била по холмам. Немецкие минометы один за другим замолкли. Савельев и его соседи лежали, каждую минуту готовые по команде двинуться дальше. До холмов, где находились немцы, оставалось метров пятьсот по совсем открытому месту. Минут через пять, после того как они залегли, вернулся Юдин.

— Кого ранило? — спросил Савельев.

— Не знаю его фамилии, — ответил Юдин. — Этого маленького, который вчера с пополнением пришел.

— Сильно ранило?

— Да не так чтобы очень, а из строя выбыл.

В это время над их головами прошли снаряды «катюш», и сразу холмы, на которых засели немцы, заволкли сплошным дымом. Видимо, этой минуты и выжидал предупрежденный начальством, старший лейтенант Савин. Как только прогремел залп, он передал по цепи приказание подниматься.

Савельев, с сожалением поглядев на мокрый окоп, сдернул с шеи ремень автомата.

Несколько минут Савельев, как и другие, бежал, не слыша ни одного выстрела. Когда же до холмиков осталось всего рукой подать — метров двести, а то и меньше, — оттуда сразу ударили пулеметы, сначала один — слева, а потом два других — из середины. Савельев с размаху бросился на землю и только тогда почувствовал, что он совсем задохнулся от тяжелого бега и сердце его колотится так, словно ударяет прямо о землю. Кто-то сзади (кто — Савельев в горячке не разобрал), не успевший лечь, закричал не своим голосом.

Над головой Савельева прошел сначала один, потом другой снаряд. Не отрываясь от земли, проведя щекой по мокрой траве, он повернул голову и увидел, что

позади, шагах в полтораста, стоят легкие пушки и прямо с открытого поля стреляют по немцам. Просвистел еще один снаряд. Немецкий пулемет, который бил слева, замолчал. И в тот же момент Савельев увидел, как старшина Егорычев, который лежал человека через четыре от него налево, не поднимаясь, взмахнул рукой, показал ею вперед и пополз по-пластунски. Савельев последовал за ним. Ползти было тяжело, место было низкое и мокрое. Когда он, подтягиваясь вперед, хватывался за траву, она резала пальцы.

Пока он полз, пушки продолжали посылать снаряды через его голову. И хотя впереди немецкие пулеметы тоже не умолкали, но от этих своих пушечных выстрелов ему казалось, что ползти легче.

Теперь до немцев было рукой подать. Пулеметные очереди шевелили траву то сзади, то сбоку. Савельев прополз еще шагов десять и, наверное, так же, как и другие, почувствовал, что вот сейчас или минутой позже нужно будет вскочить и во весь рост пробежать оставшиеся сто метров.

Пушки, находившиеся позади, выстрелили еще несколько раз порознь, потом ударили залпом. Впереди взметнулась взлетевшая с бруствера окопов земля, и в ту же секунду Савельев услышал свисток командира роты. Скинув с плеч вещевой мешок (он подумал, что придет за ним потом, когда они возьмут окопы), Савельев вскочил и на бегу дал очередь из автомата. Он оступился в незаметную ямку, ударился оземь, вскочил и снова побежал. В эти минуты у него было только одно желание: поскорее добежать до немецкого окопа и спрыгнуть в него. Он не думал о том, чем его встретит немец. Он знал, что если он спрыгнет в окоп, то самое страшное будет позади, хотя бы там сидело сколько хочешь немцев. А самое страшное — вот эти оставшиеся

метры, когда нужно бежать открытой грудью вперед и уже нечем прикрыться.

Когда он оступился, упал и снова поднялся, товарищи слева и справа обогнали его, и поэтому, вскочив на бруствер и нырнув вниз, он увидел там лежавшего ничком уже убитого немца, а впереди себя — плотную выцветшую гимнастерку бойца, бежавшего дальше по ходу сообщения. Он побежал было вслед за бойцом, но потом свернул по окопу налево и с маху наткнулся на немца, который выскочил навстречу ему. Они столкнулись в узком окопе, и Савельев, державший перед собой автомат, не выстрелил, а ткнул немца в грудь автоматом, и тот упал. Савельев потерял равновесие и тоже упал на колени. Поднялся он с трудом, опираясь рукой о скользкую, мокрую стену окопа. В это время оттуда же, откуда выскочил немец, появился старшина Егорычев, который, должно быть, гнался за этим немцем. У Егорычева было бледное лицо и злые, сверкающие глаза.

— Убитый? — спросил он, столкнувшись с Савельевым и кивнув на лежавшего немца.

Но немец, словно опровергая слова Егорычева, что-то забормотал и стал подниматься со дна окопа. Это ему никак не удавалось, потому что окоп был скользкий, а руки у немца были подняты кверху.

— Вставай! Вставай, ты! Хенде нихт, — сказал Савельев немцу, желая объяснить, что тот может опустить руки.

Но немец опустить руки боялся и все пытался встать. Тогда Егорычев поднял немца за шиворот одной рукой и поставил его в окопе между собой и Савельевым.

— Отведи его к старшему лейтенанту, — сказал Егорычев, — а я пойду, — и скрылся за поворотом окопа.

С трудом разминувшись с немцем в окопе и подталкивая его, Савельев повел пленного впереди

себя. Они прошли окоп, где лежал, раскинувшись, мертвый немец, которого, вскочив в окоп, в первую же секунду увидел Савельев, потом повернули в ход сообщения, и глазам Савельева открылись результаты действия «катюш».

Все и в самом ходе сообщения, и по краям его было сожжено и засыпано серым пеплом; поодаль друг от друга были разметаны в траншею и наверху трупы немцев. Один лежал, свесив в траншею голову и руки.

«Наверное, хотел прыгнуть, да не успел», — подумал Савельев.

Штаб роты Савельев нашел возле полуразбитой немецкой землянки, вырытой тут же, рядом с окопами. Как и все здесь, она была сделана наспех: должно быть, немцы вырыли ее только за вчерашний день. Во всяком случае, это ничем не напоминало прежние прочные немецкие блиндажи и аккуратные окопы, которые Савельев видел в первый день наступления, когда была прорвана главная линия немецкой обороны. «Не успевают», — с удовольствием подумал он. И, повернувшись к командиру роты, сказал:

— Товарищ старший лейтенант, старшина Егорычев приказал пленного доставить.

— Хорошо, доставляйте, — сказал Савин.

В проходе землянки стояли еще трое пленных немцев, которых охранял незнакомый ему автоматчик.

— Вот тебе еще одного фрица, браток, — сказал Савельев.

— Сержант! — окликнул в эту минуту старший лейтенант автоматчика. — Когда все соберутся к вам, возьмете с собой еще одного легкораненого и поведете пленных в батальон.

Тут Савельев увидел, что у автоматчика перевязана левая рука и автомат он держит одной правой рукой.

Савельев пошел обратно по окопам и через минуту отыскал Егорычева и еще нескольких своих. В отбитых

окопах все уже приходило в порядок, и бойцы устраивали себе места для удобной стрельбы.

— А где Юдин, товарищ старшина? — спросил Савельев, беспокоясь за друга.

— Он назад пошел, там раненых перевязывает.

И в десятый раз за эти дни Савельев подумал, какая тяжелая должность у Юдина: он делает то же, что и Савельев, да еще ходит вытаскивать раненых и перевязывает их. «Может, он с усталости такой ворчливый», — подумал Савельев про Юдина.

Егорычев указал ему место, и он, вытащив лопатку, стал расширять себе ячейку, чтобы все приспособить поудобнее на всякий случай.

— Их тут не так много и было-то, — сказал Егорычев, занимавшийся рядом с Савельевым установкой пулемета. — Как их «катушками» накрыло — видал?

— Видал, — сказал Савельев.

— Как снарядами накрыло, так их совсем мало осталось. Прямо-таки замечательно-удивительно накрыло их! — повторил Егорычев.

Савельев уже заметил, что у Егорычева была привычка говорить «замечательно-удивительно» скороговоркой, в одно слово, но говорил он это изредка, когда что-нибудь особенно восхищало его.

Савельев набрасывал лопаткой земляной бруствер, а сам все время думал, как хорошо было бы закурить. Но Юдин все еще не возвращался, а закурить одному было совестно. Однако едва успел он сделать себе «kozyрек», как вернулся и Юдин.

— Закурим, Юдин? — обрадовался Савельев.

— А высохла?

— Должна высохнуть, — весело отозвался Савельев и стал отвинчивать крышку трофейной масленки, которую он накануне нашел в окопе и теперь приспособил под табак.

— Товарищ старшина, закурить желаете? — обратился он к Егорычеву.

— А что, махорка есть?

— Есть, только сыроватая.

— Давай, — согласился Егорычев

Савельев взял две маленькие щепотки, насыпал по одной Егорычеву и Юдину, которые уже приготовили бумажки. Потом взял третью щепотку себе. Раздался вой снаряда и взрыв около самого окопа. Над их головой метнулась земля, и они все трое присели на корточки.

— Скажи пожалуйста! — удивился Егорычев.— Махорку-то не просыпали?

— Нет, не просыпали, товарищ старшина! — отозвался Юдин.

Присев в окопе, они стали свертывать сигарки, а Савельев, с огорчением посмотрев на свои руки, увидел, что весь табак, какой был у него на бумажке, просыпался наземь. Он посмотрел вниз: там стояла вода, и махорка совсем пропала. Тогда, открыв масленку, он с сожалением насыпал себе еще щепотку: он думал, что осталось еще на две закурки, а теперь выходило, что остается только на одну.

Едва они успели закурить, как опять начали рваться снаряды. Иногда комья земли падали в окоп, в стоявшую на дне воду.

— Наверное, заранее пристрелялись, — сказал Егорычев. — Рассчитывали, что не устоят тут.

Новый снаряд разорвался в самом ходе сообщения, только за поворотом. Их никого не тронуло, но отбросило на дно окопа, в воду. Они поднялись, и Савельев, выглянув за бруствер окопа, посмотрел в немецкую сторону: там не было заметно никакого движения.

Егорычев вынул из кармана часы, посмотрел на них и молча спрятал обратно.

— Который час, товарищ старшина? — спросил Савельев.

— А ну, который? — в свою очередь, спросил Егорычев.

Савельев посмотрел на небо, но по небу трудно было что-нибудь определить: оно было совершенно серое, и по-прежнему моросил дождь.

— Да часов десять утра будет, — сказал он.

— А по-твоему, Юдин? — спросил Егорычев.

— Да уж полдень небось, — сказал Юдин.

— Четыре часа, — сказал Егорычев.

И хотя в такие дни, как этот, Савельев всегда ошибался во времени и вечер приходил всегда неожиданно, тем не менее он лишний раз удивился тому, как быстро летит время.

— Неужто четыре часа? — переспросил он.

— Вот тебе и «неужто», — ответил Егорычев. — С минутами.

Немецкая артиллерия стреляла еще довольно долго, но безрезультатно. Потом снова в самом окопе, но теперь поодаль, разорвался один снаряд, и оттуда сразу позвали Юдина. Юдин пробыл там минут десять. Вдруг снова просвистел снаряд, и там, где находился Юдин, раздался взрыв. Потом опять затихло, немцы больше не стреляли.

Спустя несколько минут к Савельеву подошел Юдин. Лицо его было совершенно бледное, ни кровинки.

— Что ты, Юдин? — удивился Савельев.

— Ничего, — спокойно сказал Юдин. — Ранило меня.

Савельев увидел, что рукав гимнастерки у Юдина разрезан во всю длину, рука заправлена за пояс и прибинтована к телу. Савельев знал, что так делают при серьезных ранениях.

«Пожалуй, перебита», — подумал Савельев.

— Как вышло-то? — спросил он Юдина.

— Там Воробьева ранило, — пояснил Юдин.— Я его перевязывал, и аккуратно ударило. Воробьева убило, а меня... вот видишь...

Он присел в окопе, прежде чем уйти.

— Закури на дорожку, — предложил Савельев.

Он снова достал свою трофейную масленку и сначала хотел разделить щепотку, которая там оставалась, на две, но устыдился своей мысли, свернул из всего табака большую сигарку и протянул Юдину. Тот левой, здоровой рукой взял сигарку и попросил дать огня.

Немцы совсем не стреляли. Стояла тишина.

— Ну, пока не стреляют, я пойду, дружище, — сказал Юдин и поднялся.

Зажав сигарку в уголке рта, он протянул Савельеву здоровую руку.

— Ты это... — сказал Савельев и замолчал, потому что подумал: вдруг у Юдина отнимут руку.

— Что «это»?

— Ты поправляйся и обратно приходи.

— Да нет, — сказал Юдин.— Коли поправлюсь, так все одно в другую часть попаду. У тебя адрес мой имеется. Если после войны будешь через Поныри проезжать, слезь и зайди. А так — прощай. На войне едва ли свидимся.

Он пожал руку Савельеву. Тот не нашелся, что сказать ему, и Юдин, неловко помогая себе одной рукой, вылез из окопа и, немного сутулясь, медленно пошел по полю назад.

«Привык, наверное, я к нему», — подумал Савельев, не понимая еще того, что он не привык к Юдину, а полюбил его.

Чтобы провести время, Савельев решил пожевать сухарь. Но только тут он вспомнил, что свой вещевой мешок бросил, не доходя до окопа. Он попросил

разрешения у Егорычева, вылез из окопа и пошел туда, где, по его расчетам, лежал вещевой мешок. Впереди виднелась фигура Юдина, но Савельев не окликнул его. Что он мог ему еще сказать?

Минут через пять он отыскал свой мешок и пошел обратно.

Вдруг он увидел то, что наблюдатель, сидевший в окопе ниже его, увидел на несколько минут позже. Впереди, левее леска, лежащего на горизонте, шли немецкие танки, штук десять или двенадцать. Увидев танки, хотя они еще не стреляли, Савельев захотел поскорее добежать до окопа и спрыгнуть вниз. Но не успел он этого сделать, как танки открыли огонь, — не по нему, конечно, но Савельеву казалось, что именно по нему. Запыхавшись, он спрыгнул в окоп, где Егорычев уже приказывал готовить гранаты.

Боец Андреев, долговязый бронебойщик из их взвода, пристраивал в окопе поудобнее свою большущую «дегтяревку». Савельев отстегнул от пояса и положил перед собой на бруствер противотанковую гранату; она была у него только одна, вторую он дней пять назад, погорячившись, кинул в немецкий танк, когда тот был еще метров за сто от него. И, конечно, граната разорвалась совсем попусту, не причинив танку никакого вреда. В тот раз, заметив оплошность Савельева, Егорычев отругал его, да Савельеву самому было неловко, потому что выходило, будто он струсил, а про себя он знал, что на самом деле не струсил, а только погорячился. И сейчас, отстегивая от пояса гранату, он решил, что, если танк пойдет в его сторону, он бросит гранату только тогда, когда танк будет совсем близко.

Но танки шли куда-то левее и дальше. Только два танка, самые крайние, отделились и, казалось, шли именно на них.

— Главное, сиди и жди, — сказал, проходя мимо, старший лейтенант Савин, который обходил окопы и всем так говорил: — Сиди и жди и бросай вслед ему, когда он пройдет. Будешь сидеть спокойно, ничем он тебя не возьмет.

Он прошел дальше, и Савельев слышал, как он теми же словами наставлял другого бойца.

Немецкие танки стреляли непрерывно на ходу. То над головой, то слева свистели их снаряды. Савельев слегка приподнялся над окопом. Танки шли веером, один был совсем близко слева, один шел, казалось, прямо на него. Савельев опять нырнул в окоп. И хотя танк, который шел слева, был больше — это был «тигр», а тот, который шел на него, был обыкновенный средний танк, но потому, что он был ближе всех, Савельеву показалось, что он самый большой. Он приподнял с бруствера гранату и прикинул ее на руке. Граната была тяжелая, и от этого ему стало как-то спокойнее.

В это время сбоку стал стрелять бронейщик Андреев.

Когда Савельев выглянул еще раз, танк был уже в двадцати шагах. Едва он успел укрыться на дне окопа, как танк прогрохотал над самой его головой, на него пахнуло сверху чужим запахом, гарью и дымом и посыпалась с краев окопа земля. Савельев прижал к себе гранату, как будто боялся, что ее отнимут.

Танк перевалил через окоп. Савельев вскочил, подтянулся на руках, лег животом на край окопа, потом выскочил совсем и бросил гранату вслед танку, целясь под гусеницу. Он бросил гранату со всей силой и, не удержавшись, упал вперед на землю. А затем, зажмурясь, повернулся и спрыгнул в окоп. Лежа в окопе, он все еще слышал рев танка и подумал, что, наверное, промахнулся. Тогда его охватило любопытство, и, хотя было страшно, он приподнялся и выглянул из окопа. Танк, гремя, поворачивался на одной

гусенице, а вторая, как распластанная железная дорожка, волочилась за ним. Савельев понял, что попал.

В этот момент над его головой просвистели один за другим два снаряда. Едва Савельев снова укрылся в окопе, как раздался оглушительный взрыв.

— Смотри, горит! — крикнул Андреев, который, поднявшись в окопе, поворачивал свою бронебойку в ту сторону, где находился танк. — Горит! — крикнул он еще раз.

Савельев, приподнявшись над окопом, увидел, что танк вспыхнул и весь загорелся.

Другие танки были далеко влево; один горел, остальные шли, но в эту минуту Савельев не мог бы сказать, идут ли они вперед или назад. Когда он бросал гранату и когда взорвался танк, все в голове у него спуталось.

— Ты ему гусеницу подбил, — сказал почему-то шепотом Андреев. — Он остановился, а она как вмажет ему!

Савельев понял, что Андреев имеет в виду противотанковую пушку.

Остальные танки ушли совсем куда-то влево и скрылись из виду. По окопам стали сильно бить немецкие минометы.

Так продолжалось часа полтора и наконец прекратилось. В окоп пришел старший лейтенант Савин вместе с капитаном Матвеевым, командиром батальона.

— Вот он подбил фашистский танк, — сказал командир роты, остановившись около Савельева.

Савельев удивился этим словам: он никому еще не говорил, что подбил танк, но старший лейтенант знал уже и об этом.

— Ну что же, представим, — сказал капитан Матвеев. — Молодец! — и пожал руку Савельеву. — Как же вы его подбили?

— Он как надо мной прошел, я выскочил и кинул ему гранату в гусеницу, — сказал Савельев.

— Молодец! — повторил Матвеев.

— Ему еще медаль за старое причитается, — сказал старший лейтенант.

— А я принес, — сказал капитан Матвеев. — Я вам четыре медали в роту принес. Прикажите, чтобы бойцы пришли и командир взвода.

Старший лейтенант ушел, а капитан, присев в окопе рядом с Савельевым, порылся в кармане своей гимнастерки, вынул несколько удостоверений с печатями и отобрал одно. Потом он вынул из другого кармана коробочку и из нее медаль. К ним подошли старший лейтенант, старшина и еще два бойца.

Савельев поднялся и, словно он находился в строю, замер, как по команде «смирно».

— Красноармеец Савельев, — обратился к нему капитан Матвеев, — от имени Верховного Совета и командования в награду за вашу боевую доблесть вручаю вам медаль «За отвагу».

— Служу Советскому Союзу! — ответил Савельев.

Он взял медаль задрожавшими руками и чуть не уронил.

— Ну вот, — сказал капитан, то ли не зная, что еще сказать, то ли считая дальнейшие слова ненужными.— Поздравляю и благодарю вас. Воюйте! — И он пошел дальше по окопу, в соседний взвод.

— Слушай, старшина, — сказал Савельев, когда все остальные ушли.

— Да?

— Привинти-ка.

Егорычев достал из кармана перочинный ножик на цепочке, не торопясь открыл его, расстегнул ворот гимнастерки Савельева, подлез рукой, проткнул повыше кармана ножом и прикрепил медаль к мокрой, потной, забрызганной грязью гимнастерке Савельева.

— Жаль, закурить нечего по этому случаю! — сказал Егорычев.

— Ничего, и так обойдется, — сказал Савельев.

Егорычев полез в задний карман брюк, вытащил жестяной портсигар, открыл его, и Савельев увидел на дне портсигара немного табачной пыли.

— Для такого раза не пожалею, — сказал Егорычев. — На крайний случай берег.

Они свернули по сигарке и закурили.

— Что же это, затихло? — сказал Савельев.

— Затихло, — согласился Егорычев. — А ты давай сухарей пожуй. Нужно, чтобы все поели, — я приказание отдам. А то, может быть, как раз и пойдем. — И он отошел от Савельева.

Где-то впереди, слева, еще сильно стреляли, а тут было тихо — то ли немцы что-нибудь готовили, то ли отошли.

Савельев посидел с минуту, потом, вспомнив слова старшины, что, может быть, и правда они тронутся, вытащил из мешка еще один сухарь и, хотя ему не хотелось есть, стал его грызть.

На самом деле происходило то, чего не знали ни Савельев, ни Егорычев.

Немцы не стреляли потому, что на левом фланге их сильно потеснили и они отошли километра на три, за небольшую заболоченную реку. В момент, когда Савельев сидел в тишине и грыз сухарь, в полку уже было дано приказание батальону двигаться вперед и выйти к самой реке, с тем чтобы ночью форсировать ее.

Прошло пятнадцать минут, и старший лейтенант Савин поднял роту. Савельев так же, как и другие, уложив снова вещевой мешок, закинул его за плечи, вышел из окопа и зашагал. До леска дошли благополучно. Уже начинало темнеть. Когда пересекли рощицу и выходили на ее опушку, Савельев увидел сначала сгоревший немецкий танк, а шагах в ста от

него наш, тоже сгоревший. Они совсем близко прошли мимо этого танка, и Савельев различил цифры «120». «Сто двадцать, сто двадцать», — подумал он. Эти цифры, казалось, он недавно видел перед собой. И вдруг он вспомнил, как позавчера, когда они, усталые, в пятый раз поднялись и пошли в атаку, им попались стоявшие в укрытиях танки и на одном из танков были цифры «120». Юдин, у которого был злой язык, на ходу сказал танкистам, высунувшимся из люка:

— Что же, пошли в атаку вместе?

Один из танкистов покачал головой и сказал:

— Нам сейчас не время.

— Ладно, ладно, — сердито сказал Юдин. — Вот как в город будем входить, так вы туда и въезжайте, как гордые танкисты, и пусть вам девушки цветы дарят...

Он еще выругался тогда и пошел дальше. Савельеву тоже показалось в эту минуту обидным, что вот они идут вперед, а танкисты чего-то ждут.

Проходя мимо сожженного танка, он с огорчением вспомнил об этом разговоре и подумал, что они живы, а сидевшие в броне танкисты, наверное, погибли в бою. А Юдин, вероятно, идет, если уже не дошел, в медсанбат с перебитой рукой, перехваченной поясом.

«Такое дело — война, — подумал Савельев, — нельзя в ней людей обидным словом трогать. Сегодня обидишь, а завтра и прощенья попросить поздно».

В темноте они вышли на низкую луговину, которая переходила в болото. Река была совсем близко.

Как сказал старший лейтенант Савин, нужно было к 24.00 сосредоточиться и потом форсировать реку. Савельев вместе с другими уже шел по самому болоту, осторожно, чтобы не зашуметь, ступая в подававшуюся под ногами трясину. Он немного не дошел до берега реки, как вдруг над головой его провыла первая мина и ударилась в грязь где-то далеко за ним. Потом завывала

другая и ударилась ближе. Они залегли, и Савельев стал быстро копать мокрую землю. А мины все шлепались и шлепались в болото то слева, то справа.

Ночь была темная. Савельев лежал молча, ему хотелось во что бы то ни стало поскорее переправиться через реку.

Под свист мин и хлюпанье воды ему приходили на память все события нынешнего дня. Он вспоминал то Юдина, который, может быть, все еще идет по дороге, то сгоревший танк, экипаж которого они когда-то обидели, то распластавшуюся, как змея, гусеницу подбитого им немецкого танка, то, наконец, взводного Егорычева и последнюю табачную пыль на дне его портсигара. Больше закурить сегодня не предвиделось.

Было холодно, неуютно и очень хотелось курить. Если бы Савельеву пришло в голову считать дни, что он воюет, то он бы легко сосчитал, что как раз кончался восьмисотый день войны.

1943

Юозэс Балтушис. РАССКАЗ ПАРТИЗАНА

Трупы фашистов валялись у дороги на лужайке, за невысоким ельником, где из-под осевших сугробов выбивались узорчатые листья прошлогоднего папоротника.

Партизаны возвращались на базу. Идти было трудно: ноги вязли в глубоком рыхлом снегу, а мокрых сапогах хлюпала вода.

Партизаны брели по лесу, обвешанные связками гранат и пулеметными лентами, новенькими винтовками на светло-желтых ремнях.

Им удалось отбить обозные повозки, на которых фашисты везли награбленное у окрестных жителей имущество и боеприпасы.

Операция прошла на редкость удачно, отряд не понес никаких потерь. Только Букису пуля задела бедро, да Йонашасу осколком поцарапало спину. Только и всего.

Командир отряда Найнис весело осматривал своих людей, проходивших мимо него, и радовался — все целы, всё в порядке. Но вдруг он заметил, что Дауры нет. Где же Даура? Что случилось? Найнис остановился, оперся о ствол сухого дерева, перевел дыхание, поправил ружейный ремень, врезавшийся о плечо. Пот градом катился из-под его мохнатой шапки: он сдвинул ее на затылок и шершавым рукавом куртки провел по лбу. Да и в самом деле, все, кто участвовал в вылазке, уже прошли мимо него. Только медлительный Бежа, как всегда, плелся последним.

— А Дауру не видал? — спросил командир.

— Нет, — отозвался Бежа.

— А где же он? — встревожился Найнис. — Уж не случилось ли с ним чего.

Круглое лицо Бежи расплылось в улыбке.

— Случилось? Как бы не так... С ним, с дьяволом, случится...

Командир отряда и Бежа прошли несколько шагов, парень крикнул, обрадовавшись:

— Вот он, легок на помине... На пенечке сидит.

Тут уж и Найнис увидел Дауру.

— Ранен он, что ли? — спросил командир, еще издали разглядев невеселое лицо Дауры.

Найнис любил Дауру. В самом начале войны, сразу после вторжения фашистов в Литву, Даура пришел в его только что сформированный отряд. Он выглядел спокойным и сдержанным. Найнис знал, что на Дауру всегда можно положиться.

Даура был первым и в бою и в разведке. И Найнис вскоре уже не мог представить себе свой отряд без этого огромного человека с могучими плечами и добрым взглядом синих глаз, поблескивающих из-под мохнатых бровей.

Партизаны, особенно молодые ребята, души не чаяли в Дауре. Храбрость его и мужество служили примером для всех. Вокруг него всегда толпилась молодежь, жадно слушая его немногословные рассказы. Он был, как говорят, душой отряда.

А тут, в такое счастливое для партизан утро, Даура сидит один на березовом пеньке, понурился головой.

Найнис подошел к Дауре.

— Ты что, ранен?

— Нет, зачем же, — сказал Даура. И, как бы желая еще раз убедиться в правоте своих слов, ощупал себя.

— Нет, — повторил он, — у меня все в порядке. Я целый...

— Так что же с тобой? — спросил Найнис.

— Ничего, — сказал Даура. — Просто отдыхаю немножко.

Около пенька лежал убитый фашистский офицер.

Найнис кивнул на убитого.

— На твоем счету числится?

— На моем... Только...

— Что только? — спросил Найнис, скручивая папироску.

— Видишь ли, — медленно произнес Даура, глядя на убитого, — он показался мне как будто знакомый.

— Кто? Вот этот?

— Ну да, — сказал Даура. — Мне показалось, я его знаю давно. — И он снова пристально посмотрел на острые черты лица убитого. — Нет, это не тот... Мне только показалось...

— Что показалось? Кто не тот? — удивился Найнис.

— Ничего, я только так... — пробормотал Даура, закидывая на плечо винтовку. — Пошли, товарищ командир... Я после когда-нибудь расскажу, в чем тут дело. Дело это, в общем, старое.

Бежа, поджидавший их на тропинке, поплелся за ними.

Когда они пришли в землянку, все партизаны уже были там и оживленно обсуждали подробности удачного сражения.

Даура, не вступая в разговор, сел возле железной печурки и, глядя на пылающие поленья, глубоко задумался.

Найнис искоса поглядывал на него.

Поговорив с бойцами и отдав необходимые распоряжения, Найнис сел рядом с Даурой, помешал в печурке дрова. Пламя вспыхнуло сильнее.

— Может, расскажешь, а? — тихо сказал Найнис.

— О чем?

— Кого тебе напомнил тот убитый...

— Долгая история, командир.

— А все-таки...

Даура вскинул голову и посмотрел Найнису в глаза.

— Если тебе интересно... Только не люблю я рассказывать про это. Да и давно все это было. Очень давно. Еще в ту войну...

Даура подбросил в печурку несколько сухих щелок и, задумчиво глядя на огонь, продолжал:

— Я еще мальчишкой был тогда. Было нас пятеро: отец, мать, две сестры и я. Жили мы небогато, но и не так чтобы уж очень плохо. Родители работали, можно сказать, не разгибая спины. Земли у нас было полнадела с лишним, две дойные коровы, овцы, гуси, куры... И вот, как началась еще та война, нагрянул к нам в деревню вражеский отряд. А в отряде этом были, как я теперь понимаю, главным образом барские сынки, этакие чистюли с хлыстиками. Однако ничем они не гнушались, лезли, как свиньи, в каждую хату и все глотали... Переписали они всех коров у нас в деревне, овец и кур. И сейчас же появился приказ: имеешь корову — неси им молока столько-то, имеешь курицу — яички тащи. Петухов лишних не держи, а сдавай.

Чтобы крестьяне не мололи муки, снял враг на всех мельницах верхние жернова и вывез. Тут уж нам пришлось совсем туго. Хоть Лазаря пой... Сидим, бывало, с сестренками холодные, голодные... И была у нас одна утеха — петух.

Даура оживился, встал, прошелся около печки, улыбнулся.

— И такой, скажу тебе, замечательный петух, что за один гребень сто рублей не пожалеешь. Распустит, бывало, хвост, задерет клюв и стоит в палисаднике, как герцогиня какая-нибудь... И так мы, детишки, этого петуха любили, что решили во что бы то ни стало спрятать его от немцев. Заперли мы петуха в хлеву, завесили окно и успокоились. А он вдруг начал петь. В

хлеву темно, а он поет и поет. Да еще как поет. Во все горло! И никак его не успокоишь, не уговоришь. Ну, словом, поет на свою голову. Что тут делать?..

И Даура испуганно округлил глаза, на мгновение сделавшись похожим на того мальчика, каким он был тогда, много-много лет назад.

— «Ой, накличет он на нас беду, горластый», — говорит наша мать. И отец то же самое волнуется. «Не дей бог, говорит, услышит его какой-нибудь барчук в мундире. Попадет нам тогда». А девочки, сестры мои, больше всех забеспокоились. Наконец принесли они петуха в дом, посадили под печь, завесили черной тряпкой. «Ну теперь, говорят, он совсем в безопасности. Здесь его никто не услышит, не найдет...»

А петух угрелся под печкой, помолчал часок да как опять запоет!.. Тут отец наш рассердился. «Ладно, говорит, дайте только ночи дождаться. Покажу я ему, как песни петь в тревожное время. Неужели мы из-за петуха должны своей жизнью рисковать?..»

Даура посмотрел на Найниса, как бы спрашивая, правильно ли рассуждал отец.

Найнис утвердительно кивнул головой.

— В самом деле, куда же было девать петуха,— продолжал Даура. — Выход тут один: вечером взял отец топор, положил петуха на порог, и трах его по шее. Петух только крыльями затрепыхал. Мать вздохнула, смыла кровь с порога и начало ощипывать петуха. Сестренки спали, а я все видел. Всплакнул даже, до того мне жалко было эту птицу. Думаю, ни за что не стану я есть его мяса. Пусть, кто хочет, ест, а я не буду. Ну, погоревали, погоревали отец с матерью, убрались и легли спать.

Даура умолк. В землянке было полутемно, огненные угловатые блики, вырываясь из печурки, причудливыми тенями перебегали по его лицу.

— Ну, а дальше что? — нетерпеливо спросил Йонушас, которому оцарапанная спина не давала заснуть. Он лежал неподалеку на охапке соломы.

— Дальше? — помрачнел Даура. — Лучше бы не было этого дальше... Легли мы, значит, и спим себе. А на рассвете слышим на деревне крик, вопли... Наш отец, как был в одной рубахе, выскочил на двор. «Что здесь такое?» — спрашивает соседа.

А сосед: «Как что? Разве ты ничего не знаешь?» — «Ничегошеньки не знаю». — «Немецкого солдата кто-то убил. По всей деревне ищут, каждую соломинку перетряхивают...» Тут отец наш сразу встревожился. «Не дай, мол, бог — найдут они у меня зарезанного петуха, достанется мне за то, что я не сдал».

И побежал наш папаша в избу. Только он через порог, а за ним, откуда ни возьмись, три солдата. Один, видно, старший, высокий такой, в коленях у него будто пружины вставлены и на ходу подпрыгивает. Выгнали в сени все наше семейство, приказали стоять, не шевелиться. А сами как примутся все переворачивать, только пыль столбом поднялась. Ну, ничего не нашли, поругались, погрозились кулаками и вышли. И этот, что на пружинах, тоже пошел. И мы посмотрели ему вслед. Но только наш отец успел сказать: «Слава богу, пронесло», — как старший этот вдруг оборачивается и спрашивает: «А это что?» И показывает на сапог отца. Смотрим мы, а на сапоге-то брызги петушиной крови. Наш отец побледнел. «Виноват, говорит, попутал меня лукавый, зарезал я петуха, детишки-то голодные сидят; вот он, петух, в горшке, очищенный...» Какое там?! И не слушают...

— Да разве они поверят, звери такие, — сказал Бежа, подвигаясь поближе.

Оказывается, что и он не спал, а слушал. И многие, что лежали совсем тихо, подложив под голову вещевые мешки, тоже не спали, слушая Дауру.

— А старший только свистнул солдатам, заорал чего-то по-своему. Те как взялись и давай отца прикладами колотить.

Отец только голову окровавленную руками закрывает. «Не виноват я!.. — кричит. — Это петухова кровь... Ей-богу, петуха!»

А солдаты только знай колотят прикладами, и старший этот им все ногами помогает. Свалили они отца наземь, насели и, связав, повели из хаты. Тут уж мать старшему в ноги бросилась, руки его целовать ловит, вся слезами заливаается. А тот ей, понимаешь, каблуком в грудь как хряснет. Мать запрокинулась и так вскрикнула, что у меня сегодня вот в ушах звучит.

Увели отца. А на другое утро...

Голос у Дауры перехватило. Он откашлялся и стал совать в открытую дверцу сухие сосновые поленца.

— А на другое утро вывели нашего отца на улицу. Я не сразу даже узнал его: так он был избит. Повели его на площадь. А туда уже согнали всех жителей нашей деревни. Женщины жмутся одна к другой, слезы утирают, крестятся. Вижу я: перекладина положена на двух столбах и верезка к ней привязана. Посередине. Никогда я раньше не видел такого и не понял сначала, что это за сооружение. Только вижу, что отца поставили как раз под веревкой... И слышу, как завопит, как закричит мать. Упала наземь перед офицером, который приходил к нам, и так плачет, что я, может, только раз в жизни и слышал такой плач. Все женщины, сколько их тут было, тоже не выдержали. Поднялся такой вопль, что и камень, наверно, сжалился бы. Но этот барчук не пошевелился даже. А мужчины, наши деревенские, говорят: «Эх, напрасно, бабы, молитесь: не пощадят они соседа. Офицер ведь сам и убил своего собутыльника. Поссорились они из-за барышни, что из города привезли. Офицеру обязательно нужно было найти виноватого. Вот он и нашел...» Накинули нашему отцу

на шею веревку и вздернули кверху. Я обомлел. Вижу: мать, вся в грязи, растрепанная, вдруг поднялась и как ринется на офицера! Вцепилась в мундир, только пуговицы посыпались, щеку ему ногтями распахала и так за чуб ухватила, что тот взвизгнул и дергается во все стороны, руками машет. И вдруг, слышим, — трах, — выстрел. Мать схватилась за грудь, застонав, грянулась навзничь. Все так и ахнули, бросились к ней, а мать тихим голосом просит:

— Детей... детей пустите...

Меня с сестрами тут же к ней через толпу протолкнули. Стал я на колени, наклонился, сам дрожу весь, а в глазах — ни слезинки. Вижу, мать шевелит запачканными в земле губами, говорит что-то. Я ниже склонился.

— Сын, — шепчет, — сыночек... Сестренок не обижай. Сиротки вы мои... любите друг друга...

Приподнялась она на локтях, окровавленная вся, глаза страшные. Вижу, дают ее какие-то слова невысказанные, а выговорить уже не может — только тихо губами шевелит, и ни звука. Поддержалась она так вот и сникла.

Даура глубоко вздохнул и умолк. Молчали и другие, не смея нарушить тишину.

— И столько лет протекло уже, — заговорил Даура снова. — И могилы-то уже не сразу заметишь в траве, да разве забудешь такое!.. И старшего того морда все в глазах кривляется. Вот и сегодня. Уложил я одного, глянул, и стукнуло мне в голову, что это его, старшего того, ухлопал: до того похож...

— Все они похожи, — отозвался Найнис.

— Может быть, — соглашаясь, кивнул Даура. — Может быть... — повторил он, задумавшись.

Но вдруг, подняв голову, взглянул на Найниса.

— Неверно говоришь, — тихо, но строго сказал он.

— Как же?!

— Эти — отвратительнее.

1946

Николай Тихонов. РУКИ

Мороз был такой, что руки чувствовали его даже в теплых рукавицах. А лес вокруг как будто наступал на узкую ухабистую дорогу, по обе стороны которой шли глубокие канавы, заиленные предательским снегом. Деревья задевали сучьями машину, и на крышу кабинки падали снежные хлопья, сучья царапали бока цистерны.

Много он видел дорог на своем шоферском веку, но такой еще не встречал. И как раз на ней приходилось работать, будто ты двужильный. Только приехал в землянку, где тесно, темно, сыро, только приклонил голову в уголке, между усталыми товарищами, — уже кличут снова, снова пора в путь. Спать будем потом. Надо работать. Дорога зовет. Тут не скажешь: дело не медведь, в лес не убежит. Как раз убежит. Чуть прозевал — машина в кювете: проси товарищей вытаскивать — самому не вызволить, и думать об этом забудь. А мороз? Как будто сам Северный полюс пришел на эту лесную дорогу регулировщиком.

То наползает туман, то дохнет с Ладоги ветер, какого он нигде не видел, — пронзительный, ревущий, долгий. То начнется пурга, в двух шагах ничего не видно. Покрышки тоже не железные, сдают. Товарищей, залезших в кюветы, надо выручать, раз едешь замыкающим; и главное — груз надо доставить вовремя. А как он себя чувствует, этот груз?..

Большаков остановил машину, вылез из кабины и, тяжело приминая снег, пошел к цистерне. Он влез на борт и при бледном свете зимнего полдня увидел, как по атласной от мороза стенке стекает непрерывная струйка. Холодок прошел по его спине. Цистерна текла. Цистерна лопнула по шву. Шов отошел. Горючее вытекало.

Он стоял и смотрел на узкую струйку, которую ничем не остановить. Так мучиться в дороге, чтобы к тому же привести к месту пустую цистерну? Он вспоминал все свои бывшие случаи аварий, но такого припомнить не мог. Мороз обжигал лицо. Стоять долго и просто смотреть — этим делу не поможешь.

Он, проваливаясь в снег, пошел к кабинке. Политрук сидел, подняв воротник полушубка, уткнув замерзающий нос в согретую его дыханием овчину.

— Товарищ политрук, — позвал Большаков, — придется побеспокоить.

— А что, разве мы приехали уже? — спросил политрук, мгновенно пробудившись.

— Выходит, приехали, — сказал Большаков. — Цистерна течет. Что будем делать?

Политрук вывалился из кабинки. Он протирает глаза, спотыкался, но когда увидел, что случилось, стал задумчиво хлопать руку об руку, соображая, потом сказал:

— Поедем до первого пункта, там сольем горючее, в ремонт пойдем. Так?

— Да оно как бы и не так, — сказал Большаков.— Как же оно так, если мы горючее не куда-нибудь, а в Ленинград, фронту срочно везем. Как же его просто сольешь? Его не сольешь.

— А что ты можешь? — сказал политрук, смотря, как скатывается бензиновая струйка вдоль разошедшегося шва.

— Разрешите попробовать — чеканить его буду,— ответил Большаков.

Он открыл ящик со своими инструментами, и они показались ему орудиями пыток. Металл был как раскаленный. Но он храбро взял зубило, молоток, кусок мыла, похожего на камень, и влез на борт. Бензин лился ему на руки, и бензин был какой-то странный. Он жег ледяным огнем. Он пропитывал насквозь рукавицы, он

просачивался под рукав гимнастерки. Большаков, сплевывая, в безмолвном отчаянии разбивал шов и замазывал его мылом. Бензин перестал течь.

Вздохнув, он пошел на свое место. Они проехали километров десять. Большаков остановил машину и пошел смотреть цистерну. Шов разошелся снова. Струйка бензина бежала вдоль круглой стенки. Надо было все начинать сначала. И снова гремело зубило, и снова бензин обжигал руки, и снова мыльная полоса наращивалась на разбитые края шва. Бензин перестал течь. Дорога была бесконечной.

Он уже не считал, сколько раз он слезал и взбирался на борт машины, он уже перестал чувствовать боль от ожогов бензина, ему казалось, что все это снится: дремучий лес, бесконечные сугробы, льющийся по руке бензин.

Он в уме подсчитывал, сколько уже вытекло драгоценного горючего, и по подсчетам выходило, что не очень много — литров сорок — пятьдесят; но если бросить чеканить через каждые десять — двадцать километров, вся работа будет впустую. И он снова начинал все сначала с упорством человека, потерявшего представление о времени и пространстве.

Ему уже начало от усталости казаться, что он не едет, а стоит на месте и каждые сорок минут хватается зубилом, а щель все ширится и смеется над ним и его усилиями.

Неожиданно за поворотом открылись пустые странные пространства, огромные, неохватные, белесые. Дорога пошла по льду. Широчайшее озеро позвериному дышало на него, но ему было не страшно. Он вел машину уверенно, радуясь тому, что лес кончился. Иногда он стучался головой о баранку, но сейчас же брал себя в руки. Сон налегал на плечи, как будто за спиной стоял великан и давил ему голову и плечи большими руками в мягких, толстых рукавицах.

Машина, подпрыгивая, шла и шла. А где-то внутри него, замерзшего, жила одна непонятная радость: он твердо знал, что он выдержит. И он выдержал. Груз был доставлен.

...В землянке врач с удивлением посмотрел на его руки с облезшей кожей, изуродованные, сожженные руки, и сказал недоумевающе:

— Что это такое?

— Шов чеканил, товарищ доктор, — сказал он, сжимая зубы от боли.

— А разве нельзя было остановиться в дороге? — сказал доктор. — Не маленький, сами понимаете, в такой мороз так залиться бензином...

— Остановиться было нельзя, — сказал он.

— Почему? Куда такая спешка? Куда вы везли бензин?

— В Ленинград вез, фронту, — ответил он громко, на всю землянку.

Доктор взглянул на него пристальным взглядом.

— Та-ак, — протянул он, — в Ленинград! Понимаю! Больше вопросов нет. Давайте бинтоваться. Полечиться надо.

— Отчего не полечиться! До утра полечусь, а утром — в дорогу... В бинтах еще теплее вести машину, а боль уж мы как-нибудь в зубах зажмем...

1943

Фатех Ниязи. ХУРРАМ-ПОЧТАЛЬОН

I

В конце лета 1942 года, в разгар Сталинградской битвы, судьбе было угодно сделать меня свидетелем случая, происшедшего в одном из стрелковых полков.

Сжавшись в комок, я спал в землянке командира полка, как вдруг, где-то за полночь, подполковник Калашников растолкал меня.

— Капитан, вставай, тут земляк твой пришел с той стороны, — простуженно прохрипел он.

Я с трудом приоткрыл глаза, сердито буркнул:

— Знал бы о твоём «гостеприимстве» раньше, клянусь богом, ноги моей не было бы у тебя.

— Вот тебе и на! Я его обрадовать хочу, а он на меня сердится.

Протерев глаза, зевая и потягиваясь, я встал. Командир полка провел ладонью по щеке и подбородку, словно бы проверял, не нужно ли ему побриться, и усмехнулся.

— Ты собирай, собирай то, что не доспал, потом, после войны разом отоспишься.

Зная что он сам не спал уже несколько дней и ночей и тем не менее выглядел, как всегда, бодро, я сказал:

— По-моему, ты и тогда сам не будешь спать и другим не дашь.

— А фильм «Чапаев» помнишь?

— Помню.

— Ну и говорить, следовательно, не о чем.

Полк Калашникова дрался в Сталинграде с первых же дней обороны. Героизм и мужество бойцов и офицеров полка были известны всему фронту. Гитлеровцы не раз и не два испытывали его стойкость на своей шкуре. Видимо, никак не укладывалось у них в голове, что им противостоит всего лишь один полк, и поэтому они методично, каждую ночь посылали разведгруппы и отдельных лазутчиков.

Услышав из уст Калашникова о земляке, я подумал, что речь идет об очередном пленном лазутчике.

Кто знает, быть может, гитлеровцы пустились на провокацию, обработали кого-нибудь из «земляков», когда-то попавших к ним в руки, да послали разведать. В такой войне ничего гарантировать нельзя.

— Где же мой «земляк»? — спросил я.

— Во втором батальоне, — ответил Калашников.

— Откуда же они узнали, что «земляк»?

— Сам сказал. Но говорят, ни на таджика, ни на узбека вроде бы не похож.

— А на кого похож?

— Говорят, на них вроде бы, на немцев. И по-русски плохо говорит.

— Ну, а если так, то при чем тут я?

— Боюсь, как бы не оказалось очередной уловкой противника, — задумчиво сказал Калашников. — Идти в любом случае надо. Пойдем да поглядим, как немцы сотворили таджика, — улыбнулся он.

Едва мы вошли в землянку комбата-два, как при тусклом свете самодельной коптилки я увидел пленного. Он сидел в углу, понутив голову; услышав наши голоса, встрепенулся.

Уши и подбородок в бинтах. Белое круглое лицо тронато желтизной. На щеках — рыжеватая густая щетина. Веки и губы вспухли. Серые глаза печально глядели из-под густых рыжих бровей. Он действительно

был больше похож на немца, чем на таджика или узбека.

— Из каких ты мест Германии? — спросил я его, мешая немецкие и русские слова.

Он усмехнулся, в глазах его словно бы запрыгали веселые чертики. Что-то пробормотал — никто не разобрал. Боль от раны, видимо, не давала возможности говорить внятно.

Я поймал его усмешку и эти чертики в глазах и, признаться, даже растерялся. Что-то мне почудилось в нем необычное для пленника. Пленные на моей памяти так еще себя не вели. Мне на мгновение показалось, будто он похож на кого-то из знакомых, очень похож... где-то я его видел... близко видел, — но тут с новой силой вспыхивали сомнения.

В это время командир полка расспрашивал комбата и двух солдат об обстоятельствах поимки пленного. А тот как ни в чем не бывало достал из стоящей рядом жесткой сумки почтальона карандаш и бумагу и принялся что-то писать.

— Вот, товарищ подполковник, поглядите, — сказал один из солдат, участвовавших в захвате, и, взяв сумку у пленного, ткнул в вытисненный на ней фашистский знак. — Это немецкая сумка или нет?

— Немецкая, — подтвердил Калашников.

— Сумка немецкая, а полна писем из нашего тыла.

— Думается, что попали к нему в руки в каком-нибудь нашем подразделении и теперь тащил к своим, чтобы узнали, значит, о состоянии боевого духа наших людей в тылу, — добавил второй боец.

— А где его ранило? — спросил командир полка.

— Еле-еле ответил, что на мину заполз, — сказал первый солдат, держа сумку в руках.

— Спрашивали, из какой части?

— Спрашивали, — ответил командир батальона, протягивая Калашникову лежавшие на столе бумаги.

Пленный уже кончил писать. Сложив листок вдвое и что-то еще чиркнув, он передал его мне. Я как глянул на написанное на родном языке, так и обомлел. На бумаге стояли мое воинское звание и — самое главное — имя и фамилия. Вы представляете, — имя и фамилия?!

Меня бросило в холодный пот. Когда разворачивал листок, противно дрожали руки. Какую еще неожиданность он уготовил мне? Читаю — и глазам своим не верю: сюрприз так сюрприз. Прямо передо мной сидел мой друг детства, парень из нашего махалля^[1], мой одноклассник Хуррам! Отца его звали Истамом, или просто — Машкоб^[2], так как до тех пор, пока не построили водопровод, он работал водоносом и, как любил говорить сам, «таким образом делал доброе дело жаждущим». Когда провели водопровод, Истам-амак^[3] продолжал машкобствовать, только сменил свой бурдюк на ведра. Одновременно он являлся и сторожем махалля, длинными ночами оберегал покой и имущество людей, отгонял злоумышленников дробным стуком неизменной колотушки.

Хуррам был отцу помощником во всех делах. Единственный сын, он, как говорят в народе, удался весь в отца-молодца. Трудолюбивого и отзывчивого, веселого, энергичного Хуррама знала вся махалля.

До седьмого класса мы сидели на одной парте. Потом подкосила его однажды тяжелая болезнь, он отстал от меня на два года. Когда, окончив десятилетку, я уезжал продолжать учебу в другом городе, Хуррам пришел провожать. Завидуя и не скрывая зависти, он, печально вздохнув, сказал:

— Эх, дружище, если бы не эта моя проклятая болезнь...

Да, если бы не она, мы были бы вместе: мы поклялись учиться и всегда быть вместе, мечтали

овладеть одной профессией.

С тех пор прошло почти десять лет. Я после института остался работать в том же городе, а Хуррам, слышал, вроде бы отстал в учебе еще на два-три года и устроился работать на почте; учебу продолжал якобы в вечерней школе.

И вот теперь этот самый Хуррам сидел здесь, и было не известно, кто он — друг или враг?

В записке он напомнил о себе, затем приписал, что из-за раны в подбородок очень трудно ему разговаривать, иначе бы немедля рассказал, как попал «в плен» к своим и тем самым избавил себя от мучений. Читая эту записку, я невольно вспоминал картины нашего далекого детства, и мое сердце то сжималось от боли, то клокотало от гнева.

«Кто он — друг или враг?» — думал я.

Мне захотелось поднять его и расспросить поподробнее, но тут увидел, как подполковник Калашников принялся рвать на мелкие куски бумаги, переданные ему командиром батальона, и недовольно выговаривал:

— Мне кажется, вы, не разобравшись, в чем дело, раздули из мухи слона...

Эти слова командира полка придали мне решимости, и я обратился к Хурраму:

— Что с тобою случилось? В чем дело, Хуррам?

В глазах у Хуррама заблестели слезы. Отвернувшись, он утер их шершавой ладонью.

А комбат оправдывался перед Калашниковым:

— Той части, которую он написал, и близко нет, товарищ подполковник. Мы проверяли...

Не знаю, слышал ли подполковник комбата, — он уже не отрывал взгляда от меня с Хуррамом.

— Что, капитан, прав я? — спросил он меня.

— Да, частично правы, — ответил я, глядя на Хуррама.

— И вправду твой земляк?

— Не только земляк, а еще и сосед и даже одноклассник.

Все уставились на нас, удивленные. В землянке воцарилась тишина. Слышно было, как потрескивал, сгорая, фитиль, заправленный в гильзу от снаряда.

— А вы спросили, что он делал там, у противника?
— сказал командир батальона.

Я пожал плечами.

Хуррам гневно сверкнул глазами и, повернувшись к комбату, оттягивая пальцами с подбородка мешавшие ему говорить бинты, с трудом сказал на ломаном русском языке:

— Я раз вам сказал, хотите — еще один раз скажу: я нес письма отца, матери, брата, жены нашим солдатам.

— А что, интересно, делают наши солдаты на немецкой стороне? — спросил я, разозлившись.

— Воюют с немцами, — спокойно ответил Хуррам.

Видно, ему стало больно — лицо вдруг скривилось, он глухо застонал, схватившись рукой за подбородок. Всем присутствующим, особенно подполковнику Калашникову, не терпелось узнать, что за подразделение, как и почему оказалось в тылу у противника. Но, увы, рана Хуррама не давала возможности говорить с ним подробно.

Близился рассвет. Калашникова вызвали к командиру дивизии. Уходя, подполковник приказал комбату отвести Хуррама в санчасть и добавил:

— А я выясню, из какой он части и номер полевой почты.

Калашников успел просмотреть письма, находившиеся в почтальонской сумке, и выписать адреса в записную книжку.

Мы вышли следом за ним. Я и двое солдат проводили Хуррама в санчасть. Сумку он нес сам, не

желая с ней расставаться.

— В этой сумке, — сказал он, — надежды и мечты, добрые пожелания и вести от родителей, братьев и жен, невест и друзей наших воинов. Я обязан доставить их по адресу.

«Что ж, — подумалось мне, — такое естественно услышать из уст советского солдата. Но если Хуррам стал врагом, то, надо признать, притворяется он умело».

Со смешанным чувством восхищения и недоверия наблюдал я за тем, как он потребовал в санчасти расписку о том, что вручил им сумку лично, и как, получив ее и внимательно перечитав, проследил за дежурной, убиравшей сумку в шкаф, под замок.

Через некоторое время дежурная по санчасти — русоволосая кудрявая девушка — сказала, что звонят из штаба дивизии, просят меня. Я взял трубку. Говорил подполковник Калашников.

— Давай, капитан, бегом в штаб, здесь услышишь, что за птица твой земляк. Отличная птица!..

II

Штаб дивизии располагался в нескольких блиндажах у подножья вытянутого в длину холма, под его прикрытием. Калашникова я нашел в блиндаже майора Заки Мавлянова — начальника связи части. Мавлянов — из Казахстана, я видел его два или три раза раньше, когда приезжал сюда по командировке штаба армии.

— Входи, приятель, входи, — сказал Заки, поднимаясь мне навстречу и горячо пожимая руку.

— Так что же за птица мой земляк? — спросил я, когда мы расселись вокруг грубо сколоченного стола.

— Хороший парень, — улыбнулся Мавлянов.— Я ведь его знаю, капитан, уже без малого год. Он служил у меня, во взводе связи. Все время был на передовой. Трижды ранен, вновь возвращался... Нет, четырежды. В четвертый раз тяжело, думали — не выживет. А он вернулся, тогда перевели где полегче, в полевую почту. Но он и до того однажды угодил немцам в тыл, и когда полз обратно, попал к нашим в «плен».

— Следовательно, мои разведчики недаром приняли его за немца? — сказал подполковник Калашников тоном, в котором сквозило явное желание выгородить своих бойцов, отнесшихся к Хурраму — чего уж греха таить — далеко не лучшим образом.

— Он и вправду похож на европейца, — засмеялся Мавлянов. — Хотите, расскажу, как попал в «плен»?

— Ну, ну...

— Получили однажды приказ подключиться к телефонной связи противника, взять ее под контроль. Отобрали и отправили к фрицам в тыл с необходимой аппаратурой троих. Один из них — этот твой земляк, капитан. Чтобы обмануть немцев, нарядили своих связистов в их форму — и стоило появиться Хурраму в этой форме, как все чуть не надорвали животы от хохота. Он до того был похож на немца, что нежданно подоспевший начальник штаба дивизии устроил нам разнос и приказал немедленно, без всяких проволочек и задержек, под мою личную ответственность отправить «языка» в штаб. А, каково? — усмехнулся Мавлянов.

Представив Хуррама в немецкой форме, я едва удержался от смеха. Майор, глянув на меня, тотчас же поднялся с места и среди хранившихся под подушкой папок и бумаг отыскал пакет с многочисленными фотографиями, отобрал из них одну, протянул нам с Калашниковым. На фотографии были изображены трое в полевой форме немецких солдат, в середине стоял

Хуррам. Тот, кто не знал его, никогда бы не признал за таджика.

— В таком вот облачении бродили по тылам противника четверо суток и отлично справлялись с заданием,— продолжал Мавлянов рассказ. — Благодаря им мы почти целый месяц перехватывали переговоры немцев, были, так сказать, в курсе всех их планов, замыслов.

— Ну и наградили наших за этот подвиг?

Майор понимающе усмехнулся.

— Дело в том, что мы его чуть не потеряли, — сказал он.

— Как так?

— А так... Двое бойцов, уходивших с ним, на четвертый день налетели на мины и погибли. Хуррам был ранен в ноги. Вечером пятого дня полил дождь. Хуррам сбился с пути и, как сегодня, попался в руки нашим разведчикам из соседней части. Приняли его за фрица, связали и притащили к себе в окоп. А он — ругаться. И до того крепко ругался, что лопнуло у бойцов терпение, один из них чуть не застрелил его. К счастью, подоспел кто-то из офицеров, велел отвести к нам в штаб. Так он и попал в «плен»... Но храбр, храбр парень! — восхищенно произнес Мавлянов. — Четыре раза ходил в тыл к немцам, задания выполнял образцово. Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

— Ну, а теперь, как же теперь, служа в полевой почте, он оказался в тылу у врага? — спросил я.

— Вот майор и выяснял целое утро эту задачу, — сказал подполковник Калашников.

— Нес письма в одну нашу штурмовую группу, которая несколько дней назад отбила у немцев важные позиции, — пояснил Мавлянов и в ответ на мой вопрос: «В какой же части служит Хуррам?» — добавил: — Эта

часть еще в прошлом месяце была передана соседней армии.

Радуюсь за Хуррама, я теперь жажду увидеться с ним и услышать продолжение рассказа из его уст.

— Почему он не доставил письма адресатам?

— Как он трое суток находился в тылу у противника?

— Неужто ж он не смог внятно и толково объяснить, кто он и откуда?

На все эти вопросы, обуревавшие меня, ни Калашников, ни Мавлянов ответить, естественно, не могли.

Ответить мог лишь один человек — сам Хуррам.

///

Надо сказать — интерес мой был вызван не только том, что Хуррам оказался другом детства, но и служебным долгом. Являясь представителем штаба армии, я был обязан изучать все, что касалось наших воинов, и, анализируя те или иные факты и явления, обобщать их, представлять по инстанции командованию.

Мне пришлось на несколько дней задержаться в дивизии, подождать, пока Хуррама подлечат. Эти дни я провел в полках и батальонах, в окопах среди бойцов.

Дня через четыре наконец собрался в санчасть. Какого же было мое изумление, когда узнал, что Хуррама и след простыл. Врачи и санитары в один голос утверждали: он ссылался на майора Мавлянова, выписался с его помощью, так и не долечившись.

— Куда он отправился? — спросил я.

— Кто знает...

Я собрался уже уходить, но в дверях столкнулся с русоволосой кудрявой девушкой-медсестрой, той самой,

которая принимала Хуррама в санчасть.

— Письмо получили? — спросила она

— Какое письмо?

— От товарища того, вашего...

— Нет, не получал.

Девушка отыскала письмо. Я торопливо открыл «треугольник». Хуррам писал:

«Извините, товарищ капитан, не смог Вас дождаться. Учитывая, что адресаты живут ожиданием вестей из дому, я был вынужден любыми путями вырваться из «плена» и поспешить доставить письма. Если выдастся случай, известите своего покорного слугу. Полевая почта 1237/2«И». С приветом, Ваш земляк Хуррам-той».

Письмо меня обрадовало. Оно вновь навеяло воспоминания детства. Как далеко было то время! Ах, как безоблачно, радостно и весело протекало оно! Какие мы только не придумывали игры! Мы играли и в войну. Строгали себе из досок, веток и прутьев боевых коней, винтовки, маузеры и клинки и с утра до вечера гонялись за «басмачами». Хуррам числился у нас пулеметчиком. Он тайком выносил из дому отцову колотушку и дробно стучал ею, издавая длинные и короткие «очереды»; услышав тарахтенье «пулемета», «басмачи», конечно же, разбегались.

Да, счастливое было время... Я вдруг вспомнил, что мы тогда действительно прозвали Хуррама — Хуррамом-той, так как был он резв и горяч, силен и вынослив... Ну, ни дать ни взять, истинный той — жеребенок.

Где же он теперь, куда запропастился?

Надо, очевидно, сходить к майору Мавлянову, он, наверное, знает, где искать Хуррама.

Мавлянова, однако, не нашел — он ушел на передовую, не застал и подполковника Калашникова.

В конце концов решил вернуться в штаб армии и там, на месте, по адресу, оставленному Хуррамом, уточнить расположение его части. Тут уж я его найду хоть на краю света.

Выбраться к нему мне удалось примерно через неделю. Полевая почта пряталась среди развалин населенного пункта, покинутого жителями. Я спустился в выложенный кирпичом подвал и увидел высокого мужчину, который, согнувшись над кривым громадным столом, разбирал груды писем.

— Я из штаба армии, — сказал я, протягивая ему удостоверение личности, — Истамова Хуррама ищу.

Он внимательно изучил документ, потом сказал:

— Истамов пошел с почтой.

— И надолго?

— А бог его знает.

— Но к вечеру должен вернуться?

— Хорошо, если вернется завтра.

— Так долго?

— Так долго. У него привычка такая: пока не вручит письма лично адресатам, не возвращается.

Упоминание о письмах стало той ниточкой, которая помогла завязать разговор с мужчиной. Желая узнать о том, как повел себя Хуррам после возвращения из санчасти и доставил ли он письма, бывшие у него в немецкой сумке, я спросил:

— А он разве не рассказывал, как из-за этой своей привычки чуть не пропал?

— Знаю. Пропадал дней шесть-семь, потом, однако, вернулся и доставил письма по назначению.

— И давно доставил?

— Два дня назад. Этот парень телом железа крепче, а душой — камня.

— Мы с ним с одной улицы, — сказал я.

Мужчина улыбнулся и только теперь, глянув на меня, предложил сесть.

Я сел.

— Удивительный он парень, ваш друг, — продолжал мужчина. — День глядите — веселее человека нет, а на другой — нос повесил, ходит хмурый. «Что с тобою, батюшка?» — спрашиваю. А у него, верите, в глазах слезы. «Эх, товарищ старшина, говорит, и незавидна же доля почтальона. Сегодня опять выбыло несколько адресатов. Навечно выбыло. Тяжелый сегодня день...»

Старшина произнес это и вздохнул.

Мы помолчали.

— Хуррам и в детстве был добросердечным, — нарушил я затянувшуюся паузу.

— Да, человечен он... Мы с ним сейчас — как братья. Один я на белом свете остался. От грудного ребенка до жены с матерью — всех фашисты порешили...

— Вы откуда родом?

— Из Гомеля. Сперва в партизанах был. Потом ранило тяжело, отправили на Большую землю, а после госпиталя — сюда, сортировщиком....

Старшина заварил чай, достал хлеб, банку тушенки. Он предложил мне остаться ночевать здесь, дождаться Хуррама. Я согласился.

Но и утром Хуррам не вернулся.

— Ну, а если он опять запропастился дней на пять-шесть? — нетерпеливо спрашивал я старшину.

Старшина усмеялся.

— Ничего, товарищ капитан, нас ведь такое начальство, как вы, навещает раз в год, да и то по обещанию.

— Жаль, что вы не в нашей армии, иначе надоедал бы каждый день, — ответил я.

— А что? Наша служба хоть и неприметная, но все ждуют нас, точно богов, — от солдата до генерала.

Старшина был прав. Я сам один из тех, кто ждет их — не дождется с утра и до вечера. И когда появляется у нас в блиндаже военный почтальон — с автоматом, перекинутым через одно плечо, и тяжелой сумкой — на другом, когда он глядит на меня и говорит: «Вам письмо, товарищ капитан!» — я не знаю, куда деться от радости и счастья, готов обнять его и горячо расцеловать, вручить любую награду... Это старшина хорошо сказал: ждут, точно богов....

— Да, ждем!

И пока я думал об этом, у входа вдруг появился Хуррам. Увидев меня, он, видимо, не поверил глазам своим, на какое-то мгновение застыл, затем рывком сбросил с плеча сумку, отложил в сторону автомат и метнулся ко мне. Мы обнялись.

— А ты все в бинтах? — сказал я.

— Э, ерунда, — махнул рукой Хуррам и по своей оставшейся с детства привычке пошутил: — Пока новая болячка не прицепится, старая не отстанет.

Я задержался еще на одну ночь. Старшина и Хуррам выложили на стол все, что имели. Но дорожке всего мне было слышать голос Хуррама, видеть его. Я, как в детстве, звал его Хуррамом-тоем. Он был все так же, словно жеребенок, порывист и горяч.

— Ну-ка, жеребеночек, расскажи, как ты попал в «плен»?

— Э, это длинная история.

— А ты покороче, — подал голос старшина со своих нар.

— А короче, — сказал Хуррам, — то надо было, значит, разнести письма в часть. Пошел, но части на месте нет — перешла на новые рубежи. Я за нею. Прошел километра полтора-два, темнеть стало. Ничего, думаю, больше прошел, меньше осталось. Вдруг слышу голоса. Вроде бы по-немецки говорят. Не поверил,

подхожу ближе, — и правда, немцы сидят в окопе трое или четверо и ужинают.

— И ты не сказал фрицам, вот, мол, я, Хуррам-той, собственной персоной пожаловал к вам в гости? — вставил я.

— Нет, у меня в горле пересохло, быстрее, думаю, надо подаваться назад. Сумка да автомат — словно две горы навалились на плечи, жмут к земле, а на ногах вроде бы не ботинки, а мельничные жернова... Нашел наконец какую-то заброшенную землянку, забился в нее, перевел дух и стал думать, как быть дальше.

— И что же ты надумал?

— Идти, думаю, надо. Выполз из землянки, пошел на юго-восток, наткнулся на немцев. Свернул на восток — опять немцы. На северо-восток — тоже они. Совсем выбился из сил. Наконец забрел в какую-то чабанскую пещерку, сумку под голову — и заснул. Да так сладко, словно спал на перине...

— Скажешь, что и сон хороший приснился?

— А как же иначе?! Приснилось мне, будто женился на красивой девушке... Нет, правда, она была так красива, что до сих пор стоит перед глазами.

— Но, может быть, и ждёт тебя где-нибудь такая же девушка, а, Хуррам? — спросил я.

— Пусть ждет, товарищ капитан, — откликнулся из своего угла старшина. — Он достоин, чтобы на каждом его волоске повисло хотя бы по сорок девушек.

Хуррам улыбнулся.

— Сорок не сорок, а одна есть. Здесь она, недалеко, медицинская сестра. Я ношу ей письма от матери.

— А сам ей не пишешь?

— О чем же писать, дружище? Слов много, да, проклятые, не лезут на бумагу. Не умещаются.

— Пиши каждый раз понемногу.

— Нет, дружище, сейчас молчу, краем глаза только поглядываю. Вот увидим конец войны, тогда и выскажу все, что на сердце.

— Э, Хуррам-той, да живи ты вечно, а что, если вдруг до конца войны ее уведет какой-нибудь парень, посмелее тебя?

Хуррам весело подмигнул.

— Будь покоен, дружище, ключ от ее сердца у меня в руках. Вот старшина знает. Не появлюсь день-другой, так бегаёт, по десять раз справляется.

Старшина рассмеялся.

— Ты, братишка, начал рассказ про «плен», а кончил про любовь, — сказал он.

Хуррам смутился.

— Да, и вправду, извини, дружище, забылся... В общем, до следующей ночи не вылез из пещеры. И как только немцы не наткнулись на меня, сам не знаю. Но и во вторую ночь выбраться из окружения не удалось. В темноте наскочил на мину, вот след, — показал Хуррам на перевязанный подбородок... Сам забинтовал раны и быстрее отполз от того места. Болело страшно... Только на третьи сутки, — а, черт, думаю, будь что будет, — и двинулся в путь. Долго шел. Попал под такой обстрел, что казалось, здесь мне и конец. Лежал, не двигаясь. Не знаю, сколько прошло времени, только вдруг слышу шепот. Я быстренько сполз в воронку, затаился. Гляжу, через минуту или две прошли рядом два фашиста. Автоматы у них на изготовку, шепчутся о чем-то. Потом вдруг с востока раздалась пальба, немцы бросились вперед, застрочили из своих автоматов. Ну, думаю, это с нашими разведчиками перестреливаются. Что тут делать? Я высунулся из воронки, взял немцев на мушку и, как только они снова открыли огонь, дал очередь в спину. Срезал, как траву. А через некоторое время услышал русскую речь. Появились наши, двое их было — в

маскхалатах и касках. Ну, я вылез из воронки, «здорово, товарищи!» — говорю...

— Тут и попался?

— Ага. Автомат отобрали, погнали вперед. На радостях, что попал в руки к своим, спорить не стал, иду, не обращаю внимания на их насмешки. Притащили в землянку к своему взводному, а тот давай названивать во все четыре стороны и сообщать, что взяли немецкого разведчика в советской форме... Ну, а остальное сам знаешь...

...В ту ночь мы так и не уснули. На рассвете машина привезла почту. Сумка Хуррама вновь наполнилась письмами.

— Да, а где ты добыл эту немецкую сумку? — спросил я.

— Старшина подарил. Когда был в партизанах, добыл. Моя порвалась — вот он и дал эту. Хорошая сумка, прочная.

— Носи, носи, — сказал старшина. — Только смотри, больше в плен к своим не попадайся.

— А мне этот плен выгодой обернулся, — весело ответил Хуррам.

— Какой еще выгодой? — спросил старшина.

— Вот, нашел своего друга...

Мы обнялись и расцеловались. Хуррам поправил на плече автомат, на другое повесил тяжелую сумку и зашагал к передовой...

1964

Вадим Кожевников. МАРТ — АПРЕЛЬ

Издранный комбинезон, прогоревший во время ночевки у костра, свободно болтался на капитане Петре Федоровиче Жаворонкове. Рыжая патлатая борода и черные от въевшейся грязи морщины делали лицо капитана старческим.

В марте он со специальным заданием прыгнул с парашютом в тылу врага, и теперь, когда снег стоял и всюду копошились ручьи, пробираться обратно по лесу в набухших водой валенках было очень тяжело.

Первое время он шел только ночью, днем отлеживался в ямах. Но теперь, боясь обессилеть от голода, он шел и днем.

Капитан выполнил задание. Оставалось только разыскать радиста-метеоролога, сброшенного сюда два месяца назад.

Последние четыре дня он почти ничего не ел. Шагая в мокром снегу, голодными глазами косился он на белые стволы берез, кору которых — он знал — можно истолочь, сварить в банке и потом есть, как горькую кашу, пахнущую деревом и деревянную на вкус.

Размышляя в трудные минуты, капитан обращался к себе, словно к спутнику, достойному и мужественному.

«Принимая во внимание чрезвычайное обстоятельство, — думал капитан, — вы можете выбраться на шоссе. Кстати, тогда удастся переменить обувь. Но, вообще говоря, налеты на одиночные немецкие транспорты указывают на ваше тяжелое положение. И как говорится, вопль брюха заглушает в вас голос рассудка».

Привыкнув к длительному одиночеству, капитан мог рассуждать сам с собой до тех пор, пока не уставал или, как он признавался себе, не начинал говорить глупостей.

Капитану казалось, что тот, второй, с кем он беседовал, очень неплохой парень, все понимает, добрый, душевный. Лишь изредка капитан грубо прерывал его. Этот окрик возникал при малейшем шорохе или при виде лыжни, оттаявшей и черствой.

Но мнение капитана о своем двойнике, душевном и все понимающем парне, несколько расходилось с мнением товарищей. Капитан в отряде считался человеком малосимпатичным. Неразговорчивый, сдержанный, он не располагал и других к дружеской откровенности. Для новичков, впервые отправляющихся в рейд, он не находил ласковых, ободряющих слов.

Возвращаясь после задания, капитан старался избегать восторженных встреч. Уклоняясь от объятий, он бормотал: «Побриться бы надо, а то щеки как у ежа», — и поспешно проходил к себе.

О работе в тылу у немцев он не любил рассказывать и ограничивался рапортом начальнику. Отдыхал после задания, валялся на койке; к обеду выходил заспанный, угрюмый.

— Неинтересный человек, — говорили о нем, — скучный.

Одно время распространился слух, оправдывающий его поведение. Будто в первые дни войны его семья была уничтожена немцами.

Узнав об этих разговорах, капитан вышел к обеду с письмом в руках. Хлебая суп и держа перед глазами письмо, он сообщил:

— Жена пишет.

Все переглянулись, многие думали: капитан потому такой нелюдимый, что его постигло несчастье. А несчастья никакого не было.

А потом, капитан не любил скрипки. Звук смычка действовал на него раздражающе.

...Голый и мокрый лес. Топкая почва, ямы, заполненные грязной водой, дряблый, болотистый снег. Тоскливо брести по этим одичавшим местам одинокому, усталому, измученному человеку.

Но капитан умышленно выбирал эти дикие места! где встреча с немцами менее вероятна. И чем более заброшенной и забытой выглядела земля, тем поступь капитана была увереннее.

Вот только голод начинал мучить. Капитан временами плохо видел. Он останавливался, тер глаза и, когда это не помогало, бил себя кулаком в шерстяной рукавице по скулам, чтобы восстановить кровообращение.

Спускаясь в балку, капитан наклонился к крохотному водопаду, стекавшему с ледяной бахромы откоса, и стал пить воду, ощущая тошнотный, пресный вкус талого снега. Но он продолжал пить, хотя ему и не хотелось, — пить только для того, чтобы заполнить пустоту в тоскующем желудке.

Вечерело. Тощие тени ложились на мокрый снег. Стало холодно. Лужи застывали, и лед громко хрустел под ногами. Мокрые ветки обмерзли: когда он отводил их рукой, они звенели. И как ни пытался капитан идти бесшумно, каждый шаг сопровождался хрустом и звоном.

Взошла луна. Лес засверкал.

Где-то в этом квадрате должен был находиться радист. Но разве найдешь его сразу, если этот квадрат равен четырем километрам. Вероятно, радист выкопал себе логовище не менее тайное, чем нора у зверя.

Не будет же он ходить и кричать в лесу: «Эй, товарищ! Где ты там?!»

Капитан шел в чаще, озаренной ярким светом; валенки его от ночного холода стали тяжелыми и

твердыми, как каменные тумбы.

Он злился на радиста, которого так трудно разыскать, но еще больше разозлился бы, если бы радиста удалось обнаружить сразу.

Запнувшись о валежник, погребенный под заскорузлым снегом, капитан упал. И когда с трудом подымался, упираясь руками в снег, за спиной его раздался металлический щелчок пистолета.

— Хальт! — сказали ему тихо. — Хальт!

Но капитан странно вел себя. Не оборачиваясь, он растирал ушибленное колено. Когда, все так же шепотом, ему приказали на немецком языке поднять вверх руки, капитан обернулся и сказал насмешливо:

— Если человек лежит, при чем тут «хальт»? Нужно было сразу кидаться на меня и бить из пистолета, завернув его в шапку, — тогда выстрел будет глухой, тихий. А кроме того, немец кричит «хальт» громко, чтобы услышал сосед и в случае чего пришел на помощь. Учат вас, учат, а толку... — И капитан поднялся...

Пароль произнес он одними губами. Когда получил ответ, кивнул головой и, взяв на предохранитель, сунул в карман синий «зауер».

— А пистолетик все-таки в руке держали!

Капитан сердито посмотрел на радиста.

— Ты что же думал, только на твою мудрость буду рассчитывать? — И нетерпеливо потребовал: — Давай показывай, где тут твоё помещение!

— Вы за мной, — сказал радист, стоя на коленях в неестественной позе, — а я поползу.

— Зачем ползти? В лесу спокойно.

— Нога у меня обморожена, — тихо объяснил радист, — болит очень.

Капитан недовольно поморщился и пошел вслед за ползущим на четвереньках человеком. Потом он насмешливо спросил:

— Ты что ж, босиком бегал?

— Болтанка сильная была, когда прыгали. У меня валенок и слетел... еще в воздухе.

— Хорош! Как это ты еще штаны не потерял. — И добавил: — Выбирайся теперь с тобой отсюда!

Радист сел, опираясь руками о снег, и с обидой в голосе сказал:

— Я, товарищ капитан, и не собираюсь отсюда уходить. Оставьте провиант и можете отправляться дальше. Когда нога заживет, я и сама доберусь.

— Как же, будут тебе тут санатории устраивать! Засекли фашисты рацию, понятно? — И вдруг, наклонившись, капитан тревожно спросил: — Постой, фамилия как твоя? Лицо что-то знакомое.

— Михайлова.

— Лихо! — пробормотал капитан не то смущенно, не то обиженно. — Ну ладно, ничего, как-нибудь разберемся.— Потом вежливо осведомился: — Может, вам помочь?

Девушка ничего не ответила. Она ползла, проваливаясь по самые плечи в снег.

Раздражение сменилось у капитана другим чувством, менее определенным, но более беспокойным. Он помнил эту Михайлову у себя на базе, среди курсантов. Она с самого начала вызывала у него чувство неприязни, даже больше — негодования. Он никак не мог понять, зачем она на базе, — высокая, красивая, даже очень красивая, с гордо поднятой головой и ярким, большим и точно очерченным ртом, от которого трудно отвести глаза, когда она говорит.

У нее была неприятная манера смотреть прямо в глаза. Неприятная не потому, что видеть такие глаза противно, — напротив, большие, внимательные и спокойные, с золотистыми искорками вокруг больших зрачков, они были очень хороши. Но плохо то, что

пристального взгляда их капитан не выдерживал. И девушка это замечала.

А потом эта манера носить волосы, пышные, блестящие и тоже золотистые, выпустив их за воротник шинели!

Сколько раз говорил капитан:

— Подберите ваши волосы. Военная форма — это не маскарадный костюм.

Правда, занималась Михайлова старательно. Оставаясь после занятий, она часто обращалась к капитану с вопросами, довольно толковыми. Но капитан, убежденный в том, что знания ей не пригодятся, отвечал кратко, резко, все время поглядывая на часы.

Начальник курсов сделал замечание капитану за то, что он так мало уделяет внимания Михайловой.

— Ведь она же хорошая девушка.

— Хороша для семейной жизни. — И неожиданно горячо и страстно капитан заявил: — Поймите, товарищ полковник, нашему брату никаких лишних крючков иметь нельзя. Обстановка может приказать собственноручно ликвидироваться. А она? Разве она сможет? Ведь пожалеет себя! Разве можно себя, такую... — Капитан сбился.

Чтобы отделаться от Михайловой, он перевел ее в группу радисток.

Курсы десантников располагались в одном из подмосковных домов отдыха. Крылатые остекленные веранды, красные дорожки внутри, яркая, лакированная мебель — вся эта обстановка, не потерявшая еще всей прелести мирной жизни, располагала по вечерам к развлечениям. Кто-нибудь садился за рояль, и начинались танцы. И если бы не военная форма, то можно было подумать, что это обычный канун выходного дня в солидном подмосковном доме отдыха.

Стучали зенитки, и белое пламя прожекторов копалось в небе своими негнувшимися щупальцами, — но об этом можно было не думать.

После занятий Михайлова часто сидела на диване в гостиной, с поджатыми ногами и с книгой в руках. Она читала при свете лампы с огромным абажуром, укрепленной на толстой и высокой подставке из красного дерева. Вид этой девушки с красивым спокойным лицом, ее безмятежная поза, волосы, лежащие на спине, и пальцы ее, тонкие и белые, — все это не вязалось с техникой подрывного дела или нанесением по тырсе ударов ножом с ручкой, обтянутой резиной.

Когда Михайлова замечала капитана, она вскакивала и вытягивалась, как это и полагается при появлении командира.

Жаворонков, небрежно кивнув, проходил мимо. Этот сильный человек с красным, сухим лицом спортсмена, правда, немного усталым и грустным, был жестоким и требовательным не только к подчиненным, но и к себе самому.

Капитан предпочитал действовать в одиночку. Он имел на это прево. Холодной болью застыла в сердце капитана смерть его жены и ребенка: двадцать второго июня немецкие танки раздавили их в пограничном поселке.

Капитан молчал о своем горе. Он не хотел, чтобы его несчастье служило причиной его бесстрашия. Поэтому он обманывал своих товарищей. Он сказал себе: «Жену мою, ребенка не убили, они живы. Я не мелкий человек. Я такой же, как все. Я должен драться спокойно». И он не был мелким человеком. Вся свою жизненную силу он сосредоточил на борьбе с врагом. Таких людей, с обагренным сердцем, гордых, скорбящих и сильных, немало на войне.

Добрый, веселый, хороший мой народ! Какой же бедой ожесточил враг твое сердце!

И вот сейчас, шагая за ползущей радисткой, капитан старался не размышлять ни о чем, что могло бы помешать ему обдумать свое положение. Он голоден, слаб, измучен длинным переходом. Конечно, она рассчитывает на его помощь. Но ведь она не знает, что он никуда не годится.

Сказать все? Ну, нет! Лучше заставить ее как-нибудь подтянуться, а там он соберется с силами, и, может быть, как-нибудь удастся...

В отвесном скате балки весенние воды промыли нечто вроде ниши. Жесткие корни деревьев свисали над головой, то тощие, как шпагат, то перекрученные и жилистые, похожие на пучки ржавых тросов. Ледяной навес закрывал нишу снаружи. Днем свет проникал сюда, как в стеклянную оранжерею. Здесь было чисто, сухо, лежала подстилка из еловых ветвей. Квадратный ящик радиации, спальный мешок, лыжи, прислоненные к стене.

— Уютная пещерка, — заметил капитан. И, похлопав рукой по подстилке, сказал: — Садитесь и разувайтесь.

— Что? — гневно-удивленно спросила девушка.

— Разувайтесь. Я должен знать, куда вы ходите с такой ногой.

— Вы не доктор. И потом...

— Знаете, — сказал капитан, — договоримся с самого начала, меньше разговаривайте.

— Ой, больно!

— Не кричите, — сказал капитан, ощупывая ступню ее, вспухшую, обтянутую глянцевиной синей кожей.

— Да я же не могу больше терпеть.

— Ладно, потерпите, — сказал капитан, стягивая с себя шерстяной шарф.

— Мне не нужно вашего шарфа.

— Грязный носок лучше?

— Он чистый.

— Знаете, — снова повторил капитан, — не морочьте вы мне голову. Веревка у вас есть?

— Нет.

Капитан поднял руку, оторвал кусок тонкого корня, перевязал им ногу, обмотанную шарфом, и объявил:

— Хорошо держится!

Потом он вытащил лыжи наружу и что-то мастерил, орудуя ножом. Вернулся, взял рацию и сказал:

— Можно ехать.

— Вы хотите тащить меня на лыжах?

— Я этого, положим, не хочу, но приходится.

— Ну что же, у меня другого выхода нет.

— Вот это правильно, — согласился капитан. — Кстати, у вас пожевать чего-нибудь найдется?

— Вот, — сказала она и вытащила из кармана поломанный сухарь.

— Маловато.

— Это все, что у меня осталось. Я уже несколько дней...

— Понятно, — сказал капитан. — Другие съедают сначала сухари, а шоколад оставляют на черный день.

— Можете оставить ваш шоколад себе.

— А я угощать и не собираюсь. — И капитан вышел, сгибаясь под тяжестью рации.

После часа ходьбы капитан понял, что дела его плохи. И хотя девушка, лежа на лыжах (вернее — на санях, сделанных из лыж), помогала ему, отталкиваясь руками, силы его покинули. Ноги дрожали, а сердце колотилось так, что было трудно дышать.

«Если я ей скажу, что никуда не поеду, она растеряется. Если дальше буду храбриться, дело кончится совсем скверно».

Капитан посмотрел на часы и сказал:

— Не худо бы выпить горячего.

Выкопав в снегу яму, он прорыл палкой дымоход и забросал его отверстие зелеными ветвями и снегом. Ветви и снег должны были фильтровать дым, тогда он будет невидимым. Наломав сухих веток, капитан положил их в яму, потом вынул из кармана шелковый мешочек с пушечным полузарядом и, насыпав горсть пороха крупной резки на ветви, поднес спичку.

Пламя зашипело, облизав ветви. Поставив на костер жестяную банку, капитан кидал в нее сосульки и куски льда. Потом он вынул сухарь, завернув его в платок, и, положив на пень, стал бить по сухарю черенком ножа. Крошки он высыпал в кипящую воду и стал размешивать. Сняв банку с огня, он поставил ее в снег, чтобы остудить.

— Вкусно? — спросила девушка.

— Почти как кофе «Здоровье». — И капитан протянул ей банку с коричневой жижой.

— Я потерплю, не надо, — сказала девушка.

— Вы у меня еще натерпитесь, — сказал капитан.
— А пока пейте.

К вечеру ему удалось убить старого грача.

— Вы будете есть ворону? — спросила девушка.

— Это не ворона, а грач, — сказал капитан.

Он зажарил птицу на костре.

— Хотите? — предложил он половину птицы девушке.

— Ни за что! — с отвращением сказала она.

Капитан поколебался, потом задумчиво произнес:

— Пожалуй, это будет справедливо, — и съел всю птицу. Закурив, он повеселел и спросил:

— Ну, как нога?

— Мне кажется, я смогла бы пройти немного, — сказала девушка.

— Это вы бросьте!

Всю ночь капитан тащил за собой лыжи, и девушка, кажется, дремала.

На рассвете капитан остановился в овраге.

Огромная сосна, вывернутая бурей, лежала на земле. Под мощными корнями оказалась впадина. Капитан выгреб из ямы снег, наломал ветвей и постелил на них плащ-палатку.

— Вы хотите спать? — спросила, проснувшись, девушка.

— Часок, не больше, — сказал капитан. — А то я совсем забыл, как это делается.

Девушка начала выбираться из своего спального мешка.

— Это еще что за номер? — спросил капитан, приподымаясь.

Девушка подошла и сказала:

— Я лягу с вами, так будет теплее. А накроемся мешком.

— Ну, знаете... — сказал капитан.

— Подвиньтесь, — сказала девушка. — Не хотите же вы, чтобы я лежала на снегу... Вам неудобно?

— Подберите ваши волосы, а то они в нос лезут, чихать хочется, и вообще...

— Вы хотите спать — ну и спите. А волосы вам мои не мешают.

— Мешают, — вяло сказал капитан и заснул.

Шорох тающего снега, стук капель. По снегу, как дым, бродили тени облаков.

Капитан спал, прижав кулак к губам, и лицо у него было усталое, измученное. Девушка наклонилась и осторожно просунула свою руку под его голову.

С ветви дерева, склоненного над ямой, падали на лицо спящего тяжелые капли воды. Девушка освободила руку и подставила ладонь, защищая лицо спящего. Когда в ладони скапливалась вода, она осторожно выплескивала ее.

Капитан проснулся, сел и стал тереть лицо ладонями.

— У вас седина здесь, — сказала девушка. — Это после того случая?

— Какого? — спросил капитан, потягиваясь.

— Ну, когда вас расстреливали?

— Не помню, — сказал капитан и зевнул. Ему не хотелось вспоминать про этот случай.

Дело было так. В августе капитан подорвал крупный немецкий склад боеприпасов. Его контузило взрывной волной, неузнаваемо обожгло пламенем. Он лежал в тлеющей черной одежде, когда немецкие санитары подобрали его и вместе с пострадавшими немецкими солдатами отнесли в госпиталь. Он пролежал три недели, притворяясь глухонемым. Потом врачи установили, что он не потерял слуха. Гестаповцы расстреляли Жаворонкова вместе с тремя немецкими солдатами-симулянтами. Ночью тяжело раненный капитан выбрался изо рва и полз двадцать километров до места явки.

Чтобы прекратить разговор, он спросил:

— Нога все болит?

— Я ж сказала, что могу идти сама, — раздраженно ответила девушка.

— Ладно, садитесь. Когда понадобится, вы у меня еще побегаετε.

Капитан впрягся в сани и снова заковылял по талому снегу.

Шел дождь со снегом. Ноги разъезжались. Капитан часто проваливался в выбоины, наполненные мокрой снежной кашей. Было тускло и серо. И капитан с тоской думал о том, удастся ли им переправиться через реку, на которой, вероятно, вода уже выступила поверх льда.

На дороге лежала убитая лошадь.

Капитан присел возле нее на корточки, вытащил нож.

— Знаете, — сказала девушка, приподымаясь, — вы все так ловко делаете, что мне даже смотреть не противно.

— Просто вы есть хотите, — спокойно ответил капитан.

Он поджаривал тонкие ломтики мяса, насадив их на стержень антенны, как на вертел.

— Вкусно! — удивилась девушка.

— Еще бы! — улыбнулся капитан. — Жареная конина вкуснее говядины.

Потом он поднялся и сказал:

— Я пойду посмотрю, что там, а вы оставайтесь.

— Хорошо, — согласилась девушка. — Может, это вам покажется смешным, но одной мне оставаться теперь очень трудно. Я уже как-то привыкла быть вместе.

— Ну-ну! Без глупостей, — пробормотал капитан.

Но это больше относилось к нему самому, потому что он смутился.

Вернулся он ночью.

Девушка сидела на санях, держа пистолет в руке. Увидев капитана, она улыбнулась и встала.

— Садитесь, садитесь, — попросил капитан тоном, каким говорил всем курсантам, встававшим при его появлении.

Он закурил и сказал, недоверчиво глядя на девушку:

— Штука-то какая. Фашисты недалеко отсюда аэродром оборудовали.

— Ну и что? — спросила девушка.

— Ничего, — ответил капитан. — Ловко очень устроили. — Потом серьезно спросил: — У вас передатчик работает?

— Вы хотите связаться? — обрадовалась девушка.

— И даже очень, — сказал капитан.

Михайлова сняла шапку, надела наушники. Через несколько минут она спросила, что передавать. Капитан присел рядом с ней. Стукнув кулаком по ладони, он сказал:

— Одним словом, так: карта раскисла от воды. Квадрат расположения аэродрома определить не могу. Даю координаты по компасу. Ввиду низкой облачности линейные ориентиры будут скрыты. Поэтому пеленгом будет служить наша рация на волне... Какая там у вас волна, сообщите.

Девушка сняла наушники и с сияющим лицом повернулась к капитану.

Но капитан, сворачивая новую сигарку, даже не поднял глаз.

— Теперь вот что, — сказал он глухо. — Рацию я забираю и иду туда, — он махнул рукой и пояснил: — Чтобы быть ближе к цели. А вам придется добираться своими средствами. Как стемнеет окончательно, спуститесь к реке. Лед тонкий, захватите жердь. Если провалитесь, она поможет. Потом доползете до Малиновки, километра три, там вас встретят.

— Очень хорошо, — сказала Михайлова. — Только рацию вы не получите.

— Ну, ну, — сказал капитан, — это вы бросьте.

— Я отвечаю за рацию и при ней остаюсь.

— В виде бесплатного приложения, — буркнул капитан. И, разозлившись, громко произнес: — А я вам приказываю.

— Знаете, капитан, любой ваш приказ будет выполнен. Но рацию отобрать у меня вы не имеете права.

— Да поймите же вы! — вспылил капитан.

— Я понимаю, — спокойно сказала Михайлова.— Это задание касается только меня одной. — И, гневно глядя в глаза капитану, она сказала: — Вот вы горячитесь и беретесь не за свое дело.

Капитан резко повернулся к Михайловой, Он хотел сказать что-то обидное, но превозмог себя и с усилием произнес:

— Ладно, валяйте, действуйте. — И, очевидно, чтобы как-нибудь отомстить за обиду, сказал: — Сама додуматься не могла, так теперь вот...

Михайлова насмешливо сказала:

— Я вам очень благодарна, капитан, за идею.

Капитан отогнул рукав, взглянул на часы.

— Чего же вы сидите, время не ждет.

Михайлова взялась за лямки, сделала несколько шагов, потом обернулась.

— До свиданья, капитан.

— Идите, идите, — буркнул тот и пошел к реке...

Туманная мгла застилала землю, в воздухе пахло сыростью, и всюду слышались шорохи воды, не застывшей и ночью. Умирать в такую погоду особенно неприятно. Впрочем, нет на свете погоды, при которой бы это было приятно.

Если бы Михайлова прочла три месяца назад рассказ, в котором герои переживали подобные приключения, в ее красивых глазах наверняка появилось бы мечтательное выражение. Свернувшись калачиком под байковым одеялом, она представляла бы себя на месте героини; только в конце, в отместку за все, она непременно спасла бы этого надменного героя. А потом он влюбился бы в нее, а она не обращала бы на него внимания.

В тот вечер, когда она сказала отцу о своем решении, она не знала о том, что эта работа требует нечеловеческого напряжения сил, что нужно уметь спать в грязи, голодать, мерзнуть, уметь тосковать в одиночестве. И если бы ей кто-нибудь обстоятельно и подробно рассказал о том, как это трудно, она спросила бы просто:

— Но ведь другие могут?

— А если вас убьют?

— Не всех же убивают.

— А если вас будут мучить?

Она задумалась бы и тихо сказала:

— Я не знаю, как я себя буду держать. Но ведь я все равно ничего не скажу. Вы это знаете.

И когда отец узнал, он опустил голову и проговорил хриплым, незнакомым ей голосом:

— Нам теперь с матерью будет очень тяжело, очень.

— Папа, — звонко сказала она, — папа, ну ты пойми, я же не могу оставаться!

Отец поднял лицо, и она испугалась. Таким оно было измученным и старым.

— Я понимаю, — сказал отец. — Ну что же, было бы хуже, если бы у меня была не такая дочь.

— Папа, — крикнула тогда она, — папа, ты такой хороший, что я сейчас заплачу!

Матери она утром сказала, что она поступает на курсы военных телефонисток.

Мать побледнела, но сдержалась и только попросила:

— Будь осторожнее, деточке.

На курсах Михайлова училась старательно и во время проверки знаний волновалась, как в школе на экзаменах, и была очень счастлива, когда в приказе отметили не только число знаков передачи, но и ее грамотность.

Оставшись одна в лесу в эти дикие, холодные и черные ночи, она в первые дни плакала и съела весь шоколад. Но передачи вела регулярно, и, хотя ей ужасно хотелось иногда прибавить что-нибудь от себя, чтобы не было так сиротливо, она не делала этого, экономя электроэнергию.

И вот сейчас, пробираясь к аэродрому, она удивилась, как все это просто. Вот она ползет по

мокрому снегу, мокрая, с обмороженной ногой. А когда раньше у нее бывал грипп, отец сидел у постели и читал вслух, чтобы она не утомляла свои глаза. А мать с озабоченным лицом согревала в ладонях термометр, так как дочь не любила класть его под мышку холодным. И когда звонили по телефону, мать шепотом растерянно говорила: «Она больна». А отец заталкивал в телефон бумажку, чтобы звонок не тревожил дочь. А вот если враги успеют быстро засечь рацию, Михайлову убьют.

Убьют ее, такую хорошую, красивую, добрую и, может быть, талантливую. И будет лежать она в мокром, противном снегу. На ней меховой комбинезон. Они, наверное, сдерут его. И она ужаснулась, представляя себя голой, в грязи. На нее, голую, будут смотреть отвратительными глазами фашисты.

А этот лес так похож на рощу в Краскове, где она жила на даче. Там были такие же деревья. И когда жила в пионерском лагере, там были такие же деревья. И гамак был подвязан вот к таким же двум соснам-близнецам.

И когда Димка вырезал ее имя на коре березы, такой же, как вот эта, она рассердилась на него, зачем он покалечил дерево, и не разговаривала с ним. А он ходил за ней и смотрел на нее печальными и поэтому красивыми глазами. А потом, когда они помирились, он сказал, что хочет поцеловать ее. Она закрыла глаза и жалобно сказала: «Только не в губы». А он так волновался, что поцеловал ее в подбородок.

Она очень любила красивые платья. И когда однажды ее послали делать доклад, она надела самое нарядное платье. Ребята спросили:

— Ты что так расфрантилась?

— Подумаешь, — сказала она. — Почему мне не быть красивой докладчицей?

И вот она ползет по земле, грязная, мокрая, озираясь, прислушиваясь, и волочит обмороженную, вспухшую ногу.

«Ну, убьют! Ну и что ж! Ведь убили же Димку и других, хороших, убили. Ну и меня убьют. Я хуже их, что ли?»

Шел снег, хлюпали лужи. Гнилой снег лежал в оврагах. А она все ползла и ползла. Отдыхая, она лежала на мокрой земле, положив голову на согнутую руку.

Влажный туман стал черным, потому что ночь была черная. И где-то в небе плыли огромные корабли. Штурман командирского корабля, откинувшись в кресле, полузакрыв глаза, вслушивался в шорохи и свист в мегафонах, но сигналов радиации не было.

Пилоты на своих сиденьях и стрелок-радиист тоже вслушивались в свист и визг мегафонов, но сигналов не было. Пропеллеры буравили черное небо. Корабли плыли все вперед и вперед во мраке ночного неба, а сигналов не было.

И вдруг тихо, осторожно прозвучали позывные. Огромные корабли, держась за эту тонкую паутинку звука, разворачивались; ревущие и тяжелые, они помчались в тучах. Родной, как песня сверчка, как звон сухого колоса на степном ветру, как шорох осеннего листа, этот звук стал поводом огромным стальным кораблям.

Командир соединения кораблей, пилоты, стрелки-радиисты, бортмеханики — и Михайлова тоже — знали: бомбы будут сброшены туда, на этот родной, призывный клич радиации. Потому что здесь — самолеты врага.

Михайлова стояла на коленях в яме, в черной тинистой воде и, наклонившись к радиации, стучала ключом. Тяжелое небо висело над головой. Но оно было пустым и безмолвным. В мягкой тине обмороженная

нога онемела, боль в висках стискивала голову горячим обручем. Михайлову знобило. Когда она поднесла руку к губам — губы были горячие и сухие. «Простудилась, — тоскливо подумала она. — Впрочем, теперь это не важно».

Иногда ей казалось, что она теряет сознание. Она открывала глаза и испуганно вслушивалась. В наушниках звонко и четко пели сигналы. Значит, рука ее, помимо воли, нажимала рычаг ключа. «Какая дисциплинированная! Вот и хорошо, что я пошла, а не капитан. Разве у него будет рука сама работать? А если бы я не пошла, то была бы сейчас в Малиновке, и, может быть, мне дали бы полушубок... Там горит печь... и все тогда было бы иначе. А теперь уже больше никого и ничего не будет... Странно, вот я лежу и думаю. А ведь где-то Москва. Там люди, много людей. И никто не знает, что я здесь. Все-таки я молодец. Может быть, я храбрая? Пожалуй, мне не страшно. Нет, это оттого, что мне больно, потому и не так страшно. Скорее бы только. Ну, что они в самом деле! Неужели не понимают, что я больше не могу?»

Всхлипнув, она легла на откос котлована и, повернувшись на бок, продолжала стучать. Теперь ей стало видно огромное, тяжелое небо. Вот его лизнули прожекторы, послышалось далекое тяжелое дыхание кораблей. И Михайлова, глотая слезы, прошептала:

— Милые, хорошие! Наконец-то вы за мной прилетели! Мне так плохо здесь. — И вдруг испугалась: «Что, если вместо позывных я передала вот эти свои слова? Что же они тогда про меня подумают?»

Она села и стала стучать отдельно, четко, повторяя вслух шифр, чтобы снова не сбиться.

Гудение кораблей все приближалось. Застучали зенитки.

— Ага, не нравится?

Она поднялась. Ни боли, ничего. Изо всех сил она стучала по ключу, словно не сигналы, а крик «бейте, бейте!» высекала из ключа.

Рассекая черный воздух, ахнула первая бомба. Михайлова упала на спину от удара воздуха. Оранжевые пятна отраженного пламени заплескались в лужах. Земля сотрясалась от глухих ударов. Рация свалилась в воду. Михайлова пыталась поднять ее. Визжащие бомбы, казалось, летели прямо к ней в яму.

Она вобрала голову в плечи и присела, зажмурив глаза. Свет от пламени проникал сквозь веки. Дуновением разрыва в яму бросило колья, опутанные колючей проволокой. В промежутках между разрывами бомб на аэродроме что-то глухо лопалось и трещало. Черный туман вонял бензиновым чадом.

Потом наступила тишина, замолкли зенитки.

«Кончено, — с тоской подумала она. — Теперь я снова одна».

Она пыталась подняться, но ее ноги...

Она их не чувствовала совсем. Что случилось? Потом она вспомнила. Это бывает. Ноги отнимаются. Она контужена. Вот и все. Она легла щекой на мокрую глину немножко отдохнуть. Хоть бы одна бомба упала сюда! Как все было бы просто. И она не узнала бы самого страшного.

«Нет, — вдруг сказала она себе, — с другими было хуже, и все-таки уходили. Ничего плохого не должно случиться со мной. Я не хочу этого».

Где-то ворчал автомобильный мотор, и белые холодные лучи несколько раз скользнули по черному кустарнику, потом прозвучал взрыв, более слабый, чем разрыв бомбы, и совсем близко — выстрелы.

«Ищут. А лежать так хорошо. Неужели и этого больше не будет?»

Она хотела повернуться на спину, но боль в ноге горячим потоком ударила в сердце. Она вскрикнула,

попыталась встать и упала.

Холодные твердые пальцы дергали застежку ее ворота.

Она открыла глаза.

— Это вы? Вы за мной пришли? — сказала Михайлова и заплакала.

Капитан вытер ладонью ее лицо, и она снова закрыла глаза. Идти она не могла. Капитан ухватил ее рукой за пояс комбинезона и вытащил наверх. Другая рука у капитана болталась, как тряпичная.

Она слышала, как сипели полозья саней по грязи.

Потом она увидела капитана. Он сидел на пне и, держа один конец ремня в зубах, перетягивал свою голую руку, и из-под ремня сочилась кровь. Подняв на Михайлову глаза, капитан спросил:

— Ну как?

— Никак, — прошептала она.

— Все равно, — сквозь зубы сказал капитан, — я больше никуда не гожусь. Сил нет. Попробуйте добраться, тут немного осталось.

— А вы?

— А я здесь немного отдохну.

Капитан хотел подняться, но как-то застенчиво улыбнулся и свалился с пня на землю...

Он был очень тяжел, и она долго мучилась, пока втащила его бессильное тело на сани. Он лежал неудобно, лицом вниз. Перевернуть его на спину она уже не могла.

Она долго дергала постромки, чтобы сдвинуть сани с места. Каждый шаг причинял нестерпимую боль. Но она упорно дергала за постромки и, пятясь, тащила сани по раскисшей, мокрой земле.

Она ничего не понимала. Как это может еще продолжаться? Почему она стоит, а не лежит на земле, обессиленная? Прислонившись спиной к дереву, она

стояла с полузакрытыми глазами и боялась упасть, потому что тогда ей уже не подняться.

Она видела, как капитан сполз на землю, положил грудь и голову на сани. Держась за перекладину здоровой рукой, сказал шепотом:

— Так вам будет легче.

Он полз на коленях, полуповиснув на санях. Иногда он срывался, ударяясь лицом о землю. Тогда она подсовывала ему под грудь сани, и у нее не было сил отвернуться, чтобы не глядеть на его почерневшее, разбитое лицо.

Потом она упала и снова слышала сипение грязи под полозьями. Потом услышала треск льда. Она задыхалась, захлебывалась, вода смыкалась над ней. И ей казалось, что все это во сне.

Открыла она глаза потому, что почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Капитан сидел на нарах, худой, желтый, с грязной бородой, с рукою, подвешенной к груди и зажатой между двумя обломками доски, и смотрел на нее.

— Проснулись? — спросил он незнакомым добрым голосом.

— Я не спала.

— Все равно, — сказал он, — это тоже вроде сна.

Она подняла руку и увидела, что рука голая.

— Это я сама разделась? — спросила она жалобно.

— Это я вас раздел, — сердито сказал капитан. И, перебирая пальцы на раненой руке, объяснил: — Мы же с вами вроде как в реке выкупались, а потом я думал, что вы ранены.

— Все равно, — сказала она тихо и посмотрела капитану в глаза.

— Конечно, — согласился он.

Она улыбнулась и сказала:

— Я знала, что вы вернетесь за мной.

— Это почему же? — усмехнулся капитан.

— Так, знала.

— Ничего вы не могли знать, — сказал капитан.— Вы были ориентиром во время бомбежки, и вас могли убить. На такой аварийный случай я разыскал стог сена, чтобы продолжать сигналить огнем. А во-вторых, вас запеленговал броневичок с радиоустановкой. Он там всю местность прочесал, пока я ему гранату не подсунул. А в-третьих...

— Что в-третьих? — звонко спросила Михайлова.

— А в третьих, — серьезно сказал капитан, — вы очень хорошая девушка. — И тут же резко добавил: — И вообще, где это вы слышали, чтобы кто-нибудь поступал иначе!

Михайлова села и, придерживая на груди ворох одежды, глядя сияющими глазами в глаза капитану, громко и раздельно сказала:

— А знаете, я вас, кажется, очень люблю.

Капитан отвернулся. У него побледнели уши.

— Ну, это вы бросьте.

— Я вас не так. Я вас просто так люблю, — гордо сказала Михайлова.

Капитан поднял глаза и, глядя исподлобья, задумчиво сказал:

— А вот у меня часто не хватает смелости говорить о том, о чем я думаю, и это очень плохо.

Поднявшись, он опять сурово спросил:

— Верхом ездили?

— Нет, — сказала Михайлова.

— Поедете, — сказал капитан.

— Гаврюша, партизан, — отрекомендовался заросший волосами низкорослый человек с веселыми прищуренными глазами, держа под уздцы двух костлявых и куцых немецких гюнтеров. Поймав взгляд Михайловой на своем лице, он объяснил: — Я, извините, сейчас на дворняжку похож. Прогоним оккупантов из

района — побреюсь. У нас парикмахерская важная была. Зеркало — во! В полную фигуру человека.

Суетливо подсаживая Михайлову в седло, он смущенно бормотал:

— Вы не сомневайтесь насчет хвоста. Конь натуральный. Это порода такая. А я уж пешочком. Гордый человек, стесняюсь на бесхвостом коне ездить. Народ у нас смешливый. Война кончится, а они все дразнить будут.

Розовое и тихое утро. Нежно пахнет теплым телом деревьев, согретой землей. Михайлова, наклонясь с седла к капитану, произнесла взволнованно:

— Мне сейчас так хорошо. — И, посмотрев в глаза капитану, потупилась и с улыбкой прошептала: — Я сейчас такая счастливая.

— Ну еще бы, — сказал капитан, — вы еще будете счастливой.

Партизан, держась за стремя, шагал рядом с конем капитана; подняв голову, он вдруг заявил:

— Я раньше куру не мог зарезать. В хоре тенором пел. Пчеловод — профессия задумчивая. А сколько я этих фашистов порезал! — Он всплеснул руками. — Теперь я злой, обиженный.

Солнце поднялось выше. В бурой залежи уже просвечивали радостные, нежные зеленя. Немецкие лошади прижимали уши и испуганно вздрагивали, шарахаясь от гигантских деревьев, роняющих на землю ветвистые тени.

Когда капитан вернулся из госпиталя в свою часть, товарищи не узнали его. Такой он был веселый, возбужденный, разговорчивый. Громко смеялся, шутил, для каждого у него нашлось приветливое слово. И все время искал кого-то глазами. Товарищи, заметив это, догадались и сказали, будто невзначай:

— А Михайлова снова на задании.

На лице капитана на секунду появилась горькая морщинка и тут же исчезла. Он громко сказал, не глядя ни на кого:

— Боевая девушка, ничего не скажешь, — и, одернув гимнастерку, пошел в кабинет начальника доложить о своем возвращении.

1942

Емилиан Буков. МОЛЧАНИЕ

«Опускается, опускается все ниже. Куда? Как она может погружаться в самое себя? Землетрясение? Нет. И все же опускается... Бред!

— Остановите ее!»

Этот возглас был только мыслью.

Но земля опускается. И никого кругом. Никого? Где же люди? «Я возродиться лишь на людях в силах». Кто это сказал? Молчание. Значит, порой и молчание обретает голос...

— Прошу тебя, прошу, молчанье, не молчи!..

В спутанных ресницах расцветают маки.

— Маки!.. Скажите слово хоть вы.

Странно. Молчат маки. Значит, не все красивое красноречиво... А маки по-настоящему красивы...

Опускается, снова опускается земля...

По стенам носятся зеленые жеребята. Зеленые кони на стенах. Как тогда, в степи, под Орхеем. А что в Орхее сейчас? Может, он лежит в руинах. Земля ведь опускается...

Голубеют заросли камыша, ходят под ветром волнами.

— Не брызгайся, Михаил! Вода холодная!.. Бессовестный, съел все маки с моих губ! Стыдись!..

А теперь мне тепло. Утро родило день. И целых пять солнц согревают его.

— Нет, десять!

— Чудак!

— Десять солнц. Это точно.

— Ну и силен ты в арифметике.

— Без пяти минут математик...

— Перестань есть маки...

Опускается, снова опускается...

— Держи его крепче, отец! Цепляй постромки! Смотри-ка, теперь и телки тянут лучше. Видишь, борозда стала глубже?! Будут добрый хлеб и сладкие куличи на пасху!

— Будут!

— Оставьте отца в покое! Не бейте его!.. Ой, что мы будем делать теперь? Вставай, отец!.. Дьякон поет так жалобно, что хоть плачь. И не выплачешь всех слез до кладбища.

— Лес мой, кедры милые...

— Кто это поет? Деревья?

— Да, лес надвигается на меня, как зеленое половодье. Видишь, как качается осенний лес?..

— Вижу... «Что ты, лес, качаешься?..» [4]

— Откуда ты это знаешь?

— Ты читал, когда мы купались в Днестре. Помнишь? «И не в бурю, и не в дождь до земли ты ветки гнешь».

— Никогда я этого не читал...

— Мне нашептала земля. Но она опускается! Останови ее, Михаил! Я боюсь.

— «Мне ль не гнуться до земли, если дни мои прошли?»

— Твои дни никогда не кончатся... Прошу тебя, Михаил, останови, удержи землю! Не знаешь как? Пожалей землю, твою и мою.

— «Тоскую лишь о том...» [5]

— Их тоже... Но почему так носятся зеленые пятна по стенам?

— Хочешо сказать — зеленые кони?

— Пропали. Их больше нет... Мне холодно...»

...Когда агент сигуранцы опрокинул третье ведро, Вероника открыла глаза. И тотчас закрыла — не хотела видеть это красивое наглое лицо.

— Ты жива или притворяешься живой? — слышала она как во сне.

— Тупица! Лей еще ведро.

— Ладно, только глотну цуйки... [6]

«Молчание... Как жаль, что молчание безголосо с тех самых пор, как стоит этот свет. И вдобавок в нем таится какая-то бездна

Если человек не чувствует рук, разве он мертв? «Мыслю, следовательно, существую?» Живу. Вздор! Я умерла? Попробуй, рассуди! Рассуди... Значит, я существую... Чьи это слова! Кант такого не говорил, потому что это сказал Декарт... «Гаудеамус игитур...»

— Михаил, успокойся! Греби к берегу — нас настигают черные лебеди.

— Белые.

— Нет, черные...» Не выкручивайте мне руки!

— Ты у меня заговоришь!

«Нет! Я умерла. По цементу скачут зеленые кони. По стенам. Скачут. Видите?»

— Как будто плачет кто-то...

— Тупица. Она мертва. Плесни еще!

— Воды?

— Ты полный дурак и еще половина! Посмотри, под столом должна быть бутылка...

«— Что это — земля опускается или поднимается молчание? Земля горяча. Накалено молчание. Но может ли молчанье накаляться?

Холодно...

Что это — снег идет или небо плачет белыми слезами? Нет, это не слезы. Это многоцветные улыбки. Приземляются парашюты. Их сотни. Тысячи. Похоже, будто дети несут цветы — движущийся цветник... Да, я помню тот год, год, исполненный особого смысла.

Чертова память! Она будит воображение. На его призрачном полотне угадывается июнь сорокового...»

— Эй, ты!

Эти два грубо сочлененные слова ударили по барабанным перепонкам. У неё был такой тонкий и чистый слух!..

— Эй, ты! Жива еще?

«Кто это вздыхает? Палач? Видно, и палачи иногда вздыхают...

Идет снег... Нет, опускается земля...»

«...Ключи соскальзывали в карман серого пальтишка, купленного мамой в «Галери Лафайет»^[7].

— Ты красиво его носишь, Ника.

— Называй меня Вероника. В имени «Ника» есть что-то юношеское.

— Ты у меня красивая. Большие глаза горят, как фонари над Каля Викторией.

— Нет, как свечи на погребении.

— Ты глупенькая... Свечи зажигают накануне.

— Я этого не знала, мама...

— А тебе и не нужно... На твоём веку еще не раз вздыбится земля и родятся горы...

— Сколько мне лет, мама?.. Пожалуйста, не целуй меня так... Ты у меня славная и все же не целуй меня так крепко... Глянь, здесь я и учусь, против статуи Михая Витязя. Видишь, как он держит скипетр? Грозит меня ударить...

— Почему ты не хочешь быть хозяйкой Чишмиджиу?

— Я никогда не выйду замуж, мама...»

— Что-то сказала?

— Не понял. То ли шевельнула губами, то ли вздохнула.

— Тупица, одно у тебя на уме? А ей должно быть известно много секретов, бычок ты этакий.

— Так точно, господин плутонер мажор!^[8]

— Так-то. Она знает всех здешних партизан, но...
— Видать, потеряла голос... Жаль. Пела, как соловей.
— Не ты ли прижег ей язык вонючими спичками?..
— Мне ж было приказано, господин плутонер...
— Не умеешь чисто работать — получай по заслугам, бык!
— Ой-ой-ой! Мне больно!.. Не бейте меня... Я ведь не она...
— Ее больше нет. Ну и достанется нам обоим. Марш отсюда!..
«Опускается земля... Падает. Куда? До каких пор? И сколько может извергаться этот бесконечный вулкан? Кого пожирает этот огонь?
Меня предал Иорга. Костры. Галилей, Бруно... Это история».
— Послушай меня, девушка... Я доктор. Я не враг тебе. Не будь глупой. Ты живешь один только раз. Еще бьется сердце. И дышит теплом грудь. Какая у тебя красивая грудь!.. Шприц!
— Готово, господин доктор.
«Комариные укусы. Пустяки. А что, если попробовать поднять веки?.. Невозможно!
Мертвое молчание. Земля все еще рушится? Она свихнулась, земля...
Падают враги. И снова снег, и те же июньские парашюты. Как хорошо!
— Кто-то плачет... По ком?
И снег, снег...»

Вероника знала, что она красива. Ей это говорило зеркало. Правда, она обращалась к нему редко, лишь в тех случаях, когда нужно было кое-как усмирить свои черные непокорные волосы. Но отражение в зеркале — только плоская копия продолговатого лица Вероники, заслоненного неуловимой улыбкой, блуждающей в

глазах, на щеках и на губах. Что красивые девушки неумны — это старая ложь, придуманная уродами...

Веронике нравился немецкий язык. Еще с тех пор, когда она посещала лицей в Крайове... Как бессарабка из-под Оргеева оказалась в этом олтенском городе? Просто ее родители, мелкие коммерсанты, переселились сюда в поисках более счастливой доли.

Время от времени Вероника наезжала к своим родственникам. И теперь ее считали здесь румынкой.

Получив аттестат зрелости, дочка Думитру Сырбу отправилась в «маленький Париж», как самонадеянно называл себя Бухарест. Поступила на факультет литературы и философии.

Немецкий преподавал строгий и педантичный профессор Мындреску. Вероника слушала еще и лекции француза Дебрена. Усердная студентка, она всегда получала высшие баллы. Отличалась не только в учебе. Ее выделяли самые переборчивые сердцееды из числа будущих светил науки. Но Вероника ни на кого не обращала внимания. Многие недоумевали: «Странная девушка! Почему-то не хочет замуж... Кокетничает?»

...Она жила, как все. Проходили годы, непохожие друг на друга. Вдруг — взрыв. Война выбила из наезженной колеи. И надо же такому случиться — тогда-то Вероника встретила своего суженого. Он был сильный, а люди о нем говорили: «Красивый парень, жизнерадостный». Его звали Михаил, как ее любимого поэта. И от этого он был еще дороже. Часто, оставаясь одна и воображая их мирное будущее, Вероника пыталась складывать стихи в подражание Эминеску.

Календарь войны пестрел багряными днями. Но это не были праздники. На листках как будто алела пролитая кровь.

Получив задание подпольного райкома, Вероника постриглась под мальчика, вырядилась в эсэсовскую

форму, отправилась в лес, где строился большой склад гитлеровского оружия.

Здесь работало много бессарабских парней. Новая надзирательница была сурова. Ее хвалило начальство из специального отряда СС, особенно Паулюс, который, слава богу, не был родственником известного немецкого фельдмаршала, взятого в плен под Сталинградом.

— Откуда у тебя такая ненависть к бессарабцам? — спросил как-то Паулюс.

— Я жила среди этих скотов, но по матери я немка. Да, настоящая немка. Пюр-сан.

— В таком случае, почему ты так холодна со мной? Ведь я ариец и красивый мужчина...

— У меня есть жених. Он храбрый офицер, герой. Бьет русских на фронте.

Теперь Вероника всегда ходила с длинной, как арапник, плетью. Время от времени она поднимала ее и опускала на плечи рабочих. В маленьких красивых руках надзирательницы удары бичом — это было не так уж больно. Но бессарабцы ее ненавидели. Ненавидели смертельно. «Сволочь, немка, курва», — называли они ее между собой.

Со склада все чаще пропадало оружие. Подозрение пало на нескольких рабочих и инженеров-бессарабцев. Их долго пытали. Вероника присутствовала на допросе.

— Эти бандиты способны на всякое, — сказала она палачам.

А когда девушка дотащила поздним вечером до своей каморки и задвинула за собой засов, долго сидела, окаменев, в старом кресле. Смотрела в пустоту и видела лица бессарабцев. И вспоминала родного отца, который умер в нищете накануне войны.

Много раз сидела Вероника вот так, неподвижно, до самой зари. И снова Паулюс говорил:

— Опять исчезло три пулемета. Пришлось расстрелять столько же бессарабцев...

— Справедливое решение! — восклицала Вероника. — Не зря я твержу, что эти бандиты способны на всякое...

Пулеметы попали к партизанам. Мозолистые руки молдаванина издавна быстро приучались к любой работе на земле. Теперь они косили оккупантов, как это делали дружинники Стефана Великого, гайдуки, вроде Кодряну и Урсу.

Бывало, идет Вероника с плеткой вдоль рядов бессарабцев-рабочих, толкающих тяжелые металлические тачки, доверху груженные камнем. Сквозь грохот можно расслышать приглушенные ругательства: «Продажная немка... извалялась со всеми гитлеровцами... Ну ничего, придет ее час..»

«Дорогие мои, — шепчет про себя девушка, — если бы вы знали, как я вас люблю!.. Так нужно, понимаете, нужно. Вечером умерло трое наших, а фашистов перебито три сотни. Что делать дальше? Научите меня!»

Если бы могла Вероника умереть вместо любого из расстрелянных!..

Лес безмятежно спал. Вероника ступала по сухим опавшим листьям. Какая странная судьба! Раньше они укрывали своей тенью, радовали людей. Теперь те же люди топчут их ногами...

Холодный ветер раскачивал вековые дубы и клены. Что ты качаешься, лес?.. А тебе, поэт, доброй ночи... Я люблю своего Михаила...

— Ты что здесь делаешь?

Девушка едва успела спрятать в карман тяжелые ключи от склада, мило улыбнулась.

— Что делаю, дорогой Паулюс? У меня разболелась голова, вот я и решила немного прогуляться...

— Я слышал дребезжание телеги.

— Верно, верно, сейчас подъедет партизанская кэруца... [9]

— Мне нравится, когда ты шутишь.

— Как не шутить, когда ключи от склада в моем кармане...

— Не поцелую — умру на месте...

— Доставь такое удовольствие...

Порыв ветра подхватил звук выстрела и унес. Куда унес?..

Вот и подвода. А в ней — два партизана. Сколько раз принимали они оружие из нежных рук Вероники! Следы ее хрупких пальцев чуть ли не на каждом партизанском курке...

И вдруг навалились фашисты. Схватка была короткой.

И когда мертвая девушка распласталась на цементе в камере пыток, ее изуродованные каленым железом руки были как лист виноградный. Желтый лист на поздней осенней лозе...

И сегодня поздняя осень. Я опустился на колени перед небольшим аккуратным холмиком. Смотрю на простой дубовый крест. Его поставили здесь по просьбе матери моей героини. А Вероника, как и все мы, совсем не верила в бога.

1967

Аркадий Первенцев. ВАЛЬКА С ТОРПЕДНОЙ «ДЕВЯТКИ»

Бухта была окружена горами. В порт за волноломом набилось столько кораблей, что казалось, они со скрипом терлись друг о друга боками. Сейнеры и мелкие шхуны-одномачтовки вытаскивали на берег, прямо на набережную, под пальмы, и заливали варом. Здесь же были устроены верстаки, стояли котлы с кипящей смолой, по корабельному дереву со звоном ходили фуганки. В порт приходили эсминцы, побывавшие в морских сражениях, и тоже приводились в порядок, ремонтировались подводные лодки, зашивались борта танкеров, проломленные торпедами. Порт напоминал эвакогоспиталь, где раненые корабли спешили поскорее подлечиться, чтобы снова пойти в сражение.

Город был наполнен моряками, сходящими вечерами с кораблей. Белый город, ослепительно-белый под лучами южного солнца, эвкалипты и магнолии на улицах и во дворах, грузины в легких костюмах, аджарцы, приехавшие с гор с корзинами овощей и фруктов. Иногда город дрожал от орудийной стрельбы, которая производила большое впечатление на базаре. Моряки были по-прежнему спокойны, так как знали — после ремонта отстреливается какой-нибудь военный корабль, повернув бортовые орудия на море, где в синей дымке колыхались щиты.

Однажды в порт пришел на мелкий ремонт торпедный катер. В тот же день поездом из Тбилиси приехал грязный и оборванный мальчишка в шахтерской шляпе. Мальчишка, сойдя с поезда, немедленно направился в порт, куда тянуло каждого

прибывающего в этот город. Моряки торпедного катера только что закрепили швартовы и вышли на гранитные плиты стенки. Их всего было пять человек вместе с командиром лейтенантом Балашовым, механиком и боцманом. Внимание лейтенанта привлекла шахтерская шляпа мальчишки.

— Из Крындычевки? — спросил лейтенант, называя свой родной Красный Луч по-старому, как привыкли называть его шахтеры.

— Нет. — Мальчишка отрицательно покачал головой.

— Горловки?

— Нет.

— Может, ты никакого отношения к шахтерам не имеешь. Только шляпу надел?

— Нет...

— Что нет? — Балашов приблизился к нему, взял за подбородок. На него смотрели два черных быстрых глаза.

— Я с-под Артемовска, — сказал мальчишка, строго смотря на лейтенанта, — мой батя работал на эмтеэс, в совхозе. Шляпу проездом достал, в Кадиевке.

Лейтенант опустил руки и со вздохом сказал:

— Что-то никого с Крындычевки здесь не вижу. Или там всех повыбили...

— Моего батю убили, — сказал мальчишка уходившему лейтенанту.

— Убили? — Балашов обернулся. — Вот оно что? Дело плохо... А ты чего сюда?

— Так...

— Как так?

— Ехал, ехал и приехал сюда...

— А...

Балашов набил трубку. Короткими и закопченными пальцами он долго вминал табак, потом понюхал трубку и зажег ее.

— Куришь небось, шкерт?

— Вы ко мне? — спросил мальчишка.

— А то к кому же? Тут больше ни одного шкерта нет.

— Я не знаю, что такое шкерт...

— Не знаешь? — Лейтенант улыбнулся. — Если не знаешь — ничего. Не знаешь, можно научиться, а вот если не знаешь и знать не хочешь, плохо. Шкерт — это конец, небольшой такой конец... веревка. Понятно?

— Теперь понятно... — ответил мальчишка.

— Как тебя звать, шкертик?

— Шкертик, — стараясь сдержать подрагивающие от смеха губы, ответил мальчишка.

— Шкертик? — удивился Балашов и внимательно уставился на мальчишку. — Ты мне нравишься, парень. У тебя есть смелость и юмор. Так все же, теперь по-серьезному, имя?

— Валька, — не спуская своих черных глаз с лейтенанта, ответил мальчишка.

— Отца жалко, Валька?

— Отца? — Мальчик нахмурился, но, прочитав на лице лейтенанта подлинное участие, тихо сказал: — Жалко... У меня хороший был батя. Ударник эмтеэс...

— Ударник эмтеэс? — Лейтенант полуобнял мальчишку и пошел с ним по набережной...

Боцман Свиридов, рыжеватый и веселый парень, посмотрел вслед командиру и сказал с сожалением:

— Дались ему эти мальчишки. Своего потерял где-то. Теперь как приходим в порт, так обязательно какого-нибудь подцепит. Может, с горя? Бывает.

Лейтенант недолго шел по набережной. Вскоре он повернул обратно вместе со своим новым знакомым. У них, очевидно, состоялся довольно дружеский разговор: мальчишка уже не смотрел на лейтенанта с самолюбивой настороженностью, как несколько минут тому назад.

— Опять познакомились, товарищ командир? — спросил боцман.

— Опять, Свиридов, — и обратился к мальчишке: — Будьте знакомы: Валька, боцман нашего «океанского корабля» старшина первой статьи Свиридов.

Валька протянул правую руку, стесняясь того, что она у него грязная, а у боцмана Свиридова чистая, загорелая, покрытая у кисти медными пятнами зажаренных на солнце веснушек.

— Отца потерял Валька, — сказал лейтенант, присаживаясь на тумбу, — в его возрасте и в такое собачье время. Вот ты когда отца потерял, Свиридов?

— Что вы, товарищ командир? Мой отец до последнего письма жив и здоров. Не терял я его. В Омске он, товарищ командир.

— А Валька из-под Артемовска, Свиридов. А там теперь враги. Был когда-нибудь в Артемовске?

— Никогда не был, товарищ командир. Не лучше же Одессы Артемовск?

— Не лучше, но Одесса — это Одесса, а Артемовск — Артемовск. Вот для Вальки он лучше Одессы. Лучше, Валька?

— Лучше, — не задумываясь, ответил Валька. — Мы до того, как отец в совхоз ушел, всегда в Артемовске жили. Там памятник есть большой.

Подошли моряки с катера: механик Полевой, молодой парень из бывших трактористов, и краснофлотцы Сизов и Белошапка, портовые рабочие из Херсона, пришедшие на флот за четыре месяца до войны.

В порт медленно входил эсминец. Открыли боновые ограждения на внутреннем рейде, где стояли крупные военные корабли. Моряки пришедшего эсминца находились на верхней палубе и у орудий. С других кораблей их узнавали, махали бескозырками.

Сигнальщики дружески отвечали, без устали размахивая флагами.

— Все рады ему, — сказал Валька. — Почему?

— Как почему? — спросил лейтенант, тоже помахивая рукой какому-то знакомцу, кричавшему ему с борта эсминца.

— С большого дела вернулся, — пояснил механик, — мог бы и не вернуться. Все ждали его, понятно?

— Понятно...

Так состоялось первое знакомство команды торпедного катера «093» с тринадцатилетним мальчишкой Валькой, которого волна эвакуации донесла на гребне своем до этого чудесного портового города. В то время ни команда катера во главе с лейтенантом Балашовым, ни сам Валька еще не знали, какой знаменательной будет эта первая встреча и как интересно иногда устраиваются судьбы людей.

Валька уже не обращал внимания на остальные корабли, не тянулся к знакомству с другими моряками. Люди первого встреченного им суденышка стали любезны ему и казались самыми лучшими моряками. Боевой экипаж! Все были награждены орденами и медалями, и это еще больше пленило Вальку.

Весь день черные глазенки мальчишки следили за пятеркой. Да, ему хотелось есть, заработать было негде. Валька сделал из консервной банки подобие котелка, достал алюминиевую ложку и приходил к катеру всегда точно к обеду. Могли бы его накормить и в другом месте! Конечно, накормили бы. Но сюда он приходил охотно. Здесь никто его не попрекал куском хлеба. Он чувствовал себя как бы членом их экипажа, к нему относились как к равному. Ему хотелось еще больше сравняться с ними. Он решил поступить в школу юнг, размещенную на теплоходе, но там его не приняли, набор был уже произведен. Валька даже обрадовался, что его не приняли. Ему хотелось быть все

время вблизи «своего» экипажа. Однажды моряк с базы подплава, наблюдавший за мальчишкой, укорил Вальку: «Таскаешься, обжираешь ребят. С пяти человек сколько выгадаешь?» Валька решил больше не приходить к своим друзьям. На третий день боцман Свиридов обнаружил его на базаре.

— Э-эх... ты... кашалот ты, кашалот... Куда пропал? Голодный ты, видать?

— Нет... не голодный... — гордо отвечал мальчишка, хотя третий день почти ничего не ел.

— По глазам вижу, сожрал бы целого дельфина. Пойдем со мной. Ты арестован по всем законам военного времени и осадного положения.

Свиридов устроил «суд» над беглецом в присутствии механика и моториста Сизова. Им пришлось долго выяснять причину, побудившую мальчишку избегать встречи с ними. Пожалуй, Валька прав, решили они. После этой беседы мальчик сразу вырос в глазах экипажа: «Ишь ты какой!»

Решили изменить тактику в отношении Вальки. Механик Полевой грубовато-ласково сказал ему:

— Вот что, друг, задарма мы тебя и в самом деле кормить не имеем права, — просто не имеем права... А вот если ты будешь нам помогать, тогда дело другое...

— Надо тебя приспособить к нашему делу, — сказал Свиридов. — Вот тебя механик и приспособит и приохотит.

Полевой взял мальчишку за руку.

— Пойдем, Валя.

Мальчишка пошел за механиком.

Полевой снабдил его банкой и соляровым маслом, ветошью, показал на кое-какие медяшки и кнехты, которые нужно было подраить. Мальчишка ретиво принялся за порученную ему работу. Теперь он с легким сердцем мог съесть свой обед.

Так продолжалось еще несколько дней. Ремонт был окончен. Катер должен был уходить в Хопи, где тогда находилась стоянка их дивизиона. А что же делать с мальчишкой? Это был серьезный и сложный вопрос, дело шло о человеке. К мальчику не только привыкли, его полюбили. Экипаж собрался у катера — разговор шел о Вальке. Уйти и оставить его — такое время, что с ним будет? Взять с собой? Куда? Валька печально сидел поодаль, на кнехте. Вместо шахтерской шляпы на нем была бескозырка. Паренек окреп, загорел, очистился от дорожной грязи, постриг свои вихры.

— Что я могу сделать, — лейтенант развел руками, — куда мы его приткнем?

— Найдем куда, — сказал моторист Белошапка, — мы его возьмем вниз, к себе.

— Сами не повернетесь. Нашли линкор!

— Повернемся, товарищ командир, — попросил Сизов, — жаль мальчишку. Ишь как глядит на нас. Отца-то убили на фронте, товарищ командир.

— Верно, отца убили, — заметил со вздохом боцман. — Куда ему, сироте...

— Надо спросить начальство в Хопи, — сказал лейтенант, — может, разрешат они его нам взять как воспитанника. Вон на «Незаможнике» и то есть воспитанники...

Лейтенант говорит так больше для того, чтобы убедить себя. Он знал, что «Незаможник» им не ровня: как-никак эсминец. Но не хотелось бросать мальчишку. Не верилось, что они отойдут от стенки и там останется этот мальчонка с грустными глазами.

— Возьмем его, — решил лейтенант.

Свиридов перемахнул на берег, подхватил мальчишку на руки и поставил его на палубу.

— Идешь с нами, кашалот. Скажи спасибо товарищу лейтенанту.

Валька вытянулся перед командиром:

— Благодарю вас, товарищ лейтенант.

— А ну тебя, шкерт... Попадет мне за тебя, Валька!

Катер зарокотал, как самолет, вышел из бухты и, повернув на север, ринулся по волнам. Валька, ухватившись за поручни, сжался в комок. Его трясло, бросало, он чуть-чуть не прошиб себе висок одной из тех медяшек, которые ему приходилось драить. Стены воды проносились мимо него. Иногда мальчишке казалось — катер ввинтится в воду и пойдет на глубину, как подводная лодка, иногда думалось — вот-вот взвьется в воздух. Валька гордился своим первым морским путешествием, но никогда не думал, что оно будет таким стремительным и беспокойным. Если так лететь, можно, пожалуй, за день пересечь Черное море. Вскоре волны стали меньше, рев моторов как будто ослабел и сразу потух, и, подпрыгивая, как будто с кочки на кочку, катер подошел к пирсу в небольшой бухте, так же пленительно обвязанной горами, синими от весенних испарений, и тропическими деревьями.

...Командир бригады вызвал к себе командира торпедного катера.

— Насчет Вальки, — сообразил лейтенант. — Доложил начдиву, а он сам не мог решить, конечно... Ну, Валька, за твоей судьбой отправился, молись богу, чтобы все было хорошо.

Командир бригады и начальник политотдела пожурили лейтенанта за опрометчивость. Балашов горячо доказывал, что мальчишка хороший, что его жалко бросать, испортится в портовом городе, что он привык к ним, а они к нему. Сказал о гибели на фронте отца мальчика, о том, что он из Артемовска, как будто это имело какое-нибудь значение. Горячая убежденность лейтенанта несколько смягчила начальство. Балашов был хорошим боевым офицером.

— Нет таких традиций, чтобы брать воспитанников на катер, — сказал командир бригады. —

Ну, другое дело — на крейсер, эсминец. А если мы разведем воспитанников на мелких боевых кораблях...

— Как исключение, товарищ командир.

— Команда и так по горло озабочена делами, а тут мальчишка. Он вас свяжет по рукам и ногам. А если, к примеру, ранят его? Тринадцать лет мальчишке!

— Постараемся его сохранить, товарищ командир, — говорил Балашов.

— Ведь на него нужен паек, нужно обмундирование, надо его в штаты включить, в списки. Видите, я говорю с вами по-товарищески, Балашов, потому что нам нужно как-то вместе выйти из этого положения. Дело необычное. Мальчишку на эту скорлупу! Грецкий орех с динамитом!

— Ну, на катер Балашова, пожалуй, можно, — сказал начальник политотдела, — школа хорошая: Балашов!

— Балашов, Балашов! Но ведь тринадцать лет. Как он хотя физически? Может быть, фитюлька?

— Физически совершенный моряк-черноморец, товарищ командир, — похвалил питомца лейтенант, — крепыш, железный парнишка. Мы его сами обеспечим всем. На обмундирование сложимся, да как-нибудь и прохарчим. Разрешите только оставить, товарищ командир.

— Детский дом разводим на Черном море, — покачал головой командир бригады. — Ну, что с вами делать?

Возвратившись на катер, Балашов серьезно говорил с Валькой, и тот так же серьезно принял его слова. Валька понял: его все же оставили на катере — а это самое главное. А то, что нужно прятаться при виде всякого начальства, он сумеет. Он не подведет своего командира.

...Наступили трудные дни. Бригада подтянулась ближе к фронту. На все боевые задания неизменно

выходил вместе со всем экипажем и Валька. Скоро он освоил пулемет, стал изучать сложное моторное хозяйство. Он стоял у штурвала вместе с командиром и наблюдал, каким образом повинуетя воле человека корабль, какая связь между лейтенантом и Белошапкой и Сизовым. Иногда, в открытом море, командир глазами указывал ему, что нужно делать, чтобы катер слушался его, и детские руки постепенно привыкали к механизму управления.

— Будет толк из него, — говорил Балашов. — Вырастим доброго черноморца...

При подходе катера к базе для Вальки начинались мучения. Нужно было прятаться, забираться в тесный моторный отсек и там, прижавшись к Сизову или Белошапке, наблюдать, как по различным трубкам и приспособлениям несется бензин, с шумом сгорает и превращается в ту страшно стремительную силу, которая мчит катер по слову приказа.

Конечно, все на базе знали, что Валька живет на «девятке», и относились к этому снисходительно и даже с насмешкой. Слишком все рассчитано было на торпедном катере, каждый сантиметр места, каждый грамм веса, чтобы обзаводиться лишним человеком, тем более мальчишкой. «Оставляйте шкерта на берегу, — говорили экипажу «девятки», — пока вы в море, гляди, он тут бы картошки начистил, рыбы наловил». Но оставаться на берегу, чистить картошку и ловить рыбу Валька считал для себя оскорблением. Он слишком полюбил море, которое подчинялось их вездесущему и быстроходному суденышку, чтобы смириться со спокойной сухопутной жизнью. Катера обычно несли ночную дозорную службу, охраняя важную коммуникацию. Сюда, с наступлением сумерек, в засады приходили вражеские торпедные катера и на фоне берегов располагались в кильватерной колонне. Катера противника всегда приходили группами от

четырёх до двенадцати единиц. Очень трудно различить темные катера на фоне таких же темных крутых берегов. Здесь нужно было не только острое зрение, но и опытный глаз, умевший разбираться в изменении цветных пятен побережья. Валька помогал в наблюдении.

Однажды в дозор вышли два катера, при ведущей «девятке». На втором часу похода Валька первым заметил на темном горизонте силуэты неприятельских кораблей. Катера прошли в засаду, остановились с заведенными моторами в десяти примерно кабельтовых от береговой черты.

Балашов решил атаковать противника до подхода вызванного по радио подкрепления. Это был первый морской бой Вальки. Ему казалось безумием идти в атаку двумя катерами против двенадцати. Но Балашов мчался вперед, туда, где были корабли противника.

С небольшой дистанции оба катера открыли сильный огонь. Глухой непрерывный стук пулеметов, рев моторов и шипение бурунов, вздымающихся по бортам катера, совершенно ошеломили мальчишку. На него никто не обращал внимания. Он теперь и в самом деле был лишним человеком на катере. Каждый занимался своим делом. Крутые повороты корабля он часто принимал за гибель, и побледневшими губами шептал слова прощания с близкими ему людьми: «Прощайте, товарищ командир, прощайте, товарищ главстаршина, прощайте, Белошапка и Сизов». Валька чувствовал — по ним тоже ведется огонь, он различил даже резкий разрыв снарядов и на том месте, где взрывались снаряды, — узкие и быстрые водяные столбы, рассыпавшиеся со свистом и брызгами. И вот катер развернулся и полетел к берегу.

Почти рядом пенили волну шесть советских сторожевых катеров, лихо несясь вперед, припадая на

один борт, — так мчатся по степи хорошие наездники. Сторожевики вступали в бой с врагом...

«Девятка» пришла на базу.

— Не допустили их выйти на нашу коммуникацию, — весело сказал Балашов, сходя на берег, — стреляют они беспорядочно. Я бы их кормил соломой...

Хотя все знали, что катер благополучно вышел из боя только благодаря дерзкому маневрированию Балашова, сбившего с толку врага, никто не оспаривал мнения командира.

Валька же был пока только свидетелем боя. Раздумывая над поведением экипажа в бою, он понял, что ему тоже могло бы найтись место. Но только тогда, когда... кого-нибудь не стало бы. Он сразу же отогнал от себя такие страшные мысли, от которых защемило сердце, но... примерно, если бы свалило боцмана, мог бы он броситься к пулемету и стрелять так же, как и Свиридов? Это нужно проверить, но, пожалуй, мог бы. Если бы вышел из строя командир, мог бы он продолжать сражение, так же командовать, так же лететь на врага и делать крутые развороты? Конечно, нет. Командир должен быть всегда на месте. Если он будет убит, вряд ли может на его месте работать механик или боцман. Слишком большую веру в командира воспитал в сердце своем мальчишка, чтобы допустить мысль о такой легкой замене.

После напряженной работы механик вместе с Белошапкой и Сизовым тщательно проверяли моторы. Ловкие руки Вальки и постоянное желание сделать что-нибудь приносили свою пользу. Механик, может быть, больше всех чувствовал необходимость этого шестого человека, ставшего органически нужным на корабле.

Валька, казалось, расширился в плечах, подобрел. Он уже не дичился, не обижался на шутки, чувствуя, что становится равным среди моряков — и не только их катера, но и всей базы. Кому какое дело до того, что он

ходит в бескозырке боцмана или в штанах Сизова и фланелевке Белошапки. Он был одет по форме, как полагается, всегда чист и подтянут и с удовольствием отдавал всем старшим воинское приветствие. Ему нравилось сходить на берег, встречать офицеров и козырять им с поднятой головой, при строевом шаге, с особым шиком отбрасывая руку на шов. Незаконное дитя катера никого не смущало теперь, к нему привыкли, и, пожалуй, если бы он вдруг затерялся, его отсутствие было бы заметно. Валька постепенно забывал, что ему нужно прятаться от начальства, хотя где-то в глубине сознания такая мысль неотступно точила его. Однажды вечером он наткнулся на командира бригады и, не успев свернуть в сторону, с замиранием сердца «откозырял» ему. Командир бригады остановил мальчишку, узнал фамилию и имя и отпустил его. Придя на катер, Валька с тревогой присматривался к командиру, думал, что тому все стало известно. Но командир молчал. И только на следующий день, в море, сказал ему: «Попался на глаза начальству?» — «Попался, товарищ командир», — чуть ли не со слезами признался мальчик. «Ничего...»

...Валька затаенно ожидал какого-то дела, подвига. Что он делает? Пока ничего. Наступит время, и его спишут. А куда? Неизвестность пугала его. Если его выбросят с корабля, он жить, конечно, не будет. Он на глазах усатого командира бригады бросится в море. Вначале покажет, что он моряк и плавать умеет, а потом камнем пойдет на дно и притихнет там навсегда.

Пусть тогда они поймут его душу.

И вот Валька неожиданно совершил свой первый подвиг. О нем долго говорили на побережье, а потом привыкли, так как героическое в то время становилось привычным.

Десантная операция была решена с присущей черноморцам храбростью и дерзостью. «Черная туча» —

как называли враги наших моряков-десантников — ворвалась на занятые противником берега. Торпедные катера обеспечивали левый фланг морского десанта, чтобы отсюда не пришли корабли противника, базировавшиеся на Феодосию и Ялту.

Но противник пришел, и с ним вступили в бой. У Балашова был второй — ведомый — катер. Противник имел четыре катера. Силы — неравные. Опасность увеличивалась оттого, что вместо легких катеров, действовавших против них прошлый раз, пришлось иметь дело с тяжелыми катерами.

Балашов решил отходить под прикрытием своей береговой артиллерии. Вызвав по радио поддержку и пользуясь превосходством в скорости, он оторвался от противника. Казалось, опасность миновала. Вот-вот появятся родные берега, к ним в рокоте моторов неслась дозорная «двойка».

И в это время их решили перехватить четыре торпедных катера, выжидавших Балашова у прибрежных скал. Балашов вынужден был принять бой. Поддержка должна была вот-вот прийти. «Сейчас начнется настоящая работенка! — прокричал он Вальке. — Держись только всеми четырьмя — и руками и ногами. Маневр и огонь!» Это были последние слова, которые услышал на борту корабля Валька от своего командира. Бой продолжался всего несколько минут. Это было похоже на скоротечное воздушное сражение, где стремительность атак, напряжение механизмов, мускулов и сердец выжигает все, начиная от горючего и патронов и кончая человеческой энергией.

Противник атаковал с двух сторон. Вражеские катера проносились мимо, повернув в сторону двух советских катеров все свои пушки и пулеметы. Экипажи наших катеров сражались мужественно и упорно, как это присуще только русским морякам. Балашов решил использовать последнее средство — торпеды.

Торпедная атака удалась. Тяжелый катер врага взорвался и быстро скрылся в волнах, загорелся второй. Оставалось еще два. Сближаясь с Балашовым, торпедные катера стремились зайти с фланга, стать на параллельные курсы, чтобы удобнее вести прицельный огонь. Наконец это им удалось, и они открыли огонь из бортовых пушек и пулеметов. Валька упал и когда, оглушенный и злой, приподнял голову, увидел, что ни командира, ни боцмана, ни механика не было на местах. Они тоже упали, но подняться не могли. Катер прыгал на волнах. Моторы работали, а управлять ими было некому. Валька подполз к Балашову.

— Товарищ лейтенант! — крикнул Валька, склонившись к тяжело раненному командиру. — Чем помочь!

— Валька, действуй!

— Как?

— К штурвалу. Выбрасывай на берег катер, у Синей бухты... Там пляж. Мы давно во время шторма выбрасывали там свои фелюги...

— Есть, товарищ командир...

Валька поднялся к штурвалу, забрызганному кровью, и в точности, как будто здесь находился сам командир, выполнял все, что кричал ему Балашов. Он вспомнил все, что в последние месяцы объясняли ему и командир, и боцман, и механик. Он восстановил в своем ясном детском мозгу все, чему его учили Балашов и его товарищи.

Внизу почувствовали управление, сильнее забурчали моторы.

Значит, Белошапка и Сизов живы, он не один на израненном корабле. Валька направил катер по курсу, указанному ему командиром. Он видел перед собой острую скалу, похожую на парус, стоявшую торчком из глубины. Вправо от скалы Синяя бухта, и там отлогий берег и мелкая галька. Мальчишка почти лежал на

штурвале и ловил каждое слово командира. Он старался наиболее полно и правильно выполнить приказание Балашова. Слух его обострился до предела. Берег приближался. Он сбавил обороты моторов. Катер нырял, зарывался носом, но машины вели его вперед и вперед! Подполз Свиридов. Мальчишка старался не смотреть на боцмана, тот «травил», и тошнота подкатилась к Валькиному горлу. Боцман кричал, ругался. Валька не обращал на него внимания, так как следил только за одним человеком — за командиром. Боцман кричал, потому что не понял маневра, ведь катер мог разбиться о берег. Потому-то боцман и приполз от пулемета, чтобы предупредить. Свалившись рядом с командиром, боцман услышал теперь его голос, его приказ, все понял и притих. Балашов выкрикивал: «Так... так держать, Валька!»

Валька теперь решал, как более или менее благополучно выброситься на берег. Для этого все нужно рассчитать. Балашов командовал: «Моторы! Выключи моторы!» Теперь стало тихо, потом слышался треск, удар, и катер, выпрыгнув на берег, продрал днищем камни и свалился на правый борт. На берег долетали брызги, шипела волна. С горки бежали какие-то вооруженные люди. Белошапка и Сизов положили на берег, усыпанный мелкими камнями, лейтенанта, а потом сняли боцмана и механика с палубы и положили их рядом с лейтенантом. Валька работал и распоряжался. Подошли солдаты. Узнали, в чем дело. Чувствуя свою власть и значимость, Валька отвечал им. Он как бы вырастал в своих собственных глазах.

Вскоре пришел санитарный катер. Раненых взяли на носилки. Катер ушел на базу. Прибыл катер с технической помощью. Матросы наложили временные заплатки на пробоины, бока, откачивали ручными

помпами воду, поставили «девятку» на плав, проверили моторы.

Своим ходом катер вошел в бухту, куда уже подъехал командир бригады. Его взору представилась удивительная картина. Катер считали выбывшим из строя, но он лихо развернулся и подошел к пирсу.

— Кто же на нем командир? — спросил изумленный командир бригады.

Валька выпрыгнул на пирс и встал перед командиром бригады, мокрый, вымазанный кровью.

— Товарищ командир бригады! Вольнонаемный Валентин Галин прибыл на торпедном катере из боевой операции. Из экипажа трое раненых...

— Трое раненых и трое героев, — сказал командир бригады, прижимая к себе мальчишку. — Черт побери, еще с рапортом, ну, прямо по-настоящему...

Вальку тискал в объятиях растроганный начальник политотдела.

— Ну, что тебе сделать теперь? — спрашивал командир бригады. — Что ты хочешь?

— Разрешите, товарищ командир бригады...

— Ну, проси, проси, вольнонаемный Валентин Галин.

— Я прошу отвезти меня в госпиталь... к нашими

— Ах, так... Правильно...

— Садись, поедем...

Валька сел рядом с командиром бригады, машина тронулась. Под баллонами брызнула галька. Шумело недалекое море, черные тени кораблей вставали во тьме. Мальчишка почувствовал страшную усталость и дрожь во всем теле. Ему захотелось прижаться к кому-нибудь, может, даже расплакаться, но ведь тут у него не было родных, а со всеми этими людьми он привык держаться начеку.

— Тебе холодно, Валька? — участливо спросил командир бригады, почти принякая к нему пушистыми

своими усами, которых мальчишка больше всего на свете боялся.

— Нет.

— Железный ты какой... Я когда-то думал — фитюлька. У меня тоже такой вот сорванец. Напишу ему завтра же о тебе, Валька. Пусть завидует в Москве, какие у нас тут чертенята, на Черном...

В госпитале Валька шел позади командира бригады. Когда раскрылись двери палаты, мальчишку подтолкнули вперед.

— Иди.

— Валька! — позвал его забинтованный человек.

Мальчик узнал голос своего командира. Это был теперь не только командир, не только человек, решивший его судьбу, это был родной человек, за которого он, как за отца, мог отдать свою жизнь.

И вот мальчишка шел и никого не видел перед собой, кроме этого забинтованного человека. И только у койки запнулся, стал, губы и подбородок его дрожали...

— Валька! Подойди с другого борта. Тут с рукой конфуз...

Валька обошел койку и увидел глаза Балашова, устремленные на него. Увидел обожженные его щеки, кровь, просочившуюся через повязку, и понял сразу, до боли, до спазм в горле, что произошла большая и страшная несправедливость в этой жизни. Ему почудилось, что это последние минуты командира, что он последний раз видит эти глаза и испытывает на себе ту доброту, которая приютила его и дала ему право на большую и полную жизнь. Тяжелые, крупные слезы брызнули сквозь пальцы по огрубевшим, недетским его рукам. И неожиданно для мальчишки к горлу подступил тяжелый комок, его не проглотить, и вдруг он зарыдал громко, захлебываясь и кусая до крови губы.

— Валька, что ты! — Балашов обнимал его здоровой рукой. — Жизни наши спас... Боевой корабль

спас. Что ты! — теперь уже вместе с Валькой плакал Балашов.

— Ладно, Балашов, ну ты-то, ты-то чего! — успокаивал его растроганный командир бригады.

— Он корабль спас...

— Ну и что?

— Подумать о нем надо... Я вот лежу. Без меня он теперь...

— Лежи, выздоравливай... Подумали без тебя. Решили представить к боевому ордену, наряду со всем экипажем. Врага-то потом дотрепали. — И комбриг, сдерживая волнение, быстро заговорил, может быть, это были и лишние сейчас слова: — До Ялты, может, только щепки доплывут. Ведь они-то горячее и патроны выжгли, прибились к нашим берегам. Тут мы их, голубчиков... А вы начали... Вы! Хотя зачем тебе все это сейчас? Выздоровливай.

— Спасибо, — сказал Балашов. — Спасибо... — и тихо спросил:— А как бы зачислить?

— Кого? Вальку?

— Да.

— Ну и беспокойный ты. Будет... Будет зачислен. Пойдем, Валя!

И командир бригады увел его из палаты. Пешком прошли они к морю. Что-то говорили между собой. Рука командира лежала на плече Вальки, и черноморский ветерок шевелил обгорелые ленточки бескозырки, надетой на голову мальчика.

Так начиналась морская жизнь Валентина Галина, может быть будущего русского адмирала.

Геннадий Семенихин. ХМУРЫЙ ЛЕЙТЕНАНТ

«Хмурый лейтенант» — так прозвали в нашем полку нового летчика Ярового, и прозвище это лучше всего соответствовало его характеру. Он был действительно хмурым. Редко кто видел улыбку на его резко очерченных губах. Даже в минуты короткого отдыха, наступавшего после напряженного боевого дня, когда каждому хотелось как-то рассеяться, побренчать на гитаре или посидеть за домино, Яровой усаживался где-нибудь в дальнем углу землянки и, обхватив колени руками, медленно посасывал маленькую черную трубочку, безучастно наблюдая за происходящим.

— Почему он такой? — часто задавали себе вопрос летчики нашего полка и не находили ответа.

Да, он был очень странным, этот высокий, нескладный в движениях лейтенант Яровой. В свои неполные двадцать семь лет он казался многое повидавшим человеком. Узкое, всегда гладко выбритое лицо было прорезано глубокими морщинами, а глаза, спокойные, холодные, светло-голубые, смотрели так, как смотрят на мир глаза человека, прожившего долгую жизнь. Он появился в нашем полку совершенно неожиданно, в самый разгар тяжелых оборонительных боев на подмосковных полях. Каждый день полк нес потери. Часто бывало, что вместо четверки «ильюшиных» обратно возвращалась лишь пара, а два других самолета оставались на месте вынужденной посадки. Гибель каждой машины с болью переживал весь летный состав нашего полка. Но во сто крат было больнее, когда мы узнавали, что вместе с машиной, подожженной снарядом зенитки или пушечной

очередью с «мессершмитта», за линией фронта погибали друзья. С утра и до ночи гудела земля от близкой артиллерийской канонады. Фашисты прорвали линию фронта и приблизились к аэродрому. Их танки вели бои в пятнадцати километрах от него. И вот тогда-то последовал приказ перебазироваться на восток. Горбатые, окрашенные в грязно-зеленый цвет поздней осени «ИЛы» уже были подготовлены техниками к взлету, когда над аэродромом появился незнакомый штурмовик, отличавшийся от наших самолетов красной окраской кока. Он выскочил как-то неожиданно из-за нахохлившихся пожухлых сосенок, столпившихся вокруг аэродрома, и, не делая круга, с прямой зашел на посадку.

— Узнайте, кто это? — сердито спросил командир полка майор Черемыш, приготовившийся отдать приказание на перелет всем исправным машинам.

Минуты три спустя перед ним уже стоял незнакомый летчик в помятом кожаном реглане и, вытянув вдоль туловища длинные руки, устало докладывал:

— Я из дивизии полковника Сухоряба. Был на вынужденной. «Мессеры» перебили гидросистему, до своих не дотянул. Пришлось у танкистов подремонтироваться.

Это и был лейтенант Яровой.

— Кто же вам ее восстановил? — не без удивления спросил Черемыш, твердо зная, что без авиационных техников такая операция маловероятна.

— Сам, — односложно ответил Яровой.

Брови у командира полка удивленно поползли вверх.

— Вы?

— Да, — неохотно повторил лейтенант и, вероятно, не желая вновь подвергаться расспросам, прибавил: — Я в прошлом авиационный техник.

— Так, так, — протянул майор Черемыш, — а вы знаете, где сейчас дивизия полковника Сухоряба? Она направлена в глубокий тыл за новой материальной частью. Небось не обедали? Пообедайте, а я за это время свяжусь со штабом и узнаю, куда вам лететь, чтобы найти своих. — Черемыш ожидал, что Яровой, как и каждый человек, потрепанный первыми жестокими месяцами войны, облегченно вздохнет, узнав о том, что впереди его ожидает кратковременная передышка, поездка в тыл, возможно, свидание с родными и близкими, но незнакомый летчик продолжал так же сосредоточенно смотреть мимо командира светлыми немигающими глазами. И только при упоминании о поездке в тыл на его лице нервно дернулся мускул.

— Товарищ командир, — произнес он, простуженно покашляв, — разрешите остаться у вас, в тыл не лететь. «ИЛ» у меня в порядке, на нем еще можно повоевать.

Черемыш обескураженно пожал плечами: время было горячее, командир соединения требовал штурмовать, штурмовать и штурмовать.

— Хорошо, — неожиданно для всех прислушивавшихся к разговору согласился майор, — я вас зачисляю в первую эскадрилью, а в штаб сообщу, что впредь до уточнения будете воевать с нами.

Никакого уточнения не последовало, и Яровой остался в полку. Вместе с нами он перелетел на новый аэродром. Ему отвели место на нижних нарах землянки в самом дальнем углу. Рассыльный принес из вещевого склада новый матрас, и Яровой стал устраиваться. В бревенчатую стену землянки он вбил гвоздь, повесил на него реглан и кожаный шлем, — все свое имущество, и скорее себе, чем соседям, наблюдавшим, как он устраивается, сказал:

— Вот и все. Жить можно. А главное — нужно.

Так он начал жить с нами. Он летал много, больше других. Если майор Черемыш вместе с начальником штаба брался за составление боевого расчета и на листок бумаги заносил фамилии летчиков, включавшихся в очередную пару или четверку, Яровой первым просил разрешение на вылет. И только в те недолгие минуты, когда командир полка повторял боевой приказ да еще когда приходилось укладывать в планшет карту с прочерченным маршрутом, Яровой несколько оживлялся. Как-то по-особенному блестяли тогда его глаза. Но не волнение и не испуг — злость появлялась в них. Лейтенант буквально выпрашивал у командира каждый лишний вылет, а когда возвращался на аэродром, снова становился мрачным и неразговорчивым.

— Задание выполнил, — докладывал он коротко.

Оружейники начинали производить послеполетный осмотр и не находили ни одного снаряда. Яровой старался расстрелять в полете весь боекомплект.

— Так нельзя, — сказал ему однажды майор Черемыш.— А если на обратном пути вас перехватят «мессера», как будете отбиваться?

— Уйду на бреющем, сманеврирую.

— Я вам запрещаю расходовать весь боекомплект, — строго напомнил Черемыш.

— Есть, товарищ командир, — сухо согласился летчик.

Но летать продолжал с тем же холодным азартом. Даже в тех случаях, когда огонь фашистских зениток покрывал низкое октябрьское небо сплошной свинцовой завесой, он ухитрялся совершать по два, по три захода. «ИЛ-2», на котором летал Яровой, почти ежедневно возвращался с пробоинами, и рыжий вскудлаченный механик Зайченко так к этому привык, что, завидев идущий на посадку самолет лейтенанта, с добродушной улыбкой говорил товарищам:

— А ну, хлопцы, готовьте побильше латок. Це ж командир вертається и опять що тот гусак, якому вси перья повыщипывалы. Не разумею, чего вин хоче: смерти, чи що!

Так думал не один механик. Даже командир полка, летчик опытный, любивший риск и тех, кто рискует, недоумевал, откуда такой отчаянный. Командир часто говорил Яровому:

— Вы устали, вам нужно отдохнуть.

А Яровой только молча шевелил сухими обветренными губами, словно силился улыбнуться и не мог.

— Я еще успею до темноты возвратиться, товарищ командир, разрешите еще один полет на «свободную охоту». — И улетал. И ему везло. Тридцать шесть штурмовок совершил лейтенант Яровой за какие-нибудь пятнадцать дней пребывания в нашем полку и ни разу не был сбит ни зенитками, ни «мессершмиттами». За это время он отыскал и взорвал два крупных нефтесклада, разбил эшелон.

Список подвигов Ярового рос быстро, и даже «старики» отдавали должное летному мастерству лейтенанта. Но для всех было неведомо, что носит в своем сердце этот мрачноватый неразговорчивый человек. Многие думали, что он попросту гордится, заносится и поэтому избегает общения с окружающими летчиками, считая, что среди них не сможет найти себе равного. Может быть, поэтому к Яровому все относились с нескрываемым равнодушием, а если и хвалили его, то холодно и скупно, как мастера своего дела, но не как товарища, с которым приходится делить и место в землянке, и опасность в воздухе.

А Яровой продолжал летать и оставался все таким же замкнутым. После двадцатидневного пребывания Ярового в нашем полку командир решил его представить к ордену Красного Знамени. Но, как назло,

сутки спустя после того, как штабной писарь Тесля заполнил наградной лист, Яровой не возвратился с задания.

Случилось это в холодный ветреный день, когда аэродром затягивала белесая пелена тумана. Погода стояла нелетная, но утром оперативный дежурный передал майору приказ командующего ВВС. Черемыш взял телефонограмму: «Цель восемь уничтожить к четырнадцати ноль-ноль». Под целью восемь значился по коду штаб немецкого корпуса, расположенный в деревне Васильки. Черемыш посмотрел в окно. Дул сырой от дождя ветер, гнал черные тучи, и низкое небо, казалось, вот-вот должно рухнуть на землю.

— Не так легко уничтожить, — произнес майор, сердито кусая губы, — попробуй полетай в такую погоду.

В землянке было тихо, даже удары дождя о стекло отчетливо слышались. Черемыш думал о том, что летчик, которого он пошлет в такую погоду на штурмовку немецкого штаба, имеет мало шансов вернуться. Трудно пробиваться к цели, когда впереди тебя горизонт каждую секунду грозит сомкнуться, сделать невидимой землю. Но еще труднее без прикрытия истребителей одному атаковать цель с низкой высоты под огнем десятка зенитных батарей. В углу на деревянных нарах, тесно прижавшись друг к другу, спали летчики. Один из них зашевелился и медленно сполз на пол. Черемыш увидел холодные светлые глаза.

— Яровой?

— Разрешите полет, товарищ командир.

Майор посмотрел на лейтенанта и внезапно рассердился. «Ну почему он всегда выскакивает раньше других? Ведь есть же в нашем полку и более опытные штурмовики». Командир скомкал в руке телеграфный бланк, потом снова разгладил его, перечитал короткий

текст: «Цель восемь уничтожить к четырнадцати ноль-ноль».

Над самым ухом он услышал глухой от скрытого волнения голос лейтенанта.

— Я еще вчера заметил признаки этого штаба под Васильками. Мне будет легче его разыскать.

— Хорошо, готовьтесь, — согласился Черемыш, затем недружелюбно и ворчливо прибавил: — Честное слово, если бы не простудился вчера капитан Веденеев, его бы послал, а не вас.

Через несколько минут Яровой был готов. На этот раз командир сам вышел проводить его. Майор, посылая в опасный полет даже такого летчика, к которому не питал особенной симпатии, как-то менялся, оттаивал, становился необычно ласковым. Так случилось и в этот раз. После того как все приготовления были закончены и Яровой уже застегнул шлемофон, Черемыш подошел к лейтенанту и потрепал его по плечу:

— Значит, летишь, — сказал он, переходя на «ты», — а погода видишь какая... высоту все время придется держать маленькую... ты к земле прижимайся, где можешь, а то зенитки у фашистов злые.

Слова «можешь и не вернуться» остались несказанными, но Яровой прочитал их в грустных глазах командира.

— Закурить разрешите? — спросил он.

— Покури, покури, — спохватился майор, — перед вылетом это полезно, в воздухе будешь спокойнее.

Командир протянул ему спичку и, обняв лейтенанта за плечи, вышел с ним из землянки.

— Ну, ладно. Желаю удачи. Трогай.

Яровой ушел к машине. Черемыш стоял у входа без шлема, комкая в руках кожаные перчатки, смотрел вслед.

А вскоре майор увидел, как протащился по раскисшему полю аэродрома медлительный, тяжелый

«ИЛ», словно бы нехотя оторвался от взлетной полосы и скрылся в непроницаемом тумане. Командир стоял до тех пор, пока не смолк в небе шум самолета, а потом спустился в землянку.

Снова ветер гнал тяжелые тучи. Черемыш сел за стол и положил перед собой часы. Очень часто взглядывал он на циферблат, и по той сосредоточенности, какая была в его глазах, все поняли, как сильно волнуется командир за судьбу летчика.

Прошло два томительных часа. Три раза за это время выходил майор из землянки и напряженно всматривался в низкое хмурое утро. Но все было напрасно. Чуткое ухо не могло уловить знакомого шума.

К вечеру туман рассеялся, и звено истребителей вылетело на разведку. Когда оно возвратилось, капитан Еремеев, водивший летчиков за линию фронта, сообщил, что санаторий, где расположился штаб немецкого корпуса, горит, а в десяти километрах от него сбоку от шоссе лежит сбитый штурмовик.

В долгом молчании выслушали летчики эти слова, а когда дверь тихо скрипнула за ушедшим Еремеевым, майор медленно встал, и все услышали его тихий голос:

— А какой храбрый был все-таки парень!

Но Яровой не погиб. Он пришел на тринадцатый день, худой, осунувшийся, с запавшими от бессонницы глазами. Ему обрадовались как родному. Летчики бросились тормозить лейтенанта, но Яровой лишь на секунду согрел лицо теплой улыбкой, а затем опять стал сдержанным и молчаливым. Освобождаясь от объятий, он нескладно объяснил:

— Зенитки сбили. Почти над самой целью. А санаторий я все-таки зажег. Тринадцать дней скитался, пока удалось добраться. Спасибо ягоды в лесах много...

Вот видите. — Он показал глазами на изодранные сапоги с отвисшими подметками.

То самое, о чем другой рассказывал бы несколько вечеров, Яровой передал в трех-четырех фразах. Но сейчас на это никто не обратил внимания. Всем стало легче оттого, что молчаливый лейтенант жив и невредим. Майор Черемыш, возбужденно размахивая руками, кричал:

— Вот молодец! Ей-богу, молодец! — и вдруг не без досады хлопнул ладонью по затянутому целлулоидом планшету: — Кого же послать на задание с пятой машиной?

— Пойдите, — вдруг сказал Яровой. — А какое задание?

Черемыш сердито махнул рукой:

— Да опять эти самые Васильки, около которых тебя сбили. Километром западнее бензосклад, надо поджечь.

— Бензосклад! — воскликнул Яровой. — Это тот, что на левом берегу речушки?

— Ну да.

— А зенитки стоят правее, в мелком кустарнике... заходить надо с юга, чтобы поменьше в зоне обстрела находиться. Там еще можно к лощинке прижаться, я знаю... А гореть-то они будут, эти цистерны, батеньки вы мои, — продолжал Яровой, — ни один фриц не затушит. Разрешите вылет. — Он растерянно оглянулся на окружавших его летчиков, словно просил о поддержке.

Майор не выдержал и, в сердцах обругав назойливого лейтенанта, приказал идти к машине.

Когда пятерка «Илов» улетела и шум моторов смолк где-то за синеющим лесом, начальник штаба, недоуменно пожав плечами, сказал командиру полка:

— Или это какой-то спортсмен, охотящийся за собственной смертью, или просто невменяемый

человек. Мне упорно кажется, что в каждом полете Яровым руководит не столько ненависть к врагу, сколько летный азарт.

Черемыш нахмурился. Он сам не понимал лейтенанта, но никогда не судил о людях поспешно. Поэтому сердито возразил начальнику штаба:

— Торопишься, Кондратьич! Разве можно торопиться, когда человека судишь!

Полтора часа блуждали в низком, затянутом облаками небе пять «ильюшиных». В полном составе возвратились они на аэродром, и командир пятерки Веденеев доложил, что задание выполнено.

— Это вот Яровому спасибо, — прибавил он, закончив официальный рапорт, — если б не он, проскочили бы цель.

Черемыш посмотрел на лейтенанта. Тот молча снимал меховые перчатки, его обветренное лицо, рассеченное на правой щеке глубокой морщиной, было, как всегда, угрюмым.

Вечером хлынул неожиданный для осени теплый проливной дождь, с громом и яркими молниями, и летчики решили устроить «вечер отдыха». К потолку была подвешена еще одна «летучая мышь», свет от нее веселыми кругами побежал по стенам и ярче осветил жилище. А когда завели патефон, монотонный шум дождя не был уже слышен.

Около одиннадцати в землянке появился Яровой. Очевидно, после ужина он бродил где-то по лесным опушкам, потому что на голенища его сапог налипли осенние листья. Он молча сбросил мокрую шинель, прошел в самый дальний угол и сел на свою постель. На приход лейтенанта никто не обратил внимания. Но когда молодой летчик Левушкин посмотрел в угол, он увидел, что Яровой, подперев ладонями голову, сосредоточенно рассматривал большую фотографию.

Левушкин, а за ним следом и еще двое подошли к нарам. Яровой никогда не показывал никому из нас ни своих фотографий, ни своих писем, и то, что сейчас он долго и пристально рассматривает какой-то снимок, заинтересовало всех.

— Это кто? Жена? — осторожно спросил Левушкин, не рискуя заглянуть через плечо Ярового на фотоснимок.

— Нет, сын, — тихо ответил Яровой и вздрогнул. Все мы ожидали, что лейтенант молча уберет снимок. Возможно, так бы и случилось, если бы не настойчивый Левушкин. Взъерошив и без того лохматую голову, он нерешительно попросил:

— А можно посмотреть?

Яровой, ни слова ни говоря, протянул фотографию. С открытки глядело улыбающееся лицо двухлетнего мальчугана. Мальчик прижимал к себе плюшевого медведя. В больших глазах ребенка застыло удивление перед громадным, еще не понятным ему миром.

— Больно хорош! — обрадованно воскликнул капитан Веденеев, очевидно вспомнивший о своих ребятишках.

— Какой толстяк, — добродушно заметил Черемыш.

— И веселый, — прибавил кто-то третий.

— Он что у вас, в Ленинграде? — спросил Левушкин, откуда-то знавший, что Ленинград — родина Ярового.

— Был в Ленинграде, — ответил лейтенант и вдруг нервно забарабанил пальцами правой руки по коленке.

— Почему вы говорите «был»?

Яровой притронулся к воротнику гимнастерки, но тотчас же отдернул руку.

— Потому, что его теперь нет, — ответил он тихо, бесстрастным голосом, в котором не было ничего, кроме сильной усталости. — Вы помните сообщение о первом

крупном налете «юнкерсов» на Ленинград? Фашистская фугаска попала тогда в дом. Сын и жена... — Голос его оборвался...

Яровой поднял голову, и летчики, обступившие нары, увидели его глаза... И каждый подумал в ту минуту, что, очевидно, такими они бывают, когда Яровой идет на цель на своем «Иле» и жмет на гашетки, обрушивая на врага снаряды и бомбы...

Эдуард Мянник. СТАЛЬНОЙ ТРОС

Вскоре после Великой Отечественной войны мне пришлось поехать в качестве газетного корреспондента в одну из приморских деревушек. Я увидел здесь кучку серых, побуревших от дождя и ветра домишек, несколько чахлых деревьев и скудные песчаные поля. Рыбацкая артель получила новые ставные невода и лодки и теперь праздновала это событие. В глазах людей снова засветилась надежда. Бородатые деды усмехались, посасывая трубку, а председатель артели сказал:

— Приезжайте-ка лет через пять — не узнаете нашу деревню! Жить начнем, выползем из-под серых крыш на солнышко.

На следующее утро мы пошли пройтись по деревне. Внизу дышало тяжелое, по-осеннему свинцовое море. Вдали рыбаки испытывали новые лодки. Женщины и даже ребятишки вышли посмотреть на них. У околицы, там, где шоссе сворачивало вниз, к самому берегу, мое внимание привлекли развалины сгоревшей избы. По-видимому, здесь когда-то стояла маленькая хибарка, серенькая, под замшелой крышей, с покосившимися углами и подслеповатыми, крошечными окошками, такая, каких было немало на окраине деревни.

— У вас был пожар? — спросил я председателя.

— Это лачуга матушки Тоола, — вдруг став серьезным, ответил председатель. Он остановился у пепелища и обнажил голову, словно хотел почтить кого-то. И, помолчав, добавил: — Вам бы надо послушать эту историю... это будет рассказ о тяжелом прошлом, о тех

днях, когда на нашей земле бесчинствовали немецкие оккупанты.

И здесь же у околицы, на давнем пожарище, я услышал эту историю.

Матушка Тоола, вдова рыбака, была старушка лет шестидесяти, маленькая, проворная, вечно в движении, точно чайка над морем. Двадцать лет назад муж ее, выйдя на лов тюленей, не вернулся с моря. С тех пор матушка Тоола жила одна с сыном, большим и сильным парнем, который тоже был рыбаком, как его отец, дед и прадед.

Теперь Айнтс стал кормильцем. С тринадцати лет он ходил в море, хозяйничал в убогом домишке на побережье, открытом всем ветрам.

Безвременная гибель мужа заставила мать еще крепче привязаться к сыну, еще больше о нем заботиться, окружить его суровой любовью, свойственной таким вот маленьким, морщинистым поморянкам. Все эти двадцать лет Айнтс оставался для нее ребенком, малышом, который так и не стал взрослым; она ждала его темными ночами, затеплив на окошке мерцающий огонек, а когда наконец встречала вернувшегося, руки ее дрожали — руки матери, истомленной ожиданием.

Настали тяжелые дни оккупации.

На побережье приехал на мотоцикле грузный белобрысый унтер-офицер с обрюзгшим лицом и рыбьими глазами. Он отдавал приказы, распоряжался ловом, забирал большую часть рыбы для немцев. Иногда он бывал пьян, правда, почти не пошатывался, только глаза краснели и застывший взгляд всюду искал врагов. Он знал, что его ненавидят. И в пьяные минуты это сознание порождало в нем какой-то неотвязный, непреоборимый, панический ужас. Этот страх особенно разрастался, когда немец оказывался один на открытом побережье или ехал ночью проселком. Иногда он просто

замирал от ужаса, увидев колеблющуюся тень от сетей или услышав над головой шелест листьев.

Однажды в сумерки, когда он, держа револьвер наготове, проносился на мотоцикле через деревню, у самой околицы из густой тени домов перед ним возникла высокая фигура. Он разрядил в нее револьвер и, не оглядываясь, промчался дальше.

Это был Айнтс, сын матушки Тоола, возвращавшийся с берега.

Когда соседи внесли раненого в избу, мать бросилась к нему на грудь. Она обхватила его руками, зарыдала душераздирающим голосом, стала рвать свои редкие седые волосы, выкрикивая бессмысленные слова. Соседям показалось, что матушка Тоола лишилась рассудка. Что-то надломилось в ней, она была воплощением отчаяния, эта маленькая женщина с побережья.

На другой день Айнтс умер.

Похоронили его тихо, почти незаметно, как повелось в те тяжелые дни. На могилу пришли немногие, большинство предпочитало держаться подальше от этого происшествия. Но вечером во всех окошках деревни мерцали свечи. Это был старинный обычай: когда-то в давние времена люди также зажигали огоньки на окнах, если в открытом море боролся со штормом обреченный на гибель корабль. Эти огоньки были как успокойная молитва о душах погибших.

И теперь эти древние язычки пламени снова мерцали в каждом окошке.

Матушка Тоола увидела их, и из глаз ее полились слезы.

Но в то же время стан ее распрямился, голова гордо откинулась назад, холодной сталью блеснули серые глаза. Она одиноко брела по деревне, и прохожие слышали, как она бормотала:

— Спасибо тебе, отец Кивира... спасибо тебе, семья Лаутре... спасибо тебе, тетушка Элизе... спасибо, хозяин Лооди. Айнтс этого не забудет.

И она склоняла перед каждым огоньком свою седую голову, словно за каждым окном стоял человек и слышал ее шепот.

С той поры в деревне стали говорить, что матушка Тоола немного помешалась.

Она часто бродила по берегу, словно чего-то искала. Но берег был пустынен, лишь ветры проносились над ним и волны плескались о камни. Иногда она останавливалась, выкапывала камень из песка и приподнимала его. Но тотчас же снова бросала на землю — камни оказывались либо слишком легкими, либо слишком тяжелыми для ее угасшей силы. Но если она находила подходящий камень — с острыми зубчатыми краями, который в сильных руках мог бы стать страшным оружием, она подолгу его разглядывала. А потом роняла на землю, и вокруг ее рта ложились горькие, покорные складки. В эти минуты казалось, будто она нашла то, чего искала, но чувствует себя слишком слабой, бессильной выполнить замысел, который жег ей душу.

Потом матушка Тоола перестала искать камни.

Она бесшумно двигалась по своей хижине, заходила в клеть, в сени, обходила вокруг хлева, зорко вглядываясь во все. В кухне валялся топор, старый, ржавый финский топор, которым с незапамятных времен кололи дрова. Его сбитый обух и тупое лезвие не нравились матушке Тоола. Во дворе стояли вилы, косы — те совсем не годились. За сараем висел лом, но и он не отвечал ее цели. Все это были убогие, негодные, случайные орудия; горящие глаза и сердце матушки Тоола не доверяли им. Она страстно искала способ верный, безошибочный, как пуля, что бьет без промаха, пущенная метким стрелком.

Однажды вечером она пришла в избу деда Кивира.

Дед был один дома. Слабый отсвет огня из топившейся печки красноватыми пятнами ложился на пол. Старый охотник на тюленей грел у огня свои натруженные руки. Увидев вошедшую, дед удивленно поднял голову и сказал, указывая на скамью:

— Садись, матушка Тоола.

Она села и долго молчала, словно ждала, пока огонь в печке погаснет. Потом спросила со своей скамьи, почти погруженной в сумрак:

— Хозяин, ты когда-то был самый знаменитый тюленщик на всем побережье?

Дед кивнул в ответ:

— Было дело.

— Мой муж рассказывал, что у тебя есть такое ружье, из которого можно попасть тюленю в глаз за полторы сотни шагов.

— Да, и это было, — снова ответил дед.

Потом оба молчали, пока печка совсем не погасла. Только угольки еще тлели, красивые красные угольки, словно воспоминания о чем-то далеком. И наконец, словно додумав свою думу, дед Кивира проговорил:

— И к чему ты обо всем этом спрашиваешь, матушка Тоола? Наш с тобой разговор — как эти потухающие угли. Теперь бы я, верно, не смог и с тридцати шагов попасть в тюленя, а ствол ружья источила ржавчина, стал он тонкий, как бумага; не знаю даже, выдержит ли выстрел. В стрелки мы уже не годимся — ни я, ни мое старое ружье.

В печке погасли и последние угольки. Стало темно, и комната показалась низкой и тесной, как ящик. Матушка Тоола поднялась, постояла немного и сказала:

— Ну что ж, надо мне идти. На дворе уже ночь. Еще споткнусь и упаду, ноги у меня теперь не такие крепкие, как раньше.

— А руки еще слабее, — отозвался из темноты дед.

Матушка Тоола пошла на этот раз берегом. Сквозь тучи проглядывала полоска месяца, бледный осколок, точно потухающий фонарь. Тропинка едва виднелась, но некоторые камни на берегу казались совсем белыми. К своей лачуге она стала подниматься по каменистой дорожке. Но едва сделала несколько шагов, как что-то больно ударило ее под подбородок, прямо в шею. Матушка Тоола упала, резкая боль обожгла правую руку. И она стала в темноте искать то, что так неожиданно сбило ее с ног. Это оказалась натянутая между двумя кольями веревка.

— Веревка... самая обыкновенная веревка... — прошептала она, ощупывая веревку, словно какую-то диковину.

Потом, позабыв обо всем остальном, она торопливо пошла к дому.

Врач забинтовал раненую руку, матушка Тоола носила ее на перевязи. Кость оказалась сломанной, и люди считали, что у такого старого человека она и не срастется как следует, работать этой рукой уже нельзя будет. Но матушку Тоола это не пугало. Она повеселела, в ней светилось какое-то торжество. Словно она в конце концов нашла то, что так долго искала на берегу, в своей лачуге, в сумрачной избе деда Кивира.

Через два месяца она уже могла немного двигать пальцами. Тогда она спустилась на берег, к лодочным сараям, где рыбаки как раз докуривали свои вечерние трубки.

— Люди добрые, дайте мне кусок стального троса, — сразу попросила она.

Рыбаки взглянули в глаза матушки Тоола. Они знали о ней многое, знали, что сжигает ее сердце, угадывали

ее тоску, которая долгие месяцы заставляла ее метаться и искать утolenия своей боли.

— А зачем тебе трос? — спросили рыбаки.

— Буду в хозяйстве порядок наводить, — огрызнулась старуха.

— Нет здесь никакого троса, — ответили рыбаки и стали расходиться по домам.

Только дед Кивира замешкался в сарае. Когда все разошлись, он вытащил откуда-то кусок тонкого стального троса длиной в две-три сажени и выбросил его за дверь сарая. Потом продолжал возиться, перетаскивая с места на место какие-то ненужные вещи, а сам слушал, как торопливые шаги матушки Тоола удаляются по каменистой тропинке. Выйдя из сарая, он увидел, что троса за дверь уже нет.

Теперь матушка Тоола часто стояла у порога своей лачуги. Как раз здесь проходила дорога, по которой повозки спускались на берег. Здесь проезжал и немец, этот белобрысый носитель власти, с обрюзгшим лицом и рыбьими глазами. Казалось, он стал еще трусливее, чем раньше. Теперь его всегда сопровождали два солдата, пешие; иногда один из них сидел за его спиной на мотоцикле. Обычно к тому времени, когда «тресковый глаз» приезжал на своем мотоцикле на берег, его спутники уже были там.

Матушка Тоола часто видела, как быстрый мотоцикл прорезал шоссе. Он пролетал мимо нее как ветер и исчезал на берегу, а по вечерам — в темнеющей улице деревни. А за ним, подымая на шоссе пыль тяжелыми сапогами, проходили двое с ружьями. Было время осеннего лова, и они появлялись в деревне каждый день. Иногда оставались до сумерек, до темноты, пока не заканчивали свои дела.

Об этом знали в деревне все, знала об этом и матушка Тоола. И, стоя в воротах, она поджидала, что-то прикидывала в уме, настороженно смотрела на

проносившийся мотоцикл сквозь щелочки прищуренных глаз. Иногда она оказывалась настолько близко от мотоцикла, что ветер развевал ее юбку. Немец, проезжая, что-то кричал ей и грозил револьвером, но матушка Тоола не обращала на это внимания. Она подходила к воротам и делала на столбе какую-то отметку. Эта отметка приходилась немного выше ее груди, а человеку, сидящему на мотоцикле, она пришлась бы как раз под подбородком.

И однажды вечером это случилось.

Были уже сумерки, когда мотоцикл отъехал от берега. Немец торопился. Он крикнул что-то своим спутникам и дал газ. Мотоцикл пронесся по темной дороге в гору, свернул направо и помчался к деревне. И тут вдруг раздался странный звук, точно пила срезала гнилое дерево. Мотоцикл отлетел влево, в канаву, а немец скатился на дорогу.

Прибежали его спутники, решив, что случилась авария. Они попытались поднять унтер-офицера и вдруг увидели, что у него полголовы словно отрезало. Здесь произошло что-то непонятное, страшное, чему они не могли найти объяснения.

И в эту минуту в нескольких шагах от них раздался смех, потрясающий, вырвавшийся из глубины души смех.

Это, стоя у своих ворот, смеялась матушка Тоола.

Председатель рыбацкой артели закончил свой рассказ так:

— Фашисты нашли протянутый через дорогу стальной трос и тут же застрелили матушку Тоола. Потом подожгли ее лачугу, и теперь на этом месте одни обгорелые развалины. Но в ту ночь в каждом окошке мерцал огонек... за упокой души матушки Тоола.

Николай Грибачев. ДЕНЬ И ДВЕ НОЧИ

И сказал Староиванников:

— Безногий душой крыльев не придумает...

И еще:

— Многие ловили ртом ворон, но не было случая, чтобы кто-нибудь поймал...

В октябре сорок первого в инженерной части, строившей оборонительные рубежи под Тихоновой Пустыней, мне дали командировку в Москву с дополнительным поручением купить патефон с пластинками, несколько настольных часов и керосиновые лампы. Теперь я искренне удивляюсь нелепости этого заказа,— до того ли было-то! — но в то время и командировку и заказ принял с легкой душой. На Тихоновой Пустыни поработали немецкие бомбардировщики, на части станционных путей рельсы были скручены взрывами, тяжело чадил горевший элеватор. Пассажирские поезда не ходили, и я отправился в свою недлинную поездку, не зная, что уже никогда не возвращусь назад, на обычном товарняке, который то, словно угорелый, лязгая и раскачиваясь, летел на всех парах среди роняющих листву перелесков, то — дорогу бомбили — подолгу зря пыхтел на полустанках или на середине перегона. Соответственно и высадился я на станции Москва-Товарная и оттуда по ночным путям и путанице стрелок, так ни разу и не наткнувшись на проверку документов, — тоже удивительное дело! — прибыл в град столичный.

А затем все завертелось и закружилось: командировка кончилась, закупки были произведены,

но началось наступление немцев, часть исчезла, словно щепка в водовороте, и я безрезультатно, насидевшись предварительно в коридорах, пытался разузнать о ней по военным учреждениям, где самым стереотипным ответом было: «Не до вас!» Два раза доезжал я до Малоярославца, вел расспросы в штабе какой-то армии — связаться помог поэт Сергей Фиксин, работавший в военной газете, — но все было напрасно. Я потерялся, как мальчишка в давке. И вдобавок меня угнетала тяжелая поклажа — слава богу, что хоть керосиновых ламп не нашлось! — и особенно часы с недельным заводом, которые продавщица, перед тем как завернуть, закрутила на полную катушку. «Тик-так, тик-так!» — слышал я в узкой и сырой щели перед тем, как рвануть бомбам; «тик-так, тик-так!» — раздавалось над ухом, когда я прятал голову за пакетом во время пулеметного обстрела. Но, странное дело, когда часы наконец остановились, я вместо облегчения испытал щемящую тоску; молчание их усиливало чувство одиночества и напоминало о том, сколько времени уже прошло зря.

В таком состоянии подавленности и сидел я перед вечером хмурого дня на Киевском вокзале, где, за неимением другого пристанища, обычно и ночевал. Пахло здесь шинельным сукном, оружейным маслом, кожей, табаком. Здание вокзала, похожее на огромную сумеречную пещеру, сбивало голоса, шорох шагов, покашливанье, звяканье металла в один комок глуховатого гула, который не помещался в ушах. Пол шевелился от спящих вповалку солдат, солдаты толпились у газетных киосков и касс, выходили на улицу и входили — казалось, за стенами ворочается серый океан, вкатывающий и отсасывающий одну и ту же волну. Пожилой солдат напротив меня, сняв пилотку и пригладив темные волосы на лысеющей голове, шевелил черными усами, обнажая два металлических

зуба, говорил соседу, молодому парню со сдобными щеками:

- Ка-ак жажнет бомба сюда, а? Месиво будет
- Чего бомба? — беспокоился молодой.
- Если бы, говорю, кинули.
- Так самолетов-то нет, тревогу не объявляли.
- Нет. Я к примеру.
- Стращаешь, значит...

Слева от них разбитной худенький солдат в расхристанной шинелишке толкал в плечо посапывающего соседа.

- Слушай, пиво дают... Слышь?
- Какое такое пиво?
- Обыкновенное. По кружечке перед дорогой, а?
- Где дают?
- Да тут за углом.
- Денег нет у меня.
- Да есть деньги, слышь? У меня. Ведь когда его, этого пива, потом и выпьешь,
- А место?
- Чего место?
- Вопрутся. Соображаешь?
- Так мы сидоры оставим и присмотреть попросим. Слышь? Пошли...

Постепенно, убаюканный гулом и голосами, я стал дремать и очнулся оттого, что между мной и соседом мягко, но настойчиво втискивался кто-то в кожаном реглане. Я подвинулся сколько мог, даже не посмотрев, мне было все равно.

Лишь спустя некоторое время в поле моего зрения попала нога, обутая в стоптанный, но с шиком начищенный сапог, — она то осторожно выдвигалась в узкую щель между двумя спящими солдатами, то подгибалась и пряталась.

— И сказал Староиванников, — слышался молодой басок, — лучше всего носить свою ногу в

кармане соседа, но так как никто этого не разрешает, приходится аккуратно наворачивать портянки. Болит.

— Почему? — машинально спросил я.

— Натер, когда драпал...

Бегство на фронте мне в это время казалось крайне предосудительным, и я с некоторым недоумением посмотрел на моего нового соседа, который так непринужденно и без нужды признавался в этом. Он был в потертом кожаном реглане, недавно побрит, серые глаза смотрели внимательно и добродушно. Лицо с запавшими щеками, в отходящем загаре, подбородок мягкий, не из волевых, нос с мясистыми крыльями, чуть вздернутый. Словом, обличье из тех, что восемьсот на тысячу.

— Хотите сказать, когда отступали? — попытался уточнить я.

— Нет, драпал. Вам еще не приходилось?

— Не приходилось. И далеко вы это самое... драпали?

— Из Вельских лесов.

— Где это?

— Где-то близко от Белоруссии... Бабы кормили похлебкой меня, деды снабжали самосадам. А вы тут поезда ждете или смысл жизни ищете?

— При чем тут смысл жизни?

— Да так... Теперь многие увлекаются: быть, не быть?

— А вы?

— Какой из Васьки принц датский! Я часть ищу. Потеряла меня и в бюро находок не заявила.

Рассказал: он лейтенант, авиатехник, был оставлен при поврежденном бомбардировщике в этих самых Вельских лесах — караулить, пока не вытащат. Досиделся до прорыва немецких танков, которые расстреляли бомбардировщик вторично, а сам он, поняв, что попал в окружение, «ширнул по лесам» и

больше четырех недель, сторонясь больших дорог, пробирался к своим. Три дня назад заехал в Кубинку, жены нет, дом вверх дном и щепки по дороге — разбомбили. Выяснилось, однако, что жена жива, уехала. В Москве толку никакого не добился, эвакуации да пертурбации, но один майор сказал, что видел два дня назад какой-то аэродром неподалеку от железной дороги Наро-Фоминск — Малоярославец.

— Махнем вместе, а? — предложил он, когда я, в свою очередь, изложил ему мою одиссею. — Как говорил Староиванников, лучше молчать вдвоем, чем петь одному.

— Что это за древний мудрец такой — Староиванников?

— Он не древний, он комиссар нашей части. Худущий такой майор, но толковый, присловья любит. Вот и пошло: «Как говорил Староиванников». Так махнем? Главное — хоть за что-нибудь зацепиться, тогда и весь клубок легче разматывать.

— Я уже наездился. От свертка на руках кровавые мозоли.

— А что в нем?

Я рассказал.

— Сверток придется оставить, — решил он. — Музыка нам теперь и без патефона хватит.

— Казенное имущество.

— Из личных средств возместите. Водятся еще? А нету — потом отработаете. За маневренность в такую пору никакая цена не дорога.

Идея совместной поездки мне понравилась, но я все же решил посоветоваться с комендантом вокзала: нельзя ли сдать сверток под расписку? В делах войны и обстановке я в то время разбирался столько же, сколько щепка в причинах и уровне половодья, которое ее несет. Комендант долго смотрел на меня шальными от бессонницы глазами, буркнул:

— Придумаете, веревку с пожара тащить... Положите ваш сверток в коридоре, караулить там некому, но и красть тоже. От нас теперь одна дорога — на фронт!

Я опасливо посмотрел в коридор. Народ тут толкался круглосуточно, да что же делать? Сунул сверток на подоконник, мысленно попрощался с ним и вышел. Теперь я так же, как и мой попутчик, был только с легким, почти ничего не весившим вещмешком: пара белья, бритва, мыло, носовые платки и две булки.

— А теперь пошли харчиться, — предложил лейтенант.— На пустой желудок и мысль не бежит...

Ресторан при вокзале, не тот, что теперь, а со стороны нынешних пригородных касс, работал исправно и даже не был переполнен. Мы поели, выпили бутылку вина, за которым перешли на «ты», — водки, между прочим, не подавали — и в сумерки сели в поезд. На вагонах еще было написано «Москва — Киев», но в пути нас предупредили, что дальше Наро-Фоминска движения уже нет. Там мы и вылезли, попросившись на постой в первый попавшийся дом, переночевали на полу. Затемно попили чаю, прикончив две мои булки, а на рассвете, сизом, в голубоватой изморози, нашли в районе вокзала полуторку, шофер которой, заведя ручкой мотор, собирался залезть в кабину. Машина шла на Чубуково, оттуда — в район Боровска.

— Подходит, — сказал попутчик.

— В кузове у меня взрывчатка и детонаторы,— предупредил шофер.

— И что?

— Бомба попадет — кинет выше облаков.

— Попадет — и так кинет. Сам-то едешь?

— У меня служба.

— И нам не на курорт.

— Мне же веселее, — засмеялся шофер. — О чем речь?

Солнце, казалось, продиралось с трудом сквозь морозный туман, но, продравшись, быстро превратило иней в росу, весело блестящую на буром жнивье и рыжих листьях березок. Дорога тоже заискрилась бликами, но стала скользкой, пришлось сбавлять скорость. Между тем с каждой минутой все настойчивее, все злее гудели в небе немецкие самолеты. Ни до этого, ни после во время войны не видел я столько авиации в одном месте — казалось, кто-то раздражил гигантский рой ос и они, с желтизной по брюшку, с алюминиевым мерцанием крыльев, назойливо и упорно жалили, кусали осеннюю землю, пытавшуюся перед тем, как отойти ко сну, погреться на солнышке. Кое-где поднялись дымы пожаров, и самый большой — в районе Наро-Фоминска: там, вспомнили мы, стояли на путях цистерны с нефтью.

Лишь часам к одиннадцати или двенадцати выбрались мы на шоссе у Чубукова, и картина, открывшаяся нам, могла только повергнуть в уныние: по самому шоссе и по обочинам, всячески прижимаясь к дубнякам и березнякам, двигались сплошным потоком отступающие войска — артиллерия, машины, обозы, кухни, пехота. Со стороны казалось, что потоком этим никто не управляет, а хлещет он сам, как вода из пробитой плотины, и ни остановить его, ни направить в разумное русло невозможно.

— Драпают, — еще стесняясь этого слова и ужасаясь его смысла, сказал я. — Драпают, а мы что же?

— Кто драпает? — неожиданно сухо вато переспросил лейтенант.

— Да вот...

— Нет, это отход по приказу. Когда драпают — там каждый сам по себе, куда глаза глядят. А глаза глядят, но не видят...

На выезде из Чубукова нас остановил капитан погранслужбы, спросил, куда едем, потребовал документы. Сказал:

— Зря едете. И груз тащите зря.

— Фронт далеко?

— Он движется, фронт. Смотреть умеете?

— Мы все же поедем, — сказал попутчик.

— Мое дело — предостеречь.

— Не тому дождя бояться, кто в воде по горло, а?

Поехали...

По правде сказать, я уже стал раскаиваться: и поупок лишился, и часть найти в таких условиях невозможно, и, по всей вероятности, аэродром, который якобы должен находиться впереди, не более как химера. Уж на это и моей сообразительности хватало!! Однако говорить попутчику я ничего не стал: чувствовал, что переубедить его не удастся, а остаться одному, примкнув к отступающим, лишиться товарища и последней, хотя бы мифической цели было даже страшнее, чем двигаться вперед. К тому же спокойная езда почти тут же и кончилась, и началась цепь происшествий, в которых я никакой самостоятельной роли не играл, был бычком на веревочке.

Началось с того, что на подъезде к мостику через небольшую речонку мы заметили, что идущую на подъем дорогу словно бы разметают гигантской метлой — машины притирались на обочине, люди, как листья под ветром, сыпались в кюветы. Шофер наш первым оценил щекотливость положения — машина находилась у моста, самого соблазнительного места для бомбежки, — и кинулся в лес направо. Мы с попутчиком, побросав вещмешки, побежали налево — я по лугу, поближе к речке, он подальше, по низкорослому дубняку. Самолетов мы все еще не видели, они шли низко над лесом, но по гулу можно было догадываться, что их много. Мы уже отбежали шагов на пятьдесят, когда

раздался грустный, какой-то по-осеннему тоскливый свист фугасок. Не рассудочно, а почти кожей, физически ощутив близость бомб, я ткнулся в побуревшую травку, почувствовал влажный запах торфа и трефоли, закрыл щеки брезентовыми зелеными рукавицами с двумя пальцами на каждой. Затем страшный удар сотряс почву, краем глаза я успел увидеть, как земля разверзлась и стала дыбом, вверху что-то лязгнуло и заскрипело, — или это мне показалось? — меня стукнуло в спину, и я с последней мыслью, что всему конец, провалился в коричневую болотную тьму...

Очнулся я лежащим на спине, в глаза больно ударил синий свет из облачных промоин. Самолеты — а их было около тридцати — еще были поблизости, а мой попутчик отирал мне лицо куском бинта. Увидев, что я открыл глаза и пришел в себя, сказал:

— Совсем тебя торфом завалило и сучьями закидало, только сапоги и торчали наружу. Ран нет, я уже просмотрел, но малость приконтузило.

— Странно, что не убило.

— Ничего странного — все по закону. Бомбы упали почти рядом и кучно, но глубоко ушли в торф. И оказался ты в мертвой зоне для осколков. — Забеспокоился: — Кто-то бежал почти рядом справа от меня, а не видно.

— Может, ушел?

— Нет, я присматривался. Вставай-ка и пошли искать.

В голове у меня шумело, как на праздничном базаре, издали звонил какой-то колокол, но жить было можно. Приходилось только отирать платком кровь, сочившуюся изо рта и носа, — была неприятно солоновата и щекотала. В редких молодых дубках мы нашли сержанта, совсем молоденького, с пушкой на щеках. Пилотка свалилась, ветер лоснился по русому

ежику головы, вещмешок с какими-то мазутными пятнами сбился на шею. Он был без сознания, подплывал кровью — крупный осколок попал в бок чуть выше бедра.

— Не успел вовремя лечь, — вздохнул попутчик.— Я займусь им, а ты беги искать врача, там недалеко от нас я санитарную машину видел. Поскорее!

Санитарную машину я нашел, но в ней никого не было; самолеты все еще обстреливали дорогу. Стал кричать. Из березняка, стряхивая с гимнастерки желтые и красноватые листья, вышел майор медицинской службы — высокий, с длинной жилистой шеей и при всем том с брюшком, уверенно круглившимся под плохо затянутым ремнем, и сестра, невысокая, круглолицая и румяная — яблоко с глазами.

— Возьмите носилки и несите его сюда, — приказал врач, узнав о раненом. — Так быстрее будет.

— Может, и я схожу? — спросила сестра.

— Иди.

— Меня зовут Тоня, — представилась она, едва мы перешли кювет. — Доктор у нас толковый, вы не беспокойтесь. Только пистолета не носит, а без пистолета какой военный, верно? Вот вы при пистолете — другое дело.

— Давно на фронте?

— А мы на фронте и не были, только приехали — отступить приказали.

Раненого, который так и не приходил в сознание, втроем донесли до машины.

— Шок, — сказал майор. — И ранение серьезное. Тоня, йод, шприц, бинты — живо! А вы, лейтенант, можете двигаться.

— Будет жить сержант?

— Прооперируем — увидим. Топайте по своим делам, привет!..

Над дорогой снова шли самолеты. Лицо сестры побелело от страха, черные глаза округлились, как две залитые тушью буквы «о», но хлопоты она свои продолжала. Врач уже не обращал внимания ни на трескотню, ни на нас. Мы пошли к машине, а когда примостились снова в кузове на взрывчатке, попутчик сказал:

— Вовремя нос в землю сунул, иначе имел бы дырки в голове. Практику где проходил?

— В Смоленске, в Ярцеве и в других местах.

— Опыт — вещь! Вот наберемся — попищит у нас фриц!

— Думаешь, и отступаем потому, что опыта не хватает?

— Ну, не совсем так просто, но отчасти и так. Немцы до нас кое-чему в Европе научились, а у нас и кадровики практиковались только на мишенях. Полигонная психология! Такому всегда кажется, что каждая пуля и снаряд в него летят, каждый самолет его персонально ищет. На себе испытал. А привыкнет — и не так страшен черт. Немца живого вблизи видел?

— Парашютиста пленного. По улице вели. С кипрским загаром, сволочь, картинно шел, как на параде.

— Вера у них в себя есть! А в общем, ничего особенного, тоже на двух ногах ходят. И пуля хорошо берет. Когда я от самолета в лес чесал, за мной один покатился — из десанта на танке. Шустрый на ногу. Мундирчик расстегнут, грудь рыжей волосней наружу. Из автомата посыпает, кричит что-то. Я чувствую — вес у меня побольше, не уйти. Прилег за сосной, подождав малость, и стукнул из пистолета. Результат обыкновенный — свалился. Другие же и гнаться перестали, поостереглись... Ничего, при выдержке бить можно!

— Это, наверное, приятное сознание — самому убить врага.

— Ничего, между прочим, интересного. Не о нем, а о себе думаешь. А он как наваждение, если бы можно было крестом откреститься, и стрелять не стоило бы. Но, как говорил Староиванников, на погосте живучи, всех не переплачешь.

— Это не Староиванников, а Лесков.

— Разве? Тоже умен был!..

За железнодорожным переездом, где нас накоротке еще раз пробомбили, свернули вправо и мимо какого-то заводика, по дороге в густой еще зелени ракит попали прямо на край полевого аэродрома. Шофер на полуторке сразу же уехал, мы с лейтенантом остались. Отсюда, с края аэродрома, открывалось много любопытного. Левее, к Верее, и правее, к Боровску, далеко, насколько хватал глаз, лежали темносерые пятна полей среди рощиц, словно бы выполненных из старой бронзы — желтизна с прозеленью. Среди них в разных местах поднимались одинокие столбы дыма — горели села. Еще дальше, у края горизонта, все было затянуто пылью, копотью, дымом, будто на землю всей тяжестью осела грозная туча, в которую пикировали самолеты — и наши и немецкие. Оттуда шел ровный, напористый гул. Примечательно выглядел сам аэродром. Над ним не спеша, переваливаясь с крыла на крыло, баражировала «рама», не обращая никакого внимания на очереди одинокого пулемета, проходили по шесть и девять штук немецкие бомбардировщики. Но зениток наших не было. Не было и ни одного самолета в воздухе. Зато слева, у края аэродрома, около выключенного шлагбаумами куска дороги, стояло около полутора десятков новейших истребителей.

— Интереснейшие дела! — присвистнул мой попутчик. — Что у них тут, выставка? Действовать так могут только сумасшедшие или предатели.

Справа, в тени берез, шла погрузка имущества на грузовики. Попутчик мой раздраженно спросил, где начальник, и младший лейтенант молча показал на землянку невдалеке. Возле нее на обрубке бревна сидел, подперев щеку рукой, подполковник, осунувшийся, небритый, словно изжеванный. Сначала он даже не заметил нас, не ответил на приветствие, и только когда попутчик мой заговорил, спрашивая о своей части, порывисто, словно спросонья, вскочил:

— А? Лейтенанты... Чем могу служить? Летать умеете?

— Нет.

— А нет — так и катитесь своей дорогой.

— Я авиатехник, — спокойно, хотя глаза его сузились и стали злыми, сказал мой попутчик. — И хотел бы узнать, почему не летаете. Истребители неисправны?

— Исправны, — отходя от раздражения, махнул рукой подполковник. — Исправны. Только летать некому. Вчера так на земле накрыли нас, что... — Он горько покачал головой. — Запросил вот, жду. Гадай, когда летчики прибудут. Может, с минуты на минуту, а может... А немец прет... И обратите внимание: эти по аэродрому прямо брюхом ползают, но самолеты не бомбят и не обстреливают. Почему?

— Ясно почему, — кивнул попутчик. — Ясно... Может, по земле их увести! Грузовиками?

— Смотри, умник какой, без тебя не додумались! На чем уводить? Грузовики где?

— Вон с передовой сколько идет.

— Ага, идет, — на четверть километра левее. Мы тут в свое время дорогу отключили, шоферы проложили прямую через поле, и теперь их завернуть сюда никакой силой невозможно. Из пекла вырываются, на поле немецкие самолеты гоняют, смерть в глазах пляшет,

вот и прут, ни на что не глядя. Я сам пробовал завернуть, пистолетом грозил — не помогает...

Попросив разрешения, попутчик тоже присел на бревно, смотрел отрешенными глазами, как суется носом в березняки «рама», выискивает, вынюхивает. Под Вереей и Боровском все так же стояла туча дыма и копоти, а с юга натягивало другую, натуральную, с аспидными отсветами.

— А давайте еще раз попробуем, — вдруг сказал он. — У нас сапер есть, — кивнул он на меня.

— Сапер не пограничник. Пограничника бы.

— Сапер лучше. Заминируем ту дорогу и сделаем объезд сюда.

— А мины где?

— Мин и не надо. Покопаем малость, поставим указатели объезда. Конечно, многие шоферы в Финляндии поднаторели, проверить могут. Но раз тут сапер, какой разговор...

Подполковник оставался все таким же мрачным, но, как утопающий за соломинку, ухватился за эту идею, поскольку придумать что-либо еще было уже невозможно. Пока младший лейтенант с двумя солдатами тесал колышки и дощечки, мы пошли искать столовую. В дощатом бараке, где она помещалась, между скамейками и столами гулял ветер, все двери и окна настезь. Повар, с лицом, побитым оспой, суетился и покрикивал, заканчивая погрузку своего снаряжения на две подводы.

— Что, закрылись по случаю учета? — подмигнул повару попутчик, не встретив решительно никакого сочувствия. — А мы вот двое суток не ели.

— Ничего нету, — буркнул повар. — И немцы рядом.

— Где?

— Выйдите да поглядите.

— Выходили и глядели. Вместе с бригадой.

— Какой бригадой?

— С танковой. С ней и пришли. Только кухню у нас разбомбило, а мы два дня форсированным маршем шли.

— И много танков?

— Говорю, бригада. Хватит, чтобы фрицам по морде дать.

— Холодной наваги есть малость. Ну, хлеб еще. И селедка.

— С детства обожаю рыбу! — засмеялся попутчик.

Миски уже были уложены, забрали продукты в газету и поели на досках возле барака. Затем, погрузив на подводу колышки и дощечки, затесанные в виде стрелок, с надписью «Мины. Объезд влево», вместе с подполковником и младшим лейтенантом отправились к перекрестку, где полевая дорога через ракитовые кусты выскакивала на шоссе. Покопали для проформы лопатой, улучив момент, когда машин не было, подполковник с младшим лейтенантом стали вбивать указатели вдоль посадки в направлении аэродрома. Мы остались на месте, с тревогой ожидая, что получится из нашей затеи. Первый же шофер, чумазый, без пилотки, с разъяренными глазами, дал бой.

— Вредительство! Своих на минах подрывать!

— Осторожней на поворотах: не вредительство, а приказ.

— Тут и мин нету... Липа!

— Вон сапер стоит, спроси.

— Все равно не верю.

— Тогда езжай. В раю встретимся!

— И поеду.

— Давай!

— И поеду...

— Тьфу...

Давно известно, что ввязаться в словопрения, когда надо действовать, — значит потерять энергию решимости. С шофером случилось то же самое: сначала

он осторожно, на первой скорости придвигался к свежим бугоркам земли, изображавшим мины, потом притормозил, потом сдал назад и, развернувшись, набирая скорость, покатыл к аэродрому, продолжая ругаться и кричать, что это обман и ничего более, что вот и немцы бьют, и свои ноги ломают. А там уткнулся в шлагбаум и минут десять спустя проехал мимо нас уже по другую сторону посадки, с истребителем на буксире. Следующий шофер был уже покладистее, поскольку видел свежий след, а пятый завернул уже автоматически, не глядя на нас и почти не сбавляя скорости. К тому же начался довольно плотный дождь, немецкой авиации не было, и страсти поулеглись. Через час с небольшим, когда небо уже начинало светлеть, хотя и оставалось дымным, последний истребитель исчез в зелени посадки. Подполковник, довольный, подобревший, поблагодарил нас:

— Спасибо, ребята, что помогли! Пойдемте к нам в часть, а?

— Грехи не пускают, — засмеялся попутчик. — А вот если бы вы приказали нам по сто граммов выдать, не отказались бы.

— Нету. Честное слово! Могу белого хлеба дать по буханке на брата и колбасы. Нуждаетесь?

— Мы уже продаттестаты наполовину изжевали.

— Ну и лады...

Теперь оставалась только машина с инструментами и продуктами. На ней уезжал начальник склада. Пригласил ехать и нас с тем доводом, что немцы, судя по всему, недалеко и больше искать нам нечего. Но в этот момент подошла еще одна машина с другого конца аэродрома. Начальник склада спросил, почему нет второй.

— Шофера вон ранило, в кузове лежит.

— А машина?

— Так что машина? Стоит.

— Но побило?

— Исправная.

— Почему не поджег?

— Немцы рядом, человека спасти надо было...

— Ну, что делать, — пожал плечами начальник склада. — Поехали. Садитесь, лейтенанты.

— Знаете что? — оживился попутчик. — Мы с вами не поедем, а заберем ту машину. Я вожу.

— Успеете?

— Может, что и успеем. В крайнем случае в лес уйдем.

— Смотрите сами... Там в землянке, между прочим, медицинское имущество и спирт. Учтите!..

Грузовики ушли, мы остались одни. Я, откровенно сказать, побаивался и опасался, что это уже авантюра. Но за сутки, проведенные вместе, я, по-видимому, уже попал под влияние попутчика, настроился на его психологический тонус, да к тому же, видя, как просто выходит он из затруднений, как здраво ко всему относится, проникся к нему доверием. Поэтому я не стал его отговаривать — да и поздно было, — а попытался приглушить беспокойство шуткой:

— Интересно, что сказал бы в этом случае Староиванников?

— Это мы решим потом, сейчас давай поспешать...

До лесного мыса на противоположном краю аэродрома, где находилась машина и медицинская землянка, было около километра или чуть побольше. Ориентиром служила небольшая деревянная вышка на опушке. Мы закурили и двинулись, не догадавшись даже положить продукты в вещмешки: колбасу сунули в карманы, буханки взяли под мышки. Но не прошли мы и двухсот метров, как низко над пустым аэродромом начала кружить «рама». Сделав первый заход, летчик заметил, что истребители, столь картинно торчавшие у дороги, исчезли. Сначала он, по-видимому, решил, что

их в целях маскировки закатили в березовый лесок, пронесся над ним, едва не задевая колесами за вершины, но, убедившись, что и здесь их нет, пришел в неопишумую ярость. И так как, кроме нас двоих, хорошо заметных на зеленой дернине, никого уже не было, вся эта ярость обрушилась на нас. Заложив крутой вираж, он заходил на покатоe пикирование, со спины, включал на полную мощность пулеметы и рубил, рубил, рубил. Временами казалось, что он просто раздавил нас своим желтым брюхом. Мы прижимались к земле, плюхались в канавки — следы, продавленные колесами шасси, — холодная, грязная вода текла за воротник, пули, как град, пузырили и брызгали вокруг. Как только самолет оказывался впереди, мы вставали и бежали что есть силы, а потом все начиналось сначала. Это была какая-то странная, нелепая, выматывающая душу игра со смертью, причем мы были совершенно беспомощны: не из пистолетов же было стрелять по самолету, который, как мы знали, имел еще и бронезащиту! Но и летчик, видя, что мы все подвигаемся, невредимые, совсем осатанел и, закладывая сумасшедшие виражи, бил уже не только вслед, но и в лоб, и справа и слева, так что голова шла кругом и трудно становилось следить за ним.

Наконец, измученные, грязные, мы заползли под скирду клевера. Аэродром, собственно, уже кончился, но до ближайшего кустарника оставалось еще метров сто. Пробежать их у меня уже не хватало сил.

— Больше не могу, — сказал я. — Крышка...

— Ничего, — утешил, тяжело дыша, попутчик. —
Время еще есть.

— Время — для чего?

— Для... Да для всего!

Однако летчик не хотел отпустить нас так запросто. Со второго или третьего захода он поджег скирду. Я в юности немало повозился со стогами сена и был

удивлен, что, обычно волглое, оно так быстро загорелось. Но факт оставался фактом: на макушке скирды заплясали язычки огня, густой, пышный белый дым, спаленный ровным ветром, потек в лощину и закрыл ее. И это оказалось нашим спасением: немец в самолете, исходя из собственной логики, решил, очевидно, что мы попытаемся вырваться к лесу под прикрытием этого дыма, и строчил по лощине, а мы, перебравшись на наветренную сторону скирды и прикрывшись сеном, отдышали. Наконец «рама» ушла, может быть, расстреляв боезапас. Мы совершили еще один рывок, выскочили на песчаный, редко опушенный низкорослым кустарником бугор, увидели машину и землянку. И услышали совсем недалеко за всхолмленным полем пулеметную и автоматную трескотню, редкую, но совершенно отчетливую.

— Вот теперь надо спешить, — сказал попутчик, хотя движения его ничуть не стали торопливее, словно и сказано это было только для меня. — Лезь в землянку, тащи что можно, а я заведу полуторку...

Признаться, я впервые в жизни попал в такую переделку и, мучаясь стыдом, все же немного праздновал труса. Немцы совсем рядом, а я должен в землянке, ничего не видя, возиться с каким-то барахлом, целая гора которого не стоит все же одной человеческой жизни! И, размышляя так, не мог предложить попутчику плюнуть на все и удирать, пока еще есть время. Не мог, язык не повернулся бы... Бутыль спирта стояла справа у самого входа, чуть подальше ящик с медикаментами, а на грубом столе из сосновых досок — бокс с инструментами. Я захватил оплетенную, ведра на два, если не больше, бутыль и выволоч ее, полагая, что тем можно и кончить. И наткнулся на вопросительный взгляд попутчика.

— Еще есть что-нибудь?

— Есть...

— Так давай... Чего же ты?

Так перекечевали в машину и ящик, и инструменты, и еще какой-то бидон.

— Все?

— Брезент еще валяется... Только он большой и тяжелый, один не вытащу.

— Ничего, давай прихватим... Мотор уже работает, чего тут!..

Когда вытащили брезент, сырой и грязный, и прилаживали кусок его под бутылку, чтобы не побилась при тряске, я посмотрел в поле и обмер; метрах в четырехстах поднялась из-за холма и двигалась по раскисшей пашне немецкая пехота. Мокрые, очевидно, измученные за день, сутулясь и медленно загибая ногами, солдаты плелись негустой изломанной цепью. И оттого, что шли они молча и без выстрелов, серозеленые, как выходцы с того света — они появились внезапно, — мне стало по-настоящему страшно. Я указал на них попутчику. Он кивнул мне на кабину, сел за руль:

— Теперь и правда пора!

Через минуту полторка на полном газу выскочила из кустарника и, разбрызгивая воду в колеях, понеслась к противоположному краю аэродрома, к шоссе. Как видно, наши войска отошли куда-то в лес, и для немцев наше появление было полной неожиданностью, поэтому они не сразу стали стрелять, а когда застучали пулеметы, мы были уже далеко. К тому же начинало смеркаться, в насыщенный водой воздух словно подсыпали пепла. Благополучно вскочили мы в ракитовую посадку, проехали мимо дощатой столовой, которая беззвучно зевала в сумерки открытыми дверями и окнами, миновали стык шоссе с полевой дорогой, где недавно дурили головы шоферам. Еще не все опасения отошли, — вдруг немцы пересекли дорогу впереди? — но настроение поднималось и поднималось.

Теперь я уже не вспоминал, что подозревал попутчика в склонности к авантюризму, а считал, что одержали мы с ним хоть маленькую, но победу.

Когда отъехали километра на полтора, попутчик мой, не глуша мотора, выжал сцепление и остановил машину. И тут я с удивлением заметил, что руки у него дрожали. Неужели и он волновался?

— Надо выпить, — предложил он. — После грязевых ванн и для нервной переналадки.

— У тебя-то нервы стальные.

— Да? Цыпленок тоже хочет жить.

— Выпить-то выпить, а где закуска?

Закуски не было. Хлеб и колбаса остались в колеях на аэродроме: растеряли, пока удирали от «рамы».

— Ладно, — сказал он, — выпьем без ничего. Придется привыкать. Как сказал бы Староиванников, война только начинается.

— Если не считать того, что немцы под Москвой!

— Ну и что? Они-то думают, что для них кончается, а для нас — начинается. Податься назад некуда, а загубить Советскую власть — позор до сотого колена. Больше ей, погибни мы, нигде на свете голову поднять не дадут — и учены, и не то в армиях оружие. Значит, братья нам надо как следует. Я так думаю...

Ополоснул кружки, прибавил:

— У нас под Угличем длинно окают, но крепко говорят!

Налил мне полкружки спирта, разбавил мутноватой водой из кювета и приказал выпить до дна.

— От контузии. И лезь под брезент, спи.

— А ты?

— Мне много нельзя, ехать надо...

Очнулся я около полуночи, но, когда посмотрел вокруг, подумал, что сплю. Вокруг все было бело, крупными хлопьями валил снег. Откуда он взялся? Наша полупортка медленно двигалась через белый лес в

плотной колонне грузовиков справа от дороги, а слева шла артиллерия. За стволы орудий, нереально длинные и толстые, побеленные сверху, цеплялись тоже побеленные, со снегом на пилотках и на плечах, смертельно усталые пехотинцы — так было легче идти. А со стороны казалось, что они тащат орудия на себе. И полное молчание, ни одного слова, только тяжелое, с хрипом дыхание и временами надсадный кашель. Глаза отказывались верить тому, что видели...

Остаток ночи мы провели в какой-то избе. Хозяйка всю ночь топила печь, в больших чугунах кипятила чай и варила картошку для проезжающих. Картошкой в мундире поужинали и мы. В белом мутном поле валил снег и редко ухали бомбы — немецкие летчики бросали их вслепую, «играли на нервах».

Утром мой попутчик все на той же самой полуторке довез меня до вокзала в Подольске. Простились крепким рукопожатием. Он повел машину в авиа часть, которой она принадлежала, а я уехал в Москву и утром на следующий день, завернув по совету попутчика в одно военное учреждение, получил новое назначение — на инженерные курсы в Кострому. Перед отъездом выпало несколько часов свободного времени, и я, не тешась никакими иллюзиями, а из чистого любопытства заглянул на Киевский вокзал. Сверток с патефоном и часами покрылся легким слоем пыли, но стоял на том же самом месте, где я его оставил.

Не знаю, как сложилась бы моя судьба на войне, но начавшаяся на скамейке вокзала история привела к тому, что я стал капитаном и комбатом. Впрочем, и не это главное. Встреча с лейтенантом, хотя не породила она ни долгой дружбы, ни взаимно доверчивых излияний — для этого и времени не было,— крепко засела в моей памяти; его спокойствие в критических обстоятельствах, здоровая рассудительность и находчивость многому научили и пригодились не раз в

тяжелых обстоятельствах, особенно летом сорок второго, во время боев на Дону.

И теперь мне часто думается: именно такие люди выигрывают войны и тащат на плечах мир.

Как сказал Староиванников:

— Безногий душой крыльев не придумает...

Константин Лордкипанидзе. ТАК ДАВАЛСЯ ПОБЕДА

В ранние зимние сумерки хрустнуло тонкое кружево прибрежного льда, и легкие десантные лодки закачались на волках горной реки. За ними двинулись наскоро связанные тяжелые плоты, груженные пушками и тягачами. Плоты сильно кренило, людей заливало водой, колеса орудий сбивали колодки, скользили по бревнам, увлекая за собой насквозь промокших людей. А вода была холодная, и металл обжигал пальцы, словно огнем, и река мчалась со скоростью три-четыре метра в секунду, и немцы были близко.

Люди делали все, чтобы скрытно и вовремя переправиться на вражеский берег, внезапно атаковать врага.

Первая линия немецких окопов проходила по невысоким песчаным курганам, и роте Григория Какабадзе, раньше других высадившейся на поросшую камышами отмель, нужно было совершить фланговый обход — пробиться через глубокие плавни и большие заросли.

Только тот, кто видел эти гиблые места нашего фронта, поймет, какую выносливость, настойчивость, упорство должен проявить человек, чтобы в декабрьскую стужу пройти без передышки несколько километров по этим еще не замерзшим плавням и прямо с ходу завязать бой.

Густы здешние заросли, так густы — даже пичужке не расправить в них крыльев.

Тяжело вооруженные бойцы местами по грудь проваливались в холодную болотную воду. Морозный

ветер захватывал дыхание. Холод проникал в мускулы, в кости. Руки немели, ноги наливались свинцом.

В эту трудную атаку воинов-грузин вел уже немолодой, тронутый густой сединой, капитан Николай Амиридзе — участник первой мировой войны. Еще тогда, тридцать лет назад, в Карпатах, он, солдат русской армии, научился бить немца-захватчика. Хорошо научился, поручкой тому — четыре «Георгия», с которыми он вернулся домой. И сейчас, умудренный опытом минувших сражений, он снова взялся за оружие, чтоб защитить родной Кавказ от нашествия фашистских полчищ.

Бойцы любили своего командира, верили ему, знали — с ним они не пропадут.

Началась артиллерийская подготовка.

Застигнутые неожиданным мощным огневым налетом, немцы, занимавшие передние окопы и траншеи, рассыпались по убежищам, чтобы отсидеться в них до начала атаки нашей пехоты.

...В камышах стоял ледяной холод. Морозный воздух буравил легкие. Но солдатам, видевшим, как шел впереди седой командир, болотная вода казалась не очень холодной, и лютый ветер как будто не так уж больно кусал.

Никто не отставал. На ходу растирали замерзшие руки, щеки, уши и, если удавалось набрести на узкую тропу, бегом на месте набирали тепло.

Казалось, плавням не будет конца. Но вот выбрались наконец на сушу. Глухо отдавала скованная морозом земля, звезды зябли в полуночном декабрьском небе. Вдалеке смутно обозначались гребни низких курганов.

И пока бойцы, отжав мокрые шинели, спускались в занесенную снегом ложбину, старший сержант Басилашвили и опытнейший сапер-разведчик

Чаргейшвили вызвались отыскать вражеский броневой колпак, скрытый где-то в складках третьего кургана.

Немцы тщательно маскировали эти колпаки и пользовались ими только в самые напряженные моменты боя. Обнаружить их было очень трудно.

Три часа подряд ползали разведчики по скользким курганам, бродили по болотным кочкам и тропам. Устали, зато счастье разведчика и теперь не изменило друзьям.

Прощупывая места предстоящего сражения, Басилашвили и Чаргейшвили перед третьим курганом внезапно подверглись пулеметному обстрелу.

Разведчики укрылись в воронке и стали наблюдать.

По глуховатому звуку выстрелов справа они догадывались, что немцы стреляли не с открытого места. Значит — недалеко опасное огневое гнездо. Скрытно они приблизились к нему так близко, что гарнизон броневого колпака, не разобравшись, что и как, открыл стрельбу и тем самым выдал себя.

По вспышкам огня Чаргейшвили и Басилашвили точно засекли местонахождение колпака и пошли обратно через болотный кустарник.

Пройдя немного, они вышли на широкую тропу.

Вдруг шагавший впереди Чаргейшвили услышал под собой короткий, приглушенный звук. Он вздрогнул и настороженным чутьем сапера угадал, что наступил на мину. Сейчас эта мина выпрыгнет из земли и взорвется.

Чаргейшвили не растерялся, мигом отскочил и упал на землю, успев крикнуть: «Ложись!»

И в то же мгновение увидел, как что-то стремительно вырвалось из-под снега.

Раздался оглушительный взрыв. Чаргейшвили сильно потрянуло. Но и только. Даже не царапнуло.

Придя в себя, он услышал глубокий вздох, похожий на стон. Он понял: следовавший за ним Басилашвили ранен.

Быстро подполз к товарищу.

— Живой? — радостно спросил он, заметив, как раненый старался левой, здоровой рукой вскрыть перевязочный пакет.

— Что это? — вместо ответа переспросил Басилашвили.

— Минное поле!

— Минное поле! И как на беду — на единственной дороге среди болот, по которой рота Какабадзе должна выйти в фланг третьего кургана.

Очевидно, наши саперы недоглядели это препятствие, не все проходы очистили.

— Вчера мы убрали все мины, — сказал Чаргейшвили, оглядывая кустарник, запорошенный снегом. И только сейчас заметил на снегу свежие следы, не наши следы. Видимо, немцы снова заглянули сюда и заложили мины.

— Вон и усики из-под снега торчат, — добавил он, доставая свой пакет, чтобы помочь товарищу перевязать рану.

Пересилив боль, Басилашвили оперся на локоть и почти прокричал:

— С этим я сам справлюсь, а ты иди, нужно предупредить, чтобы прислали саперов.

Чаргейшвили взглянул на часы. Видно было, его что-то глубоко волновало. Артиллерийская подготовка вот-вот кончится. До начала атаки осталось совсем немного — каких-нибудь полчаса. За это время саперы никак не подспеют. А роте Какабадзе обойти минное поле и трудно и опасно. Трудно потому, что полное бездорожье задержит обходное движение. Опасно потому, что утро выдалось ясное, без обычного тумана, и неприятель легко обнаружит маневр атакующей роты.

Было из-за чего волноваться.

Жалко, что Чаргейшвили не пошел в разведку с проводом. Имея телефон с собой, он сразу бы вызвал

саперов. А сейчас, чтобы самому добраться до ложбины да привести оттуда людей, понадобится еще двадцать — двадцать пять минут, а может, и больше: обратно придется ползти в гору.

Двадцать — двадцать пять минут! Но ведь эти-то минуты и должны решить исход атаки. За это время немцы смогут восстановить боевой порядок, нарушенный артиллерийской подготовкой, — и тяжело тогда придется роте Какабадзе.

Малейшее промедление не только сорвет атаку, но и будет стоить нам лишней крови.

Все это ясно представилось Чаргейшвили. И тогда, в этот час испытания мужества, он решился на трудное дело.

— Нет, пойдешь ты, — сказал Чаргейшвили раненому товарищу. — Доберешься — объяснишь все, а я уж тут как-нибудь...

Чаргейшвили понимал, насколько ответственно и опасно было его решение, но он надеялся на себя, на свой опыт, сноровку, на все то, что ему дали двадцать месяцев войны. Не он ли в прошлом году под жестоким огнем за полтора часа вырвал жала у двух сотен фашистских мин?!

Правда, обстановка сейчас сложнее, но зато немец разбросал здесь мины наспех, многие даже простым глазом заметны.

Пули, словно осы, жужжали над ним, ложились совсем рядом, вздымая гривы песка и снега. Одна пуля задела миноискатель. Но Чаргейшвили даже не попытался распознать — шальная это пуля или немецкие наблюдатели заметили его.

Не теряя времени, он спокойно делал свое дело. Он был захвачен только одной мыслью — успеть проложить дорогу атакующей роте, и оттого, что успех этой атаки во многом зависел от него, он забыл, что ежесекундно рискует жизнью.

Сейчас он один находился в смертельном кругу. То полз, то, согнувшись, становился на колени, чтобы удобней было держать миноискатель. В мерное гудение наушников все чаще и чаще врывался такой знакомый резкий визг.

Да, мин было много. Он осторожно разгребал озябшими руками неглубокий снег, прикрепляя к длинной веревке черные, похожие на банку, мины. Над его головой со свистом проносились наши снаряды. Они разрывали курганы, громовыми раскатами сотрясали морозное утро.

Это было хорошо. В грохоте артиллерийской канонады едва ли немецкий наблюдатель угадает, что противник взрывает минное поле. А Чаргейшвили решил подрывать по несколько мин сразу, чтобы успеть к сроку.

Ловкость каждого его движения, точность каждого взгляда были доведены до предела. Четыре ряда мин уже подорвал он, и четыре мощных раската затерялись в орудийном гуле. Изуродованная, почерневшая тропа дышала горячим дымом.

Дело ладилось.

Тем временем бойцы Какабадзе начали занимать исходное положение. Несколько перебежек — и рота, как было намечено, развернулась для броска перед третьим курганом, возле того места, где Чаргейшвили готовил ей дорогу.

Некоторые бойцы подползли настолько близко к соседним курганам, что чувствовали, как дрожит под ними промерзшая земля. Доверяя своим батареям, они лежали спокойно, неподвижно.

Но вот прокатились последние, самые оглушительные залпы, и затем разрывы стали уходить за курганы, в глубину немецкой обороны.

— Вперед! — крикнул Амиридзе.

Нарастающий шум атаки Чаргейшвили услышал, когда ему оставалось подорвать последние мины.

Он заторопился. Прикрепил к веревке две мины, потянулся к третьей... Пуля ударила в ногу.

Он продолжал работать.

Вторая пуля раздробила локоть. Хотел двинуть рукой, но не вышло. И вдруг страшная ярость охватила его. Неужели в последнюю секунду все сорвется?

Он ясно слышал дружное, волнующее русское «ура».

Силы его были на исходе, и если одной рукой ему удалось зацепить еще две мины, то, может, только потому, что он слышал боевой клич товарищей, и в этом кличе черпал то, что помогало ему противиться смерти.

Вот уже все мины на привязи. Сейчас нужно доползти в укрытие и дернуть веревку. Скорее, а то стрелки ворвутся на тропу, и тогда минные осколки накроют своих.

Загребая здоровой рукой снег, цепляясь за кусты, Чаргейшвили протащил свое тело на несколько шагов, не тело — одну нескончаемую боль, и вдруг почувствовал: еще одно малейшее движение, короткое усилие — и он потеряет сознание. Не доползти уже до воронки...

...Он был из Гурии. До войны колхозник, мирный человек, Чаргейшвили как будто не выделялся ничем особенным. Среди друзей — скромный и задушевный, в работе — честный и исполнительный, в семье — заботливый и чуткий. Но именно эти простые душевные качества простого советского человека сделали его героем Отечественной войны. Он любил родину нежной, сыновней любовью, которая всегда была и будет сильнее смерти.

Ему было двадцать восемь лет. И в решающую минуту схватки со смертельным врагом он понял, что

все прожитые им годы были подготовкой к одному — сегодняшнему дню.

И он достойно встретил этот последний свой день.

Он дернул за веревку и взорвал мины.

Он был еще жив, когда его нашел старший лейтенант Абдула Цулукидзе.

Прошептал:

— Почему наши не стреляют?

Наши стреляли. Сражение разгоралось, но до ускользающего сознания Чаргейшвили уже не доходили шумы земли.

Красива и мужественна была его смерть, как песни и горы его родной Гурии.

Кровью своей проложил Чаргейшвили дорогу к немецким окопам, и его боевые товарищи стремительно ворвались на третий курган.

В короткой яростной атаке Арчил Зумбулидзе заколол трех гитлеровцев. Траншея, куда он спрыгнул, оказалась узкой. Ему трудно было действовать здесь штыком и прикладом. Тогда он выхватил маленький кинжал, который не раз выручал солдата в разведке, пустил его в ход. Пятнадцать фашистов истребили на вершине кургана аджарец богатырь Абдула Цулукидзе и двое его друзей.

Немцы были опрокинуты.

В полдень, получив подкрепление, гитлеровцы пытались вернуть курганы.

Капитан Амиридзе был болен. Начиналось воспаление легких. Но, не обращая внимания на недуг, он обошел окопы своих солдат, сам указал боевые места каждому пулемету, каждому противотанковому ружью. И, только закончив обход, почувствовал, что силы оставляют его.

Абдула Цулукидзе тут же разгреб для него заваленный окопчик, закутал командира в бурку и уложил.

Было тихо, и Амиридзе казалось, что он отлежится здесь. Но при первых же выстрелах сердце его забилося знакомой тревогой. И она-то заставила его подняться на ноги.

Старый офицер вспомнил величавую простоту смерти Чаргейшвили, — смерти, необходимой для победы, для жизни других.

И он отдал команду: «Держать курганы!» И слова команды пронесли по цепи, от бойца к бойцу.

Схватка была жаркая.

Пять пуль, одна за другой, пронзили тело капитана Амиридзе. Он потерял сознание. Его положили на бурку и вынесли из боя.

Очнулся он в дороге.

— Как дела? — спросил он сопровождающего связного.

— Всюду отбили. Только на левом фланге потеснили роту Какабадзе. Танки прорвались туда — захватили курган.

— Какой?

— Пятый.

— Несите меня обратно.

И столько силы и решимости было в полуприказе-полупросьбе тяжело раненного командира, что санитары не посмели не выполнить его желания.

Капитан Амиридзе вернулся к своим солдатам, чтобы командирским словом, своим присутствием помочь им удержать победу.

И он помог им.

Он умер на пятом кургане — на том кургане, который еще полчаса назад бороздили гусеницы немецких танков.

Андрей Платонов. В СТОРОНУ ЗАКАТА СОЛНЦА

/

Пока спал, он примерз к земле. «Это у меня тело отдохнуло и распарилось, и шинель отогрелась, а потом ее прихватило к стылому грунту», — проснувшись, определил свое положение сапер Иван Семенович Толокно.

— Вставай, брат! — сказал себе Толокно. — Ишь земля как держит: то кровью к ней присыхаешь, то потом не отпускает от себя.

Он с усилием оторвался от промерзшей земли, обдутой здесь ветрами до прошлогодней, умершей травы.

В той части, где служил Толокно, саперов с уважением называли верблюдами. Каждый сапер, кроме автомата с нормальным боевым запасом и пары ручных гранат, имел при себе лопату, ломик, топор, сумку с рабочим инструментом, бикфордов шнур, личные вещи и еще кое-что, смотря по назначению саперного подразделения. Все эти предметы человек имел неразлучно при себе: он шел с ними вперед, бегал, полз, работал под огнем, отбивался от врага, мешавшего его труду, спал в снегу или в яме, ел и писал письма домой в надежде на встречу после победы, в надежде на жизнь, которая будет вечно счастливой.

Проснулся Толокно вечером, на закате солнца. Командир подразделения, капитан Смирнов, собрал в

овраге своих людей, осмотрел их, проверил снаряжение и спросил каждого о самочувствии.

— Я всегда себя чувствую хорошо, товарищ капитан,— ответил Толокно командиру.

— А почему всегда? — заинтересовался капитан.

— А по необходимости! — объяснил Толокно.

Капитан указал рукой на заходящее большое солнце. Бойцы посмотрели в великое пространство, ожидающее их, — потоки разноцветного света на небе походили сейчас на торжественную музыку, трогаящую человека за сердце.

Затем капитан объяснил бойцам их задачу на нынешнюю ночь. Следовало теперь же, вместе с приданной саперному подразделению группой разведчиков, выйти к речному руслу, изыскать место для переправы танков и сделать отлогий выход в отвесном берегу реки на сторону противника, а потом, после совершения этой работы, нужно двигаться вперед на танках вместе с десантной группой пехоты и по указанию, которое будет дано впоследствии, вонзиться в землю и отработать систему траншей, укрытий и блиндажей.

— Бойцы и товарищи! — сказал командир. — Мы ведем дороги на закат солнца. Мы, красноармейцы, мы для врага то же самое, что обратный клапан в машине, который только в одну, как раз в ту сторону открывается, а назад — нипочем, назад он стоит намертвую... Я так считаю, что хватит огненному железу войны ползать по нашей земле, ей хлеб пора рожать!..

— Пора! — сказали бойцы, и душа их тронулась болью и воспоминаниями.

И после заката солнца они пошли во тьму, нагруженные инструментом для работы и оружием против смерти.

Затемно разведчики привели саперов к речному потоку. Иван Толокно и другой сапер, Петр Расторгуев, осторожно пошли вниз по течению, чтобы разведать местность.

Толокно вышел на лед, лед был тонок, и под ним близко чувствовалась живая вода.

В небе засияли две ослепительные ракеты врага, и вся река и пойма ее озарились тем неподвижным, пустым светом, каким освещаются сновидения человека. Иван Толокно лег на живот и пополз своим направлением. Впереди себя он слышал равномерное пение воды подо льдом.

Разведчики уже вышли на тот берег и тайно продвинулись вперед, чтобы наблюдать неприятеля и чтобы помочь своим саперам в нужде и опасности.

Толокно дополз до подтаявшего льда и увидел, что вода впереди выходит из-под покрова наружу и струится на воле, шумя на перекате по каменистому, беспокойному ложу. Толокно сполз в воду по опустившемуся под ним льду. Он попробовал воду рукой и решил, что ею можно обтереться.

Толокно и Расторгуев пошли по шумной обнаженной воде. Глубина здесь была малая, иногда вода не доходила и до щиколотки, однако древние камни, размером в целого человека, создавали неодолимую преграду машинам.

Толокно и Расторгуев озадачились: все здесь было бы удобно, но камни лежали чередой по всему перекату, от берега до берега, а выше и ниже переката река уже имела глубину, и вброд ее перейти невозможно.

Вступив в воду, капитан Смирнов подошел к своим бойцам и сказал им, что здесь надо немедля устроить

брод.

— Толом, что ль, грузные камни будем рвать? — спросил Расторгуев.

— Еще чего! — сказал Толокно. — Огнем тут будем шуметь, когда немец невдалеке надзирает. А потом он тут нам половодье устроит...

— Сдвинем камни вниз вручную! — сказал командир.

— А силы хватит у нас? — усомнился Расторгуев. — Камень здесь в грунт врос, это неподъемное дело! Его и не расшатаешь, ишь он леденеет и мокнет, как лаковый стал...

— Ничего, возле смерти человек сильнее, — высказался Толокно.

Две мины рванулись неподалеку и вьелись осколками в лед.



Капитан через связного передал приказ командиру разведывательной группы: начать ниже переката затяжной маскировочный бой, — а всех саперов капитан собрал работать на перекат. Однако немцы, не зная ничего точно, чувствовали намерение русских и вели ощупывающий минометный огонь по району переката. Саперы же не могли ответить врагу огнем, чтобы не обнаружить себя; они ютились в тенях за могучими камнями, в тяжелой воде, до боли в сердце остужающей их тела.

Иван Толокно, работавший до войны десятником на строительстве уральских заводов, понимал всякое дело. Любую работу он начинал со сноровки, с обдумывания способа, которым нужно произвести работу.

Шестеро саперов хотели было по-старинному раскатать камень, вровень дыша друг с другом и говоря

что-нибудь в один лад, но камень не послушался силы людей и в ход не пошел.

Толокно присел в воду и, погрузив в нее руки, ощупал камень у основания, затем он отыскал руками и вынул наружу из ложа реки небольшие камни, чтобы разглядеть их при свете вражеских ракет. Найдя что нужно — продолговатый камень, похожий на клин,— Толокно снял с себя все, что не должно намокнуть, положил это имущество подальше на лед и сел на дно реки. Вода теперь доставала ему по горло.

Обухом топора он начал вгонять клин под сиденье большого камня, желая оторвать его от речного грунта. Работал Толокно топором под водой на ощупь, и руки в мерзлой воде ходили вязко, немея от усталости. Но Толокно был привычен к работе и одолевал в терпении стужу, жгущую его тело, прочность и вес могучего камня. Жилы рубцами выступили на его больших руках, обветренных, обмороженных, давно покрывшихся толстой, точно заржавленной кожей, оберегающей рабочее жизненное тепло в жилах и мышцах его рук. Изредка Иван Толокно поднимал руки с топором из воды на воздух, чтобы они немного отошли, а затем снова спешил расклинить камень и стронуть его с места.

Вдалеке, вниз по течению реки, наши разведчики начали стрельбу по неприятельской стороне, чтобы неприятель перестал обращать внимание на пережат. Однако немцы тоже открыли встречную стрельбу по разведчикам, но и пережат не переставали покрывать редким минометным огнем — на всякий случай. Сапер Нечаев был убит осколком мины в голову, унести его было некогда, и его положили на лед.

Расторгуев подклинивал тот же камень, что и Толокно, усевшись рядом с ним. Живая вода вошла в зазор, образованный клиньями, и с сосущим звуком ослабила основание камня, сросшееся с ложем реки.

Тогда Толокно велел четырем саперам раскачивать камень во всю свою силу, пока он не двинется, не давая ему ложиться в покой; сам же Толокно быстро вгонял под камень все, что находил подходящего в речном потоке возле себя.

Капитан Смирнов взял пример с Ивана Толокно и поставил по четыре и по шесть человек саперов на каждый грузный камень, чтобы после подклинивания трогать их с места живой силой реки и людей.

Камень Ивана Толокно пошел первый, и его оттащили метров на шесть вниз по течению.

— Достаточно! — сказал капитан.

Немецкие осветительные ракеты погасли в небе. Капитан Смирнов пошел по перекату.

— Скорее, скорее давайте, ребята! — говорил он саперам.

Толокно сменил заочневшего сапера Трофима Пожидаева и опустил за него в воду по горло, чтобы без задержки расклинить и оторвать камень.

— Скорее! — торопил командир. — Скоро танки хода запросят.

От тьмы стало как будто еще холоднее. Из-за кручи неприятельского берега начал бить пулемет неприцельным огнем, и пули ложились по перекату кое-где.

— Не утерпел враг погодить немного! — осерчал Толокно, сидя в воде, строгающей его тело ознобом.

— Тут война, товарищ Толокно! — сказал капитан.

— Известно, товарищ капитан! — ответил Толокно.

— А тут саперы Красной Армии, а у саперов обе руки правые: одна камень долбит, а другая стреляет...

Подработанные сидни-камни трогались с вековых своих мест.

Разгромоздив перекат от этих камней, капитан прошел поперек потока и освидетельствовал его, желая убедиться, что проход свободен.

Саперы вышли из воды под обрыв неприятельского берега. Враг занимал позиции несколько далее берега, и под обрывом было спокойно. На воздухе саперы враз обмерзли и обледенели, но вскоре они отогрелись, и им стало жарко в работе. Саперы взяли в лопаты глинистый береговой отвес и начали въедаться в него пологой траншеей, чтобы танки без усилия могли выйти здесь из реки и помчаться в сторону врага.

Полушубки оттаяли на саперах, от них пошел пар. Капитан Смирнов время от времени измерял пологость траншеи, чтобы не рыть лишнего, но и не затруднить танковых моторов, и смотрел на своих бойцов.

Мины и пулеметные струи стремились через головы саперов на пережат и там пожирала воду и лед.

«Сколько один Иван Толокно настроил в своей жизни жилищ и всякого добра!» — думал капитан Смирнов.

И он спросил об этом у Толокно, рушившего сейчас грунт впереди себя.

— Не упомяну, товарищ капитан, — ответил Толокно.— Сорок пар рубах от пота еще в мирное время сопрели на мне. Четыре шинели и два полушубка на войне истер, седьмую одежду на себе донашиваю, а кости все целыми живут и тело ничего! Дышит!

«И этот Иван Толокно, может быть, сегодня же падет на землю сраженным насмерть!» — подумал Смирнов.

Когда траншейный выход был близок к окончанию, капитан велел связному отойти вверх по реке и дать оттуда сигнал ракетой, что танкам, дескать, путь открыт и пехоте также нет трудных препятствий.

Немцы тоже стали беседовать между собой разноцветными ракетами. Иван Толокно глядел в небо, светящееся тихими цветными молниями тех ракет, осыпающихся медленно угасающими искрами.

После полуночи всюду стало тише. Отвлекающий, ложный бой разведчиков с противником прекратился. Саперы прилегли на отдых в открытой дорожной траншее и задремали до прихода танков.

В нужное время капитан разбудил бойцов и велел им приготовиться к посадке на танки.

Иван Толокно не спеша поправил на себе снаряжение и прислушался к утихшей ночи: ничего не было слышно, кроме равномерного пения речного потока по каменистому перекату.

Потом Толокно услышал скрежет мелких камней под гусеницами танков, ворчание моторов и шипение взволнованной воды, а подхода машин к реке он не различил — столь безмолвно они подкрались и столь хорошо были отрегулированы их механизмы.

Траншею танки проходили самым тихим ходом, чтобы саперы успели разместиться в них, вдобавок к тем бойцам, которые уже находились на телах машин.

И танки, резко, точно с прыжка, взяв ход, устремились на врага, во мрак.

Иван Толокно попал на машину вместе с капитаном Смирновым. Он нашел теплое место на броне и отогревал там руки.

Враг обнаружил машины и стал бить издали артиллерийским огнем. Укрываясь от поражения, танки то сокращали ход, то мчались вперед, как ветер, то шли уклончивым маневром, но все время соблюдали главную, заданную линию движения.

На полной скорости, с воем напряженных моторов, танки влетели в деревню с заглохшими, вымороченными избушками. Бойцы на танках приготовились вести автоматный огонь, но здесь никого не было видно, и только из крайней маленькой избы,

что была на выходе, полосовал пулеметный огонь. Один наш танк с ходу налетел на ту избушку и похоронил в ней врага.

Если и остались в этой деревушке немцы, то пусть остаются дышать до нашей пехоты, машинам же было некогда и невыгодно тратить свою мощь на всякого мелкого, попутного врага.

Немцы били из пушек все более тесным огнем, и Толокно почувствовал, что в воздухе словно немного потемнело. Впереди, по ходу машины, Толокно разглядел неясное, темное место, озаряемое мгновенным, но повторяющимся заревом рвущейся в небо шрапнели, и понял, что это горит деревня. Но из этой деревни, из-за ее обрушенной церкви, из ее могил и колодцев синими кинжалами сверкал огонь сопротивления.

Танк, на котором находился Толокно, шел теперь на всей ярости своего мотора и гремел вперед пушечным огнем, и бойцы, бывшие на машине, кричали, не помня и не слыша себя, воодушевленные мощью боя.

По команде бойцы оставили танк и пошли в охват деревни.

V

Капитан Смирнов вывел своих саперов на западное поле, обойдя деревню и оставив бой позади себя; здесь саперы должны были отстроить новый узел обороны и сопротивления, пока танки, десантники и следующая за ними мотопехота будут блокировать и уничтожать врага в деревне.

Смирнов взял с собой Ивана Толокно для разметки работ.

В рассветных сумерках лежало перед ними зимнее русское поле, покрытое темными впадинами оврагов.

Капитан Смирнов хотел разбить линию траншеи с выходом ее в дзот по склону балки, начав траншею у бровки этой балки. Но Толокно посоветовал начать вскрытие траншеи раньше, еще на поле, где рос малый кустарник, чтобы и кустарник был у нас за спиной, на нашей земле, — он может пригодиться бойцам. Капитан согласился с этим хозяйственным расчетом.

Второй дзот Толокно задумал строить в самом устье оврага, чтобы пастбища на водоразделе меж двумя оврагами целиком остались за нами.

— Да ты что, Иван Толокно! — разгневался командир. — Мы что, мы сюда скотину пасти пришли? Мы кто — крестьяне, что ль?

— Я на всякий случай сказал, — смирился Толокно. — Мы не крестьяне, мы бойцы, но мы и то и другое...

— Ступай зови людей! — сказал капитан.

Саперы привычно взялись за земляную работу: она им напоминала пахоту, и бойцы отходили за ней душой, чем глубже, тем в земле было теплее и покойнее.

Наутро бой все еще гремел в деревне. Капитан Смирнов немного беспокоился, что сюда не подходит наша авангардная часть, как должно быть по плану сражения. Он решил усилить свое охранение и послал вперед, на посты, еще пятерых бойцов, в добавление к назначенным прежде, и в их числе Ивана Толокно. «Пусть он заодно отдохнет», — решил командир.

Толокно очистил о снег лопату, взял под мышку автомат, поправил гранаты на поясе и пошел в сторону заката солнца. Командир указал ему направление и расстояние, и Толокно вскоре скрылся за большим водоразделом.

Он шел ближе к врагу, чтобы увидеть его первым, если враг пойдет на помощь своим солдатам, умирающим сейчас в русской деревне. Толокно дошел до одинокого ствола обгорелой, погибшей сосны и здесь остановился и осмотрелся. Вокруг было чисто и

свободно, как всюду в равнинной России, где мало лесов. От подножия мертвой сосны начинался спуск в большой, разработанный овраг, а по ту его сторону земля снова подымалась.

Сапер хотел было закурить в тишине, но прежде поглядел вперед. Ветра не было, но в воздухе что-то напевало вдали.

Из-за оврага тихо вышел рокочущий танк с белым крестом и пошел на мертвую сосну и человека.

Иван Толокно посмотрел на машину и почувствовал свое горе, и жалость к себе в первый раз тронула его сердце. Он работал всю жизнь, он смертельно уставал. А теперь фашисты стреляют в него из пушек, теперь злодеи хотят убить труженика, чтобы сама память об Иване исчезла в вечном забвении, словно человек не жил на свете.

— Ну, нет! — сказал Иван Толокно. — Я помирать не буду, я не могу тут оставить беспорядок, без нас на свете управиться нельзя.

Из танка вырвался свет пулеметного огня. Толокно залег за стволом дерева и ответил врагу из автомата по щелям его глаз в машине.

Танк в упор надвинулся на дерево и подмял его под себя. Сосна треснула у корня и удивила сапера синим цветом на разрыве своего тела. Толокно отодвинулся в сторону от падающего дерева и очутился между ним и гусеницей танка, сжевывающей снег до черной земли.

Он увидел, что над ним стало светло, — значит, танк прошел далее, пропустив под собою, между гусеницами, лежащего человека и поверженную сосну.

Иван Толокно, не теряя времени, бросился за танком с гранатой, ухватился за надкрылок и в краткий срок был в безопасности, на куполе пушечной башни врага.

Танк без стрельбы, молча, шел в сторону, откуда пришел Иван Толокно. Это было для Ивана попутно и хорошо. Он решил взять машину в плен или подорвать

ее гранатами, если она откроет огонь по труженикам-саперам либо повернет обратно. «Должно быть, это ихний разведчик блуждает, — размышлял Толокно, — а может, на подмогу к своим в одиночку идет. Этот танк сделали стрелять и давить, а он чужого сапера везет, своего хозяина».

Вскоре на броню танка безмолвно и внезапно вскочили наши люди, — может, они были из боевого охранения, а может, разведчики. Немцы остановили машину, потом повернули было обратно в свою сторону, и Толокно уже хотел остановить машину, чтобы подорвать ее гранатой, но немцы опять тронулись в нашу сторону, и Толокно успокоился. «Дурак, а понимает, жить хочет», — подумал он.

В своем подразделении, куда Толокно, сдав сначала танк с экипажем трофейной команде, благополучно возвратился, командир поблагодарил и поцеловал сапера, а повар сказал:

— А мы думали, что тебя уж больше не будет!

— Нет, — ответил Иван Толокно, — я буду постоянно, ты всегда пищу держи для меня!

1944

Рачия Кочар. ВОЗВРАЩЕНИЕ СЫНА

На синем горизонте показался купол знакомой церкви, и детство встало перед глазами командира танка столь же отчетливо, как сверкавшие под солнцем поля в это осеннее утро. Словно еще вчера он поднимался на колокольню за голубями, кружившимися над острым куполом. Они роняли в воздухе сизые перья, нежно били крыльями по его лицу и улетали ввысь, чтобы снова вернуться на зов. С тех пор прошло десять долгих лет. Но кажется, это было вчера, когда, возвращаясь после экзаменов из областного города, он с нетерпением поднимался на холм, чтобы увидеть родной город, и первым возник перед его глазами церковный купол, сиявший на июльском солнце.

Сейчас из пригородов выползал густой дым и расстилался по улицам. В окнах больших зданий металась огненные языки, рассыпая искры, гаснувшие в тесных клубах дыма. Казалось, там предают сожжению все его святые и заветные воспоминания. Никогда родной город не был так близок ему и вместе с тем так далек. Здесь прошли его детские годы, здесь он оставил стариков родителей, чьи лица с милыми морщинами сейчас представлялись ему окутанными едким дымом, любимую подругу, которая, наверное, станет одной из жертв этого пламени. Танкист-наводчик чувствовал себя виноватым, точно его близкие очутились в руках врагов по его вине.

Танк ждал в засаде. Артиллерийский огонь не прекращался. Небо и земля содрогались от грохота, несмолкаемое эхо шло словно из самых недр земли. Но командир танка ничего не слышал. Он тер рукою виски,

вытирал со лба пот, струившийся на глаза и затуманивавший зрение. Дыхание становилось все более тяжелым, несмотря на то что он расстегнул ворот.

— Когда ж закончит артиллерия? — спрашивал он негромко, дрожащим, взволнованным голосом. Товарищи знали причину его беспокойства и были с ним необычно ласковы. Пулеметчик сказал:

— Товарищ командир, будьте покойны, придет и наш черед.

Прошло два часа — бесконечных, мучительных. Два часа, стиснув зубы, беспокойно топчась на месте, наблюдал он за пожаром в родном городе. Мысленно он дополнял страшную картину подробностями ужасов, происходивших среди бела дня на улицах и в домах.

Подан сигнал. Рассеивая белый свет по воздуху, взвились ракеты. Танки с рычанием выскочили из-за кустов и с головокружительной быстротой ринулись вперед. Перед несущимися танками разорвались первые снаряды противотанковых орудий противника.

— Направо! Прямо на траншеи! — приказал командир танка водителю. Танк повернул направо и понесся на немецкие траншеи. Расстояние сокращалось с каждым мгновением. Из траншеи выскочило несколько немцев, но, скошенные пулями, они тут же растянулись на земле. Танк прошел между траншеями, завертелся, топча под собой вражеских солдат, и снова помчался вперед.

Вот первые дымящиеся дома. Перед глазами наводчика, под оптическим прицелом, проходили почерневшие от дыма стены, груды кирпича, сломанные и обгоревшие кровати, подбитые танки с черной свастикой и воронки, воронки... Быстрота действий не оставляла времени для размышлений. Танк изредка останавливался на секунду, командир стрелял из пушки по убегавшим группам немцев и кричал заряжающему:

— Живо, живо...

Затем приказывал водителю:

— Жми прямо!

Сзади, справа и слева шли другие танки. Огонь вражеской артиллерии делался все сильнее.

Вот и улица. Радист сообщает:

— Здесь заминировано!

Танк повернул к церкви. Радист начеку.

— Огонь противника преграждает путь нашей пехоте.

— Со стороны церкви? — спрашивает командир и тут же приказывает: — Остановить танк у стены!

Танк останавливается.

Пушки бьют прямой наводкой по колокольне. Купол колеблется. Командир кричит заряжающему:

— Быстрей, что ты как мертвый?..

В те далекие дни, когда он бросал камни в голубей, сидевших на узких окнах этой колокольни, мать говорила:

— Зачем ты пугаешь невинных птиц? Противный мальчишка, дурень.

Вспоминать все это было некогда. На месте невинных птиц теперь сидели немцы, поджигатели наших родных городов и сел.

Из дула пушки вылетает белое пламя, гремит выстрел, церковный купол падает.

— Зарядить! — приказывает командир. — По той же цели — огонь!

Вновь вырывается белое пламя, желтый дым и пыль окутывают все здание. Но танк продолжает посылать огонь, снаряды рвутся друг за другом в пыли и дыму разрушающегося здания.

— Не спасетесь! Никто из вас не спасется!

Из главного входа гуськом, пригибаясь, выбегают немцы.

— Пулеметчик! Огонь по гадам, длинными очередями!

Трещит башенный пулемет, немцы падают, уцелевшие бегут к главной улице. Их догоняют танки.

— Вперед! Налево! Выйти на главную улицу!

Водитель с молниеносной быстротой выполняет приказ.

Вот главная улица, разрушенная, обезображенная. Грозная машина настигает немцев, топчет их под собой, кружится. Справа на танк летят гранаты. Они разрываются у панели. Пули автоматов шлепаются о броню танка и отскакивают от нее, бессильные, как пчелы перед слоном. Пулемет, треща, отвечает врагу. Из укреплений выскакивают перепуганные немцы и, бросая автоматы, бегут по улице. На панелях и мостовых лежат трупы.

Родные места, знакомые панели. Мог ли он думать, что настанет день, когда он с боем придет на эти улицы, улицы, по которым он гулял несколько лет назад, насвистывая любимые песни... Думал ли он, что под теми самыми березами, под которыми однажды он так долго стоял с любимой Марией, падут враги, сраженные его рукой. В те минуты, когда он держал ее мягкие небольшие руки и не находил слов для нее, тишина была полна нежности. Где-то она сейчас, Мария? Не смотрит ли на него из окна какого-нибудь дома? Или ждет его прихода и знает, что ее Степа — командир первого танка, вступившего в город?

Танк, посылая огонь то вправо, то влево, проходит вперед, расчищая улицу. Вдруг на дороге вырастает юноша с поднятой рукой.

— Стоп! — командует командир, вздрогнув.

Юноша, задыхаясь, подбегает к танку.

— В конце улицы, в угловом доме — противотанковое орудие.

Утирая рукавом лоб, командир спрашивает:

— Где? В доме Васильевых?

Глаза у юноши расширяются от удивления. Он не видит того, кто его окликает. Танк, гремя гусеницами и поднимая пыль, мчится дальше.

— Повернуть направо и остановиться в конце улицы!

Оттуда хорошо виден дом Васильевых!

Дом Васильевых... Вот он стоит на оптическом прицеле. Экипаж танка не догадывается, что это дом командира танка, лейтенанта Степана Васильева. Из дома враг уже открыл огонь по пехоте, подошедшей вплотную к городу. Не заметили ли товарищи, что руки у Степана дрожат, глаза покраснели, зрачки расширились, грудь тяжело дышит? Не заметили ли они тяжелых капель, что скатились по его щекам, смешавшись с грязным потом? Раздались первый, второй, третий залпы, и враг замолчал. Колыбель детства рухнула.

— Вперед! — крикнул лейтенант ослабевшим от лихорадочной дрожи голосом. Танк, покружившись вокруг разрушенного дома и прочесывая пулеметным огнем дорогу, вышел на главную улицу. На другом конце улицы показались еще танки, а за ними пехотинцы-автоматчики.

Город уже наш.

В эту минуту произошло событие, весть о котором потрясла всех оставшихся в городе жителей. Вдруг издали взвыл снаряд дальнобойного орудия противника, зашипел ядовитой змеей и разорвался над башней танка. Машина сделала пол-оборота и осталась неподвижной. Она была похожа на героя, наповал убитого в яростном бою. На миг все смолкло. Из подвалов вышли старики, женщины, девушки и юноши. Танк окружили подоспевшие пехотинцы.

Бородатый сгорбленный старик, с изможденным, изжелта-бледным лицом, замахал руками и заголосил:

— Граждане! Люди добрые! Они первыми вошли в город, первыми!

Из танка вынесли погибших героев. Радист-пулеметчик, Иван Сорокин, был еще жив. Он открыл глаза, посмотрел вокруг угасающим взглядом и прошептал:

— Кто знал Степана Васильева? Он из этого города, наш лейтенант.

Бородатый старик рванулся к пулеметчику.

— Что ты сказал? Что?

Ему показали труп лейтенанта. Он без слов поцеловал сына в лоб, затем, увидев семенившую в толпе старуху, пошел ей навстречу, обнял и ласково попросил:

— Клавдия, голубка, пойдем в подвал. Тебе не нужно смотреть на убитых, пойдем.

Когда старик Лев Васильевич Васильев вернулся к трупу сына, на глазах у стариков, детей, женщин, бойцов и офицеров были слезы. Подняв дрожащую руку, он воскликнул:

— Не надо слез, граждане, люди добрые! Сын мой умер, чтобы жила Россия... — И, сжав руку в кулак, добавил: — Мой сын вернулся домой, как настоящий герой.

На его обнаженной руке синели набухшие жилы. Старик олицетворял собой грозную силу, страдание и жажду мести.

Танкистов похоронили с воинскими почестями. На гробе лейтенанта лежали осенние полевые цветы.

Лев и Клавдия Васильевы тихо плакали, стоя со склоненными головами над сыном-героем. Танк остался стоять в конце улицы как стальной памятник великим освободительным боям.

Анатолий Сафронов. ЧЕСТЬ РОДА

Мучительно тяжким было возвращение Павла Захарова в свой родной шахтерский поселок «Красный луч». Всего полгода хозяйничали здесь немцы, всего шесть месяцев ходили по его земле, в которой тяжелыми пластами лежал первосортный антрацит. Всего полгода! Сто восемьдесят дней и ночей — одна беспросветная ночь.

Было раннее утро. Тишина стояла в поселке такая, что от тягостного предчувствия у Павла сжалось сердце. Всю ночь он с товарищами ехал на открытом грузовике и ни разу не задремал, — все гадал, застанет ли он в живых Женю, жену свою, детишек своих, десятилетних близнецов: Петьку и Шурика и трехлетнюю дочку Нюрочку, отца и старуху мать и, наконец, брата Андрея, который не был призван в армию по болезни глаз. Небольшая семья была у Павла Захарова. У других шахтеров и тетки с дядьками, тещи, племянницы, а у него всего восемь человек, и все они жили в одном просторном домике с желтым балкончиком, с диким виноградом, вьющимся от земли к самой крыше. Таких домиков в поселке было много, несколько улиц, и все они расходились, как лучи, от просторной площади, на которой стоял светло-серый двухэтажный Дворец культуры, а перед ним — памятник Владимиру Ильичу.

Теперь Дворца культуры не было. Еще издали, с борта грузовика он увидел обвалившийся задний фасад дворца. Присмотревшись в утреннем тумане, он увидел, что многие из стройных когда-то домиков

полуразрушены, стоят с развороченными крышами, с окнами, заткнутыми подушками и забитыми досками.

На повороте в свой переулок Павел Захаров столкнулся с женщиной, несшей на коромысле ведра. Она прошла мимо, не взглянув на него, закутанная в темную линючую тряпку. Павел обернулся. В усталой, слегка качающейся походке почувствовал что-то знакомое. Почти задыхаясь, он крикнул:

— Женя! Женя!

Женщина медленно обернулась и, как слепая, пошла к нему навстречу. Подойдя ближе, она вскрикнула и, сбросив коромысло с плеч, бросилась к Павлу.

— Паша! — причитала она, целуя, и плача, и глядя лицо мужа худыми, желтыми пальцами. Потом как-то сразу отпрянула от него и закричала на всю улицу: — Паша! Детей... Детей нет! Никого нет! Паша!.. Что ж ты молчишь!!

Он действительно молчал. Он смотрел на худое, восковое, с синими прожилками лицо жены и молчал. О каких детях говорила она? О его детях? Но ведь он знал, что это могло случиться. Знал и отгонял от себя страшные мысли: может, беда минует порог его дома. Два сына и дочь Нюрочка...

— Идем домой.

...Теперь он знал все. Детей у него, Павла Захарова, больше не было. Не было шустрого, с упрямым подбородком Петра, не было робкого, застенчивого Шурика, не было Нюрочки. Они не умерли от голода, — от голода умерла старуха мать, она все последнее отдавала Нюрочке, они не умерли от болезней, бродивших из дома в дом по поселку, — они были шахтерскими детьми, жизнестойкими крепышами.

Свинец оборвал жизнь Петра и Шурика, яд — жизнь Нюрочки. Фашистский свинец. Фашистский яд.

Фронт был далеко. Поселок раскинулся вблизи шоссеиной дороги. Немецкие обозы и автоколонны часто останавливались на ночевки и дневки. И вот однажды несколько автомашин оказались выведенными из строя: камеры были проколоты, в моторы насыпан песок с угольной пылью, бензин выпущен на землю... Около машин немецкий часовой ухватил за руку двенадцатилетнего Ванюшку, сына известного на шахте врубмашиниста Лапина. Ванюшка все принял на себя. О чем бы его ни спрашивали, как ни пытали, он только шептал:

— Это сделал я... я! Я один!

Его расстреляли.

А на следующий день по домам поселка ходили немецкие солдаты и полицейские и вытаскивали русских ребятишек — мальчиков и девочек. Отгородившись автоматами от толпы рыдающих и рвущихся матерей и стариков, немцы погнали детишек на стадион. Там их расстреляли. Совсем маленьким они смазывали губы каким-то сильнодействующим ядом. Перед казнью немецкий офицер прокричал несколько слов:

— Ви есть руссиш киндер... Ви есть враг германски государств. Мы будем уничтожайт каждый руссиш род...

Затем он два раза выстрелил из пистолета, и два мальчугана упали к его ногам. Потом началось страшное...

Все это узнал Павел со слов скупно плачущей жены. Слез у нее уже не было. Павел спросил:

— А могилка где?

— В братской они похоронены, с бойцами вместе... На площади, где памятник был...

Накинув шинель, Павел вышел из дома. Почти бегом добежал он до площади. На деревянном обелиске было

много фамилий и имен. В одном из столбиков он увидел и свою фамилию: Захаров.

Затуманенными глазами прочел:

«Захаров Петр — 10 лет.

Захаров Александр — 10 лет.

Захарова Анна — 3 года».

Он поднял глаза:

«Свиридова Софья — 2 года.

Свиридов Георгий — 8 месяцев».

И еще, и еще фамилии и имена. Многих из них он знал, с отцами многих из них дружил, вместе спускался в забой, в праздничные дни ходил с гармошкой по поселку...

Русские дети лежали в могиле. Вместе с ними лежали бойцы и командиры:

«Старший лейтенант Безменов Владимир.

Гвардии сержант Кучерявов Иван.

Красноармеец Поляков Петр...»

И вдруг Павел вспомнил переданные женой слова немецкого офицера: «Мы будем уничтожайт каждый русиш род...»

Павел вытер глаза. Подожди, подожди... Каждый русский род? Это значит, всю его семью? Это — чтобы кончился потомственный русский род шахтеров Захаровых, чтобы кончился род Свиридовых, Лапиных, Безменовых?! Каждый русский род! Павел закрипел зубами. Род Захаровых! Но его род стоит на русской земле много десятилетий, крепко, корнями своими уходит глубоко в Смоленские леса, в которых в Отечественную войну 1812 года бил наполеоновскую армию отряд партизан под командованием крепостного крестьянина Захара. Все партизаны из этого отряда после войны стали Захаровыми.

С той поры, от той Отечественной войны и идет род Захаровых, а истоки его уходят еще дальше. И этот род немцы хотят истребить?

Павел вспомнил своего отца, который пришел с войны 1914—1918 годов с двумя «Георгиями» и, показывая их сыну, говорил:

— Солдатский крест — высокая награда. Германец — хитрая вражина, его победить — не раз плюнуть. Но против русского он не устоит: ряшка у него здорова, глаза здоровы, пузо здорово, а кишка тонка. Из-за той кишки немец против русского что медный болван против человека: звону много, грому тово больше, а стойкость сомнительная...

Все это было давно. Теперь он сам в солдатской шинели, и на гимнастерке у него солдатская медаль «За отвагу». Был он десять лет отцом семейства, и вот нет у него детей. Все лежит под землей: его кровь, его сердце, его думы, его счастье — все лежит, убитое врагами. И только два чувства сохранились, жгли каленым железом его душу — ненависть и жажда мести.

Павел уже не плакал. Надев ушанку, он шел от братской могилы мимо искалеченных, побитых домов. Его дом уцелел. Павел толкнул дверь. Отец, жена, брат смотрели на него выжидающе, молчали.

Он сел к столу, снял ушанку, провел ладонью по стриженной голове. Потом поднял воспаленные от слез и бессонницы глаза, спросил жену:

— Так ты говоришь, что он сказал: «Будем уничтожать каждый русский род»? Та-а-ак! — Павел вышел из-за стола и посмотрел на родных. — Как же мы теперь будем жить? Неужели наш шахтерский род Захаровых должен погибнуть?

Отец поднялся с лавки. Он был стар, шестьдесят пять лет уже ходил по земле.

— Паша, сын, я ухожу из дома...

— Куда, отец?

— Я сговорился... В солдаты не берут, в дорожники сгодился. Я не могу в хате сидеть, когда на земле такое

творится, я — Захаров.

Павел посмотрел на брата.

— И я уйду, Паша... Меня берут в минометчики. Я сумею, ты не бойся.

— А я и не боюсь. Спасибо, брат. — Павел обернулся к жене. — Перемучайся, Женя, перекричи, переплачь. Одна останешься дома, одна из всей семьи.

Жена отрицательно покачала головой.

— Нет, Паша, я не останусь... Тяжко. Не смогу я ходить спокойно по земле — подошвы горят. Воду пить не могу — горькой она мне кажется; на небо взглянуть не могу — черные тучи вижу, гром слышу. Уйду я с тобой. Попроси командира, объясни, не откажет он...

Так они сидели в осиротевшем доме до утра, четыре взрослых человека, и вспоминали трех малых детей и старуху мать. И не плакали взрослые люди, потому что война иссушила слезы.

А утром ушел Павел Захаров к командиру и узнал о том, что его часть отправляется на передовые позиции. Все рассказал Павел командиру, все, вплоть до того, как Нюрочка молоко из соски сосала, как глаза щурила, когда солнышко сквозь занавеску в комнату пробиралось. И разрешил командир Евгении Захаровой стать бойцом Красной Армии.

Еще раз Захаровы собрались в своем доме. Обменялись адресами. И у всех это были полевые почты. Перед прощанием сказал старый Иван Захаров:

— Уходим мы сейчас на войну всем семейством, всем нашим родом честным шахтерским. Павел Захаров уже воевал, медаль своею кровью заработал. Андрей, ничего что кривой, тоже не посрамит семейство, и ничто ни в поселке, ни на улице, ни на всей шахте не скажет, что Захаровы сплошали, что простили немцам кровь своих детей, кровь русских людей. Никто не скажет этого, потому что все семейство воет с немцами.

— Не одни Захаровы, отец, — сказал Павел и назвал много шахтерских фамилий из поселка, что ушли на войну целыми семьями. Были здесь семьи и Василия Шибанкова, и Филиппа Рудкина, и Дмитрия Пескова, и Владимира Грецкого, и многих других.

— Не мы первые, не мы последние, — сказал Иван Захаров.

Затем все присели и помолчали — перед прощанием, перед разлукой, как по старому русскому обычаю принято.

Первым ушел Павел Захаров с женой, потом Андрей пожал отцу руку, обнял его и поцеловал. Иван Захаров стоял у калитки, а когда все скрылись, взял заготовленные доски, гвозди, молоток и забил крест-накрест окна и двери. Потом перекрестил порог и снял шапку. Кинув за плечо старый выцветший вещевой мешок, он пошел вдоль улицы, кланяясь окликавшим его женам и матерям шахтеров...

Не часто Павел Захаров и жена его Евгения Захарова получают письма от отца и брата. Видимо, далеко разбросала их война, за много сотен километров друг от друга находятся их полевые почты. Но как бы ни были редки эти весточки, каждая приносит радость измученной душе Павла. Андрей воюет хорошо. Он пишет: «Род Захаровых и на нашем фронте в чести, в почете. Миномет мой бьет без промаха...»

Малоразборчивым почерком отец сообщает о том, что дороги, которые он строит сообща с другими дорожными мастерами, вызывают одобрение шоферов и начальства. Отец все надеется увидеть на дороге в часы наступления своих сыновей Павла и Андрея, — пусть сами одобряют работу старика Захарова.

Не так часто Павел видится с женой. Она стала снайпером. Двенадцать немцев уже на ее счету. «Это мало, это еще очень мало», — говорит она.

Павел стал разведчиком. Много раз побывал он в тылу у немцев. Сам убил до трех десятков врагов. А сколько уничтожено после его разведок артиллерией? Разве точно сосчитаешь?

Все это родовой счет мести семьи Захаровых. За своих детей. За свою мать. За свою землю.

Нет, не уничтожить фашистам русской семьи Захаровых. Издалека ведет она свое начало. Всем семейством, всем родом встали они на защиту родины. И каждая воинская победа Павла, Андрея, Евгении Захаровых, каждый трудовой подвиг их отца Ивана Захарова — это честь их русского рода.

Июнь 1943 г.

Ата Каушатов. СЕМЬЯ ОХОТНИКА КАНДЫМА

/

Вечером после работы Акчагуль сидела во дворе на пороге дома и задумчиво посматривала вдаль, за ворота.

Осеннее ноябрьское солнце уже спускалось к горизонту и ярко освещало ее красное платье, суровое бронзовое лицо и черные волосы с легкой проседью.

В ворота торопливо вошел Гуджук, бородатый увалень с простодушным, глуповатым лицом, родной брат покойного мужа Акчагуль. Одной рукой он нервно тербил бороденку, а в другой держал исписанные листки бумаги. Увидев Акчагуль, он вдруг остановился, вскинул брови и растерянно заморгал своими бараньими глазами. Бумажки в руке его задрожали.

Акчагуль взглянула на него и насторожилась.

— Ты что, Гуджук? — спросила она голосом, полным тревоги.

— Да ничего... Так я... — пробормотал Гуджук, сел рядом с ней, поднял щепку и стал ковырять землю. Он был чем-то очень взволнован и даже подавлен.

— Что случилось, Гуджук? Что это у тебя за бумажки? — с нарастающей тревогой допытывалась Акчагуль.

Гуджук посмотрел на нее все так же растерянно и нерешительно кашлянул.

— Это, видишь ли... Уж если такая судьба, ничего не поделаешь, надо терпеть... Мурад...

— Мурад?..

Акчагуль порывисто схватила Гуджука за руку и отшатнулась. Глаза ее стали огромными и загорелись сухим блеском.

— Да, он убит, Акчагуль, — дрогнувшим голосом сказал Гуджук и приложил левую руку ко лбу в знак горькой печали.

Акчагуль вскрикнула, закрыла глаза и побледнела, у нее перехватило дыхание. Гуджук испугался, жалко заморгал глазами. Ему показалось, что она умерла. Но Акчагуль порывисто встала, вскинула руки, закрыла лицо, и по всему аулу пронесся ее пронзительный, стонущий вопль.

— Ой!.. Ой, горе мне!.. Ой, Мурад!.. Что теперь делать?

Люди в соседних дворах, услышав этот горестный вопль, вздрогнули, насторожились, а потом со всех ног бросились на крики Акчагуль. На бегу они взволнованно спрашивали:

— Что такое?.. Что случилось?.. Почему она так кричит?

А несчастная Акчагуль, припав головой к косяку двери, рыдала, сотрясаясь всем телом, и со стоном причитала:

— Ой, Мурад!.. Мой единственный!.. Угас свет моих глаз! Угас узор моего ковра!.. Ой, дитя мое!..

Гуджук утирал кулаком слезы и показывал подбегавшим к нему два исписанных листка бумаги.

Скоро весь двор заполнился народом. Женщины, припав друг к другу, громко рыдали. Мужчины тоже горестно причитали, плакали. Вся эта пестрая толпа была в великом смятенье. Причитанья и вопли слились в сплошной гул.

И вот в это время во двор въехал на осле рослый, широкоплечий старик с белой бородой. Как бы не замечая ни смятенья, ни воплей, спокойно и молча,

покачиваясь на осле, он проехал сквозь толпу в конец двора.

Осел подошел к колу, вбитому в землю возле забора, к которому его обычно привязывали, и остановился.

Старик слез с осла и снял с него пятипудовый мешок с пшеницей. Кто-то из толпы бросился помогать ему. Но он не нуждался еще ни в чьей помощи. Он легко вскинул мешок на спину, так же спокойно и молча прошел сквозь толпу, почтительно расступившуюся перед ним, к дому и сбросил мешок за дверь. Потом он встал на пороге во весь свой могучий рост, посмотрел вокруг и строго спросил:

— Что за крик? Чего вы вопите?

Женщины притихли, притихли и мужчины, которые, по обычаю, громко причитали: «Ой, брат мой!» Старик неторопливо вынул из-за кушака кисет, взял чилим, стоявший у стены возле двери, набил его табаком. Черноглазый семилетний мальчуган проворно схватил железные щипцы, притащил из дома уголек и положил в чилим на табак.

Старик, булькая чилимом, затянулся раза два, окутался дымом, посмотрел на заплаканных мужчин и женщин, на обессилевшую от горя, все еще громко рыдавшую Акчагуль, сдвинул брови и еще раз затянулся густым дымом. Потом спросил спокойно:

— Ну, что случилось?

— Отец, вот письмо... про Мурада пишут, — сказал Гуджук, утирая рукавом глаза, и протянул старику бумажки.

Старик посмотрел на бумажки, не беря их в руки, и спросил:

— Ну и что же пишут про Мурада?

— Убили его... Пишут его товарищи. Вот они и адрес свой написали... Только одни пишут, что он убит, а другие, что он без вести пропал. Не знаю, что и думать?..

Брови старика чуть дрогнули. Он затаился, пыхнул дымом и сказал:

— Ну, спасибо им, что написали! Стало быть, любили Мурада... А чего же кричать? Чего вы ревете-то, как стадо быков?

И он обвел толпу суровым взглядом.

Все молчали. Гуджук раскрыл было рот, хотел что-то сказать, но, заметив, как сурово старик шевельнул седыми бровями, закрыл рот ладонью и только кашлянул.

— Чего вы ревете? К чему это все, я вас спрашиваю? — продолжал старик. — Разве плакали ваши деды и прадеды, когда иранские шахи пытались захватить нашу землю? Они сажались на коней и рубили врагов. С одними саблями они бросались против каджарских ружей и медных пушек. А вы плачете... И какая же война бывает без жертв? Разве мы на свадьбу посылали наших внуков и детей? Не кричать, не рыдать надо, а гордиться, что Мурад наш был настоящим джигитом. Не будь он таким, о нем не писали бы товарищи. А ну, Гуджук, дай-ка мне эти письма!

И он взял помятые листки, бережно сложил их и сунул за пазуху.

Старик этот был известный во всей округе охотник Кандым, который прожил уже восемьдесят лет и не потерял еще ни силы ума своего, ни силы рук, ни меткости глаза. А скорбная пестрая толпа, стоявшая перед ним во дворе, состояла из его детей, внуков и правнуков, из их жен и матерей.

Старый Кандым был главой этой огромной дружной семьи. У него было восемь сыновей. Но самый старший из них умер, когда жена его Акчагуль, кроме двух дочерей, родила ему еще сына Мурада и когда он только что обзавелся своей кибиткой.

Акчагуль с помощью Кандыма и всей семьи вырастила и воспитала детей. Ее все уважали, и все

любили ее сына Мурада. В огромной семье Кандыма Мурад как бы заменял своего покойного отца, на которого он был очень похож.

Сахат, второй сын Кандыма, лет пятидесяти, нерешительно потоптался на месте и сказал:

— Это верно, отец. Ты хорошо говоришь... Но если Мурад умер, мы хотим спросить тебя: не справить ли поминки?

— Эх, вы!.. — горько усмехнулся старик. — Не мужчины вы — заячьи души! Не о том ты думаешь и говоришь, Сахат. Уж если мы сами не способны воевать, не можем заменить Мурада, то надо думать о том, как бы помочь тем, кто бьет врага за нас. Да, и скорее помочь! А не тратить попусту время на молитвы. Вот и ты, Гуджук, торчишь тут и не думаешь о том, что ты мог бы быть хорошим солдатом. Ты еще молод, тебе всего-то сорок первый год. Еще недавно ты так скоблил бритвой свой подбородок, что он был красный, как морковь, ты хотел казаться моложе своих младших братьев. А как началась война, ты забросил бритву, моешь бороду кислым молоком, чтоб она скорее выросла до колен. Напрасно стараешься. Все женщины знают, что ты еще мальчишка... Эх ты, я на твоём месте не бегал бы по дворам, не пугал бы людей, а был бы там, на фронте.

Жена Гуджука со страхом посмотрела на старика и, волнуясь, сказала:

— Да какой же он мальчишка? Он уже седесть начал... И больной он. Какой же он солдат?

Кандым усмехнулся.

— У лгуна, — говорит пословица, — свидетель всегда рядом. Так и у тебя, Гуджук. Если не годен для фронта, так ты хоть здесь-то не ленись, работай, не жалея своих сил... Ну, идите по домам и не кричите попусту.

Последние слова Кандыма прозвучали как приказ. Мужчины и женщины, опустив голову, побрели к воротам.

У порога осталась одна убитая горем Акчагуль.

Кандым ласково опустил руку на ее плечо.

— Не надо так убиваться, Акчагуль. Я не меньше тебя люблю Мурада, а не плачу. Ведь, может быть, и горе-то наше пустое. Слышала, что пишут товарищи? Один — «убит», другой — «без вести пропал». Они и сами хорошо не знают. А Мурад-то еще, может быть, и жив. Еще, может быть, и обрадует нас, вернется к нам... Я утром настрелял красавчиков. Они тут, за дверью, в углу лежат. Так ты приготовь их, поешь и ложись спать. А я скоро приду...

Он заложил руки за спину, вышел за ворота и не спеша пошел по улице к школе.

Солнце садилось. Восточный ветерок тревожно шелестел желтой листвою в садах. Откуда-то тянуло дымом и печеным хлебом.

Запыленные, усталые колхозники и колхозницы с кетменями на плечах возвращались с полей. Они торопливо шли, но не домой, а к школе — послушать последние известия. Такой уж обычай установился в ауле почти с первого же дня войны.

Когда Кандым подошел к школе, перед ним на голой земле уже сидели и лежали, подложив папахи под локоть, колхозники. Над входом в школу чернел рупор громкоговорителя. Передача уже началась, и все сосредоточенно слушали.

Кандым остановился и тоже стал внимательно слушать. Последние известия были нерадостные. Диктор густым, глубоким голосом говорил о том, что наши войска на Южном фронте, изматывая силы противника, отошли на северо-восток, а на Центральном фронте оставили город и два населенных пункта.

Колхозники слушали, покачивали головой.

И только лицо старого Кандыма было сурово, но спокойно, и вся его могучая фигура была неподвижна, как скала. Он до конца выслушал последние известия, повернулся и пошел домой. Скоро его догнали колхозники.

— Слышал, Кандым-ага? — спросил кривоносый старик. — Как же это так получается? У нас вон какая страна, сколько войска, а все «оставили» да «оставили»...

— Ну, оставили, и что же? Думаешь, оставили город, так и войне конец, все потеряли? Ты вот не охотник и не знаешь того, что скорее всего погибает тот зверь, который лезет на тебя напролом. Такой зверь хоть и злой, а дурак, сам своей смерти ищет.

Когда Кандым вошел к себе во двор, коровы и бараны сразу же потянулись к нему. Осел тоже повернул к нему голову и заревел. И Кандым понял, что Акчагуль нисколько не успокоилась. Она забыла накормить скотину. Этого никогда еще не бывало.

— Ах, бедняга!.. — покачал он головой и пошел под навес за сеном.

//

Пропели петухи, проревели ослы. Полночь давно уж прошла, а Акчагуль лежала на кошме и, заложив руки под голову, сухими, воспаленными глазами смотрела в черную ночь. Она слышала ровное дыхание Кандыма, крепко спавшего в соседней комнате, и думала: «Ах, Кандым, если б ты был помоложе! Ты отомстил бы за нашего Мурада. Но кровь в тебе уже остыла, и сердце твое не горит, как мое. Что же делать? Что же делать? Если бы я была мужчиной, хотя бы таким, как Гуджук, я бы знала, что делать».

И вдруг она вспомнила старинную легенду, которую рассказывала ей когда-то вечером у горящего очага бабушка. Акчагуль тогда было всего девять лет, а бабушка была седая, беззубая, морщинистая, но глаза ее горели, как у разгневанной девушки, когда она рассказывала эту легенду.

В давние-давние времена в одном ауле жила вдова. У нее был сын-красавец и красавица дочка.

Однажды иранский хан во время набега на аул отрубил голову сыну этой вдовы, сунул голову в хурджин и увез с собой.

У вдовы не было ни отца, ни братьев, никого, кто мог бы отомстить за сына. Тогда она сама решила отрубить голову ненавистному хану. Она надела халат, папаху покойного мужа, взяла саблю, села на коня, подъехала к крепости хана и стала ждать — не выедет ли хан из крепости.

Каждый раз, когда она возвращалась домой, она привозила в хурджине голову. Так прошло пятьдесят дней, и она привезла в аул пятьдесят голов, но среди них не было головы ненавистного хана.

Наконец, отчаявшись, она позвала самого храброго, самого красивого юношу в ауле, да и во всей Туркмении, и сказала ему:

— Я отдам тебе свою белую кибитку, полную добра, отдам дочь-красавицу, все отдам и сама тебе буду служить до самой смерти, только отомсти ты хану, погаси огонь моего сердца!

Юноша согласился и вместе со своими друзьями днем и ночью караулил вокруг ханской крепости. И вот однажды он и его друзья увидели, как из крепости, окруженный свитой, выехал на охоту единственный сын хана. Юноши выскочили из засады, стражу зарубили, а ханского сына связали и привезли в аул к вдове.

Вдова вскрикнула от радости, схватила саблю, одним взмахом отрубила голову ханскому сыну и

сказала:

— Отец твой отнял у меня единственного сына, сжег мое сердце, пусть теперь он сам узнает, что это за огонь!

Потом повернулась к юноше и сказала ему:

— Бери все мое добро, бери дочь мою, бери все, что хочешь.

Но юноша ничего не взял. Он уехал с друзьями и увез с собой только честь свою и добрую славу.

Акчагуль живо вспомнила этот бабушкин рассказ и долго думала о суровой, сильной духом и все-таки такой же несчастной вдове, как сама Акчагуль.

Ах, если бы она вот так же могла отомстить за Мурада! Но вдова-то, должно быть, была молода, а она, Акчагуль, уж старуха. И времена-то не те уж. Что она может сделать теперь с одной саблей? Нет, об этом и думать смешно! Но ведь и вдова все-таки не смогла сама поймать ханского сына, а позвала на помощь юношу и хотела ему отдать все свое добро.

«Так вот и мне надо отдать все свое добро тем, кто отомстит за Мурада, кто бьет сейчас фашистов на фронте».

И она стала перебирать в памяти, что она может отдать, чем она может помочь фронту.

Это ее успокоило, и она наконец задремала перед самым рассветом.

На рассвете проснулся Кандым и сейчас же вспомнил про Мурада. Он встал, оделся, распахнул дверь во двор, закурил чилим и сел у порога.

В ауле все еще спали. Было тихо, и только из соседнего двора доносился чей-то храп.

Кандым нахмурился и проворчал:

— Храпят и не думают о тех, кто сидит в окопах. Работать надо!.. Вот я еще скажу на собрании.

Через три дня, вечером седьмого ноября, весь народ аула собрался возле правления колхоза на торжественное собрание, посвященное двадцать четвертой годовщине Октября. Мужчины и женщины принарядились, и у всех были необычные, взволнованные лица.

За столом, покрытым красным сукном, на самом почетном месте в центре сидел старый Кандым, окруженный членами правления и бригадирами. Рядом с ним с одной стороны сидел председатель колхоза, а с другой стоял представитель райкома с развернутой газетой в руках и читал ее.

С горящими глазами колхозники подталкивали друг друга и шептали:

— Слышали? Слышали, сколько фашистов-то побито!..

— А Гитлер-то — не лев, а котенок, говорят. Слышали?

Когда представитель райкома кончил читать, долго еще не смолкали громкие рукоплескания и радостный гул.

Кандым неторопливо хлопал большими узловатыми ладонями и ласково посматривал на повеселевший народ. Но вот он встал, величественно обвел глазами толпу, и сразу все смолкло. Наступила такая тишина, что слышен был легкий шелест листвы на карагаче возле дороги.

— Спасибо нашим джигитам, молодым героям. Они защищают нас, проливают кровь на фронте. А мы?.. Что мы проливаем?.. — Кандым горько усмехнулся и взглянул на Гуджука. — Слезы... И сладко спим, пока солнце не встанет и не припечет как следует. Не стыдно вам? Или вы не туркмены? Если не кровь, так

хоть пот проливайте. Разве не слышали, как говорили по радио: каждая коробочка хлопка, каждое зернышко пшеницы — смертельный удар по врагу. Я старик, но у меня есть еще ноги и руки, меткий глаз, есть старое ружье, и я могу еще дать государству тонны мяса, могу бить волков, которые режут наших баранов. А вы чем можете помочь государству?

— Могу! — вдруг выкрикнула из толпы Акчагуль и так смутилась, что хотела уж спрятаться за спину соседа.

— Говори, говори, Акчагуль! — крикнул председатель колхоза. Он порывисто встал, отыскивая глазами в пестрой толпе Акчагуль. — Чем ты можешь помочь?

— Не знаю, годится ли это?.. — робко сказала Акчагуль.— Я хотела спросить вас... У меня есть золотые, серебряные украшения... Зачем они мне?

— Верно, верно, Акчагуль! — сказал старый Кандым, с ласковой улыбкой поглядывая на Акчагуль. — Старая пословица говорит: «Если нет у меня родины, пусть солнце и луна не всходят». А о побрякушках и думать нечего. Отдай, Акчагуль! Они пригодятся государству.

— И мы, и мы отдадим! — со всех сторон закричали женщины.

Представитель райкома поблагодарил Акчагуль за ее хорошее предложение, потом всех женщин за то, что они единодушно поддержали Акчагуль, и рассказал, какую огромную роль сыграли такие приношения во времена Минина и Пожарского.

Кандым внимательно выслушал его и сказал:

— Это так, но все-таки самое главное — надо всем хорошо работать. На побрякушки все-таки не купишь того, что мы можем дать своим трудом.

— Ты перехватил мои мысли, Кандым-ага, — засмеялся представитель райкома. — Как раз об этом-то

я и хотел сказать. Спасибо, что пожалел мой язык.

Скоро собрание кончилось, но взволнованный народ не расходился. К столу подошла почерневшая, осунувшаяся Акчагуль, вынула из мешочка свои драгоценности и спросила председателя колхоза:

— Кому это? Тебе, что ль, отдать?

Кандым посмотрел на нее, и в глазах его мелькнула радость и вместе с тем глубокая грусть.

IV

Акчагуль не щадила себя. Она вставала до рассвета, готовила обед и сейчас же вместе с народом уходила в поле и работала до поздней ночи с особым усердием. Во время работы она непрерывно думала о Мураде, а ночами ей снились сны опять-таки про бедного Мурада.

Она худела с каждым днем и стала как-то не в меру молчаливой. Кандым посматривал на нее и тоже молчал. Он чувствовал, что невестке не очень-то хотелось разговаривать с ним.

А в сердце ее и в самом деле росло к нему какое-то недоброе чувство. Она сердилась - на него за то, что он даже поминки не позволил устроить.

— Упрямый старик! — проснувшись как-то поутру, сердито заворчала она. — Да как же это не помянуть единственного сына, да еще такого, как Мурад? Ведь это грех. Оттого-то и снятся мне такие страшные сны. И чего я послушалась старика? Нет, нет, надо устроить поминки!

И она сейчас же выбрала одного барана, привязала у забора и дала ему сена. Пусть покормится, жирнее будет к пятнице. А в пятницу она зарежет его и позовет народ поминать Мурада.

Кандым видел это, но ни слова не сказал ей, только подумал: «Пусть делает, что хочет, лишь бы

успокоилась, бедняга».

В четверг поздно вечером, вернувшись с работы, Акчагуль сидела у порога и мыла казан, готовила посуду для завтрашних поминок. Кандым стоял тут же во дворе под навесом и чистил ружье. Они молчали и хмуро думали каждый о своем.

Вдруг на улице за высоким глинобитным забором послышался торопливый топот множества ног и радостный голос Гуджука:

— Акчагуль! Акчагуль!

Акчагуль побледнела, выронила из рук казан и схватилась за сердце.

В ворота, неуклюже раскачиваясь, вбежал Гуджук, а за ним почти вся семья старого Кандыма.

— Он жив! Он жив, Акчагуль!.. Он сам прислал письмо! — кричал Гуджук, размахивая бумажкой.

Акчагуль пошатнулась и упала, потеряв сознание.

— Эх, дурак! — крикнул с досады Кандым и бросился к Акчагуль.

А Гуджук вскинул брови, встал как пень и заморгал глазами.

— Да разве можно так, — бранил его Кандым, — когда горе выжгло сердце у нее? А вы чего стоите? — крикнул он на женщин, прибежавших вслед за Гуджуком. — Полейте ей на голову и поднимите ее!

Женщины засутились возле Акчагуль. Акчагуль скоро пришла в себя, обвела всех взглядом и спросила слабым голосом:

— Он жив? Жив? Это правда? — и улыбнулась.

Скоро Акчагуль совсем оправилась и попросила прочитать письмо сына.

Кандым взял письмо у Гуджука и дал своему тринадцатилетнему внуку:

— Прочти нам, Ораз!

Ораз расправил смятый лист бумаги и стал бойко читать. Добрая половина письма состояла из обычных

приветов — матери, деду Кандыму и многочисленным родственникам. Когда Ораз прочитал имя Гуджука, Гуджук заморгал глазами, поднял палец и, склонив голову набок, сказал:

— О!.. Слышите, слышите! Он и меня не забыл!

— Как забудешь такого мудреца, — добродушно усмехнулся Кандым.

И вся эта огромная семья, собравшаяся во дворе, захохотала.

Дальше Мурад подробно описывал, как он во время разведки в тылу у немцев ночью был тяжело ранен и, вероятно, умер бы, если бы на него не набрела случайно одна добрая старушка. С помощью снохи и внука она перенесла его к себе в хату, ухаживала за ним, как родная мать, и он выздоровел. Потом она отвела его в лес к партизанам.

В партизанском отряде он пробыл почти полгода, бил фашистов, взрывал мосты и пускал под откос их эшелоны с горючим и боеприпасами. Потом подошла Красная Армия, оттеснила немцев на запад, и он снова попал в свою часть, которая готовится сейчас к дальнейшему наступлению.

Мурад писал обо всем этом с обычной своей жизнерадостностью, но без малейшего хвастовства, как о чем-то самом повседневном. Это понравилось Кандыму, и он сказал:

— Радуйся, Акчагуль! Наш Мурад — настоящий человек, честный воин!.. А не пишет он, — спросил он Ораза, — где живет эта старушка? Надо бы ей написать.

Ораз повернул письмо боком и прочитал приписку Мурада. Мурад просил мать, деда и всех родственников написать его второй матери Матрене Денисовне Роговой и поблагодарить ее за то, что она спасла ему жизнь.

— Да продлятся дни ее! — проникновенно, от всего сердца прошептала Акчагуль.

— Да продлятся дни ее! — порывистым ветром пронеслось по толпе.

Ораз сложил письмо и отдал Акчагуль.

— Ну вот, я так и знал, что он жив! — вдруг оживился Гуджук. — У меня все время чесался левый глаз, и я сказал жене: «Вот увидишь, это к радости».

— И я тебе говорила, помнишь, Акчагуль? — бойко затараторила жена Гуджука. — Я видела во сне Мурада, как он ехал на буланой лошади. А лошадь видеть — это ко лжи. Вот и вышло — все это вранье, будто он помер. Я так тебе и сказала тогда: «Не горюй и жди теперь хороших известий». Все по-моему вышло.

Кандым закурил чилим и сказал с добродушной усмешкой:

— Все-то вы умными стали, все-то вы знаете...

— Гуджук, — сказала Акчагуль, посмотрев на барана, приготовленного на поминки Мурада, — когда вернется Мурад, Мы устроим большой праздник, а сейчас на радости устроим пока маленький. Завтра некогда будет пировать, работать надо. Зарежь-ка его сейчас, а я разведу огонь.

— Ну что ж! Я мигом сдеру с него шкуру! — обрадовался Гуджук.

Кандым засмеялся.

— Наконец-то, Гуджук, нашлось тебе дело по душе и по силам. Когда ты уписываешь жирную каурму с горячим хлебом, ты настоящий богатырь. Никто лучше тебя этого не делает!

Гуджук не обиделся. Не до того ему было. Он уже стоял в углу двора и обдирал барана.

Иван Стаднюк. СВОИМИ РУКАМИ

Аркадий Маркович Филонов сидел рядом с шофером и, откинувшись на спинку сиденья, устало смотрел сквозь ветровое стекло на лесную дорогу. Дорога то петляла по глухо заросшей лесной вырубке, то плавными изгибами юлила между высокими медностволыми соснами.

Мимо промелькнула, точно пробежала навстречу машине, кривобедрая ель со свежими, заплывшими янтарной смолой шрамами — следами осколков. Старый хирург вздохнул.

Только что сейчас, в лесу, около сгоревшей деревни Марфино, он оперировал юную санитарку Веру Наварину. Надолго останется в его памяти эта операция. Почему? Ведь он оперировал тысячи людей. Может, потому, что эта славная девушка, с бледным лицом и помутневшими от нестерпимой боли глазами, с бисеринками пота над верхней губой и на лбу, напомнила ему дочь?.. Может. А может, и нет.

Перед глазами встала просторная палатка полкового медпункта. Серая парусина расцвечена желтыми пятками. Это пробивались сквозь кроны ветвей солнечные лучи. Посредине палатки — операционный стол, на котором лежала тяжело раненная Вера Наварина. Молоденький врач из полковой санроты растерянно глядел на Филонова. Время упущено... Долго пролежала в лесу раненая санитарка, прежде чем ее нашли.

И главный армейский хирург, генерал медицинской службы Филонов, случайно оказавшийся в полку, начал готовиться к сложной операции.

Девушка умоляла:

— Не надо... милый доктор... Отвезите меня к отцу... Только он спасет, больше никто. Или его вызовите...

Молодой врач объяснил Аркадию Марковичу, что отец Веры Навариной — тоже хирург. Он работает начальником армейского хирургического подвижного госпиталя, который расположен не так далеко. Филонов знал об этом госпитале, но побывать в нем еще не успел, так как всего лишь неделю назад прибыл в Н-скую армию.

— Отвезите к отцу, милый доктор... Только он... — твердила Вера.

Филонов понимал, что девушка не вынесет переезда в госпиталь и что нельзя терять ни минуты. Не было гарантии, что даже немедленная операция спасет юную санитарку.

Над операционным столом вспыхнула ярким светом аккумуляторная электролампа. Заискрились бисеринки пота на бледном лице девушки.

Аркадий Маркович начал готовиться к операции...

Дорога вильнула вправо и вынесла машину на широкую поляну. Филонов сощурился от солнца, ударившего в глаза, и вздохнул.

«Да. Время... Упустить в нашем деле время — нередко значит потерять чью-то жизнь...» Вспомнилось, что, когда ехал в деревню Марфино, намеревался вначале завернуть к артиллеристам, но потом поехал прямо. А завернул бы?.. И опять вздыхает старый хирург.

«А она, глупенькая, к отцу просилась. Умерла бы! — И Аркадию Марковичу стало нестерпимо жалко незнакомого ему отца санитарки. — Нужно позвонить... Только как же его фамилия?.. Наварин?»

И вдруг Аркадий Маркович вспомнил, как два года назад, когда он замещал начальника санитарного

отдела штаба Н-ской армии на Северо-Западном фронте, к ним в отдел прислали нового работника — майора медицинской службы Наварина.

«Нет, не может быть!..» Филонову очень захотелось, чтобы отец Веры оказался не тем, знакомым ему Навариным...

В памяти всплыло пышущее здоровьем лицо. Широкая белозубая улыбка, румяные щеки, крутой лоб, на который спадала густая прядь черных с проседью волос. Из-под широких бровей смотрели чуть выпуклые коричневые глаза. В них — уверенность в себе, твердость и в то же время располагающее радушие... Сначала Аркадию Марковичу понравился майор медслужбы Наварин — серьезный, прошедший немалую жизнь человек. И работником оказался неплохим: подолгу засиживался в своей землянке, с педантичной придирчивостью относился к поступающей из войск документации, охотно ездил в дивизии обследовать работу медсанрот и медсанбатов, бывал в госпиталях.

Вот только докладные, которые, возвращаясь из очередной командировки, писал Наварин, не по душе были Филонову. Одними черными красками изображал майор положение в госпиталях, медсанбатах, санотделах дивизий. Конечно, недостатки, на которые указывал Наварин в докладных, не были придуманы им, они, видимо, имели место, однако, по мнению Аркадия Марковича, за недостатками нельзя было не видеть и того большого, неоченимого, что делают медицинские работники на фронте. Об этом он часто говорил Наварину.

Филонов понимал, что одних разговоров здесь мало, что нужно бы раз-другой поехать вместе с Навариным в войска и там показать ему, из чего следует исходить, оценивая работу госпиталей, медсанрот. Но до этого у него не доходили руки.

Как-то на армейском совещании хирургов один командир медсанбата прозвал Наварина «собирателем жучков». Его поддержали другие: «Ездит, выискивает недостатки, а помощи ни советом, ни делом не оказывает».

И вот поступила очередная докладная записка Наварина. Аркадий Маркович не поверил своим глазам: в выводах докладной предлагалось снять командира медсанбата майора медслужбы Михайлова с должности. Почему? Не потому ли, что Михайлов критиковал Наварина на армейском совещании хирургов? Это он, кажется, прозвал его «собирателем жучков»...

Филонов отложил все свои дела и поехал в медсанбат. Там убедился в несостоятельности этих выводов. Ему стало окончательно ясно, что такого человека, как Наварин, нельзя держать на руководящей работе. Об этом он откровенно заявил на партийном собрании санотдела. В ответ последовала жалоба Наварина в санитарное управление фронта — жалоба на него, Филонова. Затем появилась комиссия, обследования... Создалась обстановка, при которой стало трудно работать.

И вдруг поступило распоряжение: выделить двух лучших хирургов на курсы в Москву.

Аркадий Маркович глубоко вздохнул и досадливо поморщился. Он вспомнил, как писал характеристику на Наварина, рекомендуя его на учебу.

«Вот так мы иногда спихиваем на чужие руки неспособных работников, — с горечью подумал он.— Даже в должностях повышаем, лишь бы избавиться от них... Впрочем, Наварин, кажется, хирург опытный. И раз стал начальником госпиталя, значит, и руководить научился. Время-то идет...»

Впереди, в гущине леса, забелела черточка шлагбаума. Вскоре шлагбаум остался позади, и по обеим сторонам дороги замелькали зеленые холмики

землянок. Здесь размещался второй эшелон штаба армии...

Филонова ждало спешное дело. По дороге в штаб фронта тяжело ранен при бомбардировке с воздуха заместитель командующего армией по тылу. И вскоре Филонов вместе с операционной сестрой сидел в тесной кабине санитарного самолета.

...Возвратился Аркадий Маркович через три дня. Усталый, измученный, но удовлетворенный: жизнь раненого генерала спасена. И когда вошел в свою тесную землянку с задрапированными марлей стенами, блаженно посмотрел на застеленную койку. Две ночи не спал. Только сейчас почувствовал, как заныла спина, как загудело в голове.

Скрипнули ступеньки, ведущие в землянку. Постучав в дверь, вошла девушка в военной форме и положила на стол папку с бумагами. Когда девушка ушла, Филонов присел к столу и открыл папку. Сверху увидел расшифрованную телеграмму из санитарного управления фронта. На ее уголке красным карандашом была выведена резолюция начальника санотдела. «Тов. Филонову — к исполнению. Срочно».

Первые же строчки телеграммы заставили Аркадия Марковича насторожиться, напрячь внимание. В телеграмме говорилось:

«Н-ский медико-санитарный батальон подвергся бомбардировке и понес потери. В это время прибыло две машины с тяжелоранеными. Раненых без обработки отправили в хирургический полевой подвижной госпиталь подполковника медслужбы Наварина. Госпиталь, вместо того чтобы принять раненых и срочно обработать их, завернул машины обратно в медсанбат. Двое тяжелораненых скончались в пути...

В случае отсутствия уважительных причин виновных предать суду...»

Филонов шумно выдохнул воздух и взялся за следующую бумагу. Это было подтверждение из санотдела дивизии.

«Госпиталь завернул машины с ранеными, — читал Филонов. — На обратном пути умерли старшина Ерохин и санитарка Наварина, которая после операции, сделанной на полковом пункте, направлялась для транспортировки в госпиталь...»

Аркадий Маркович все смотрел на расплывающиеся перед глазами строки, а в ушах его звучал слабый голос Веры Навариной: «Милый доктор... отвезите меня к отцу. Он спасет...»

— Умерла... — прошептал Филонов и зажал руками седую голову. — Везли в госпиталь, к отцу... Какой же подлец завернул машины?.. Нужно ехать...

Перед Аркадием Марковичем встало лицо Наварина. Ему почему-то казалось, что это именно тот самый Наварин. И оттого, что он его знал, было еще больнее. Горе знакомого человека всегда ближе принимается к сердцу, если даже этот человек не симпатичен. Хотелось побыстрее оказаться рядом с ним, помочь, утешить. Но разве утетишь? Родная дочь!..

Филонов протянул руку к телефону, стоявшему на столе, взял трубку.

Вскоре он уже говорил с санитарным отделом штаба дивизии, в которой совсем недавно служила санитарка Вера Наварина.

— Доложите точно, кто именно завернул из госпиталя машины с ранеными, — требовал Аркадий Маркович.— Может, дежурный по госпиталю?

— Никак нет, — хриплым голосом отвечала телефонная трубка.— Раненые не приняты по личному приказанию начальника госпиталя Наварина...

— Наварин? Сам?..

Просторная комната с завешенными марлей окнами. Тишина. Ее нарушало редкое позвякивание металла и

стекла. Это старшая операционная сестра Сима Березина, закончив свою смену, наводила порядок на инструментальном столе. Её миловидное лицо, с большими, темными от густых ресниц глазами, было задумчиво. В ушах Симы еще звучала мольба раненого, которого только что унесли из операционной: «Доктор, сохраните руку, нельзя мне без руки, я слесарь... семья большая...» Но сохранить руку не удалось. Гангрена...

Сима покосилась в угол, где примостился за тумбочкой хирург Николай Николаевич Рокотов, увидела его широченную спину с завязанными тесемками халата, черные волосы на затылке, выбившиеся из-под белого колпака, услышала шелест бумаги: хирург заполнял карточку раненого. Сима вздохнула. «Неужели нельзя было ничего сделать?»

Из-за простынной перегородки вышла с ведром в руке стройная девушка в белом халате и косынке с красным крестиком. Это медсестра Ирина Сорока. В ведре — бинты в запекшейся крови.

Ирина остановилась у окна и попыталась сквозь сетку марли рассмотреть что-то на дворе. На ее широком, курносом лице — недоумение. Потом Ирина подбежала к двери, распахнула ее. Два санитаря осторожно внесли носилки с раненым, накрытым шинелью.

«Откуда? — в больших серых глазах Симы мелькнуло удивление. — Ведь палаточные все обработаны, а новых не поступало... Ни одна машина сегодня не приходила...»

Санитар Красов, пожилой рыжеусый солдат с морщинистым лицом, заметив недоуменный взгляд начальства, точно извиняясь, пояснил:

— Солдаты принесли. Прямо с передовой... на носилках...

— Шутите?! — не поверила Сима.

— Вон, посмотрите в окно. И уходить не хотят. Вчетвером несли с полкового пункта. В медсанбат и не заглянули. Говорят, слышали от одной санитарки, что у нас знаменитый хирург есть — Наварин.

Раненый стонал. Землисто-серое лицо, заострившийся нос, вздрагивающие веки на полузакрытых глазах. У Симы тревожно сжалось сердце, и она повернулась к Николаю Николаевичу, который, оставив свои бумаги, подошел к ручкомойнику с педалью и начал натирать стерильными щетками руки. Видит ли хирург, что раненый очень «тяжелый»?

Ирина Сорока тем временем снимала повязку с бедра раненого, которого положили на операционный стол.

— Ой! — вдруг вскрикнула она и отшатнулась от стола. — Посмотрите...

Сима подошла к операционному столу и увидела такое, что вся кровь прихлынула к сердцу и красивое лицо девушки побледнело. Над обнаженным бедром раненого возвышался черный, ребристый стабилизатор неразорвавшейся мины. Сима вспомнила случай, когда под Смоленском в лесу, где разбил свои палатки госпиталь, один санитар поднял такую мину, чтобы отнести ее в сторону. Мина взорвалась в руках...

При виде стабилизатора мины у хирурга Рокотова выскользнула из рук стерильная щетка. Он молча, округлившимися глазами смотрел на хвост мины, и было видно, как на его виске учащенно пульсировала розовая жилка.

— Всем выйти из палаты! — наконец проговорил Николай Николаевич. — Пригласите пиротехника.

Комната опустела. У операционного стола остались хирург и Сима Березина.

— А вы? — обратился к ней Рокотов.

— Я помогу. Подготовлю рану...

Подполковник медицинской службы Вениамин Владиславович Наварин слыл в госпитале отзывчивым, добрым человеком. Зайдет к нему в кабинет начальник отделения или рядовой врач, медсестра или санитар — всякому он скажет приветливое слово, поинтересуется самочувствием. Вениамин Владиславович выслушивал подчиненных, как отец родной. И особенно душевно откликался на всякие жалобы и просьбы.

Вчера санитар Красов в самую горячую пору, когда пришли машины с ранеными, оказался пьяным. Дежурный врач отстранил санитаря от работы, а заместитель начальника госпиталя по политчасти майор Воронов тут же объявил ему пять суток ареста.

Сегодня утром Красов, вместо того чтобы отправиться под арест, побежал каяться к начальнику госпиталя. Вениамин Владиславович внимательно выслушал немолодого рыжеусого солдата, пожурил его и, после того как Красов, жалостливо хлюпая своим рыхлым лиловым носом, пообещал и не «нюхать» больше хмельного, отпустил его. Затем пригласил к себе майора Воронова.

— Поймите, дорогой Артем Федорович, — увещевал сейчас Наварин замполита, — санитар Красов — человек пожилой, оторван от семьи, от дома. Ну, выпил рюмку, бывает такое, может, по детям загрустил. Внушить ему нужно, прямо скажу. Но старика под арест!.. Помилуйте, у нас же госпиталь, а не рота новобранцев. Потом и о другом не забывайте. Сегодня одного накажем, завтра второго, третьего. Через месяц настроим против себя весь госпиталь. Как же работать тогда?

Майор Воронов сидел на жестком топчане у стола и недовольно хмурил брови. В его немолодых глазах поблескивали недобрые огоньки, а скулы и подбородок на худом горбоносом лице казались твердыми, точно литыми. Вениамин Владиславович начал волноваться:

— Только поймите меня правильно. — Он даже привстал за своим письменным столом, заслонив широкой спиной окно. — Я не против дисциплины, наоборот. Но, прямо скажу, я против крайних мер...

— С такими порядками я согласиться не могу, — ответил Воронов, налегая плоской грудью на стол. — Ведь если придерживаться вашей точки зрения, то можно оправдать пьянку любого нашего работника, оправдать дезертира или самострела, вдруг такие окажутся. Все же оторваны от семей...

— Артем Федорович! Дорогой человек! — с дружелюбным недоумением воскликнул Наварин, усаживаясь на место и прикладывая обе руки к сердцу. — Зачем же сгущать краски? Люди-то наши, советские! Пошлите этого Красова сейчас, сию минуту, на самое опасное дело, на верную смерть, и он пойдет. Пойдет без малейшего колебания.

— Боюсь, что, если я отдам ему подобное приказание, он прибежит к вам...

— Почему же?

— Мое приказание, выходит, для него не закон. Я наложил взыскание, вы отменили через мою голову, не посчитались с Уставом. — Воронов отстранился от стола, и под ним жалобно, протестующе скрипнул топчан.

— А-а-а, вот тут вы правы, Артем Федорович! Прямо скажу: иногда забываю я о тонкостях Устава. Каюсь. Но уставы — не главное. Душу надо иметь! Нельзя подавлять человека. Я вот родную дочь, рядовую санитарку, не могу заставить перейти из полковой санроты в госпиталь. Девчонка самовольно из дому сбежала. Не хочет под начало отца — и точка. А силой не переведешь.

Майор Воронов отвернулся к окну, в которое заглядывала со двора ветка недавно отцветшей рябины. Двор — унылый, запыленный, заросший

бурьяном. Через улицу виднелось пепелище давно сгоревшего дома. Воронову не по себе. В который уже раз приходилось ему вести столь неприятные разговоры с начальником госпиталя...

В кабинет постучались. Вошла молодая женщина — лейтенант административной службы — и положила перед Навариным пакет с сургучными печатями.

— Распишитесь в получении, Вениамин Владиславович.— Женщина раскрыла журнал, вздохнула и неодобрительно покосилась на мрачного Воронова, как бы давая понять Наварину, что она сочувствует ему.

Наварин расписался в журнале, сломал на пакете сургуч. Достав бумагу, углубился в чтение...

Майор Воронов, посасывая не набитую табаком трубку, молчал. А начальник госпиталя, уткнувшись глазами в бумагу и нахмутив свои густые черные брови, точно позабыл о присутствии замполита.

В приказе, который лежал перед Навариным, четко и ясно говорилось: «Хирургический полевой подвижной госпиталь подполковника медицинской службы Наварина включается в систему головного полевого эвакуационного пункта...» Наварину предписывалось возглавить скомплектованный хирургический отряд и вместе с госпиталем быть готовым к передислокации в район тылов Н-ского полка.

— Сумасшествие! — всплеснул руками Вениамин Владиславович и торопливо начал разворачивать карту с нанесенной обстановкой. Отыскав на ней у самой линии фронта красный флажок подвижного медицинского пункта Н-ского полка, он обратился к Воронову: — Полюбуйтесь! Сюда приказано перебазироваться перед наступлением, почти на передний край.

Воронов внимательно посмотрел на карту, подумал и не торопясь ответил:

— Хотя и опасно немного, но, по-моему, место подходящее. Лес, пути подъезда хорошие, близко от больших дорог. Значит, и попутный транспорт будет на нас работать.

— Удивляюсь вам, Артем Федорович! — вскипел Наварин. — Дело же не в опасности. А как с взаимодействием между медсанбатами и эвакуопунктом? Снаряды, бомбы, окружение — ничто нам не может помешать в работе. Ничего мы не боимся. Но нарушить взаимодействие!.. Это именно и получится, когда мы выедем вперед за линию медсанбатов. Начнется чехарда. Медсанбаты встанут на колеса, и весь поток раненых к нам устремится. А нам же спасти этих раненых нужно! Жизни человеческие нам доверяют! Жизни! Мы обязаны свести смертность раненых к минимуму.

— Вы полагаете, этого не учитывали, когда составляли приказ? — сухо спросил Воронов.

— В том-то и дело. — Наварин снисходительно улыбнулся, и доброта, которая обычно светилась в его глазах, исчезла. — Сидят в санотделе штаба армии канцеляристы и сочиняют приказы. А у нас опыт. Помню, под Смоленском... Да что далеко за примерами ходить!.. Недавно командир медсанбата Михайлов прислал к нам без обработки две машины тяжелораненых. А ведь знает же, что не имеет права этого делать. И все-таки направляет. А что будет, если поток раненых увеличится? В каком положении мы окажемся, когда вперед медсанбатов выедем?

— Пойдите, пойдите, — перебил Наварина майор Воронов. — О каких двух машинах вы говорите?

— Три дня назад это было... Вот вы, Артем Федорович, упрекаете меня, что я Устав нарушаю. Где нужно, я за порядок костями лягу. Михайлов хоть и мой старый знакомый, на Северо-Западном фронте тоже в

одной армии были, а я его не пощадил. Завернул машины обратно и еще сообщу об этом начальству.

— Завернули? — Глаза майора Воронова потемнели, сделались колючими. — А может, медсанбат не мог?..

Во дворе хлопнула калитка, и слышались чьи-то торопливые шаги. В кабинет вбежала медсестра Ирина Сорока. Запыхавшаяся от бега, взволнованная, она, не спросив, как положено, разрешения, начала тараторить:

— Товарищ начальник! Раненого принесли, прямо с полкового медпункта. У него в правом бедре мина... в верхней части... Пиротехник говорит — трогать нельзя, может взорваться.

Наварин смотрел на взволнованную девушку, и его спокойное и твердое лицо выражало недоумение.

— Толком расскажите. Какая мина? — переспросил майор Воронов, поднимаясь со своего места.

— Немецкая! Небольшая, как свеколка. Застряла в бедре и не разорвалась...

Вениамин Владиславович хмурил брови, и над ними дергались мускулы. Такого случая он еще не встречал в своей практике и даже нигде не читал о подобном. Начал осмысливать услышанное. Сразу далеко отодвинулись только что одолевавшие его заботы... «В теле человека неразорвавшаяся мина. Нужно оперировать. Но мина в любой миг может взорваться. Погибнет не только раненый, но и хирург, и все, кто будет близко...»

Вениамину Владиславовичу показалось, что спинка стула, на котором он сидит, расслабленно подалась назад. И деревянные половицы под ногами вдруг показались дряблыми, скрипучими. Ему стало неприятно это состояние потерянности, и он нетерпеливо, со злостью забарабанил пальцами по столу. Ритмичная дробь пальцев как бы дала плавный ход мыслям, вернула его к действительности. Оторвав

взгляд от взволнованного лица медсестры, Наварин вопросительно посмотрел на майора Воронова, который старательно набивал табаком трубку с медным ободком на мундштуке.

— Доложить в санотдел армии? — проговорил Вениамин Владиславович и потянулся рукой к телефонному аппарату, стоявшему тут же на столе. — Алло! «Сосна»? Дайте двадцать седьмой... Попрошу главного хирурга. Нет его? Наварин говорит... К нам поехал?!

Вениамин Владиславович положил трубку и пожал плечами. Брови его вскинулись вверх, и на высокий лоб легла лестничка морщин.

— Главный армейский хирург, оказывается, к нам поехал... — вроде про себя, озадаченно промолвил Наварин. Повернувшись к Ирине, приказал: — Быстренько пригласите ко мне Николая Николаевича! Посоветуемся...

Ирина убежала за ведущим хирургом Рокотовым, а Наварин поднялся из-за стола и, озабоченный, начал ходить по кабинету. Воронов раскурил трубку и снова уселся на топчан у окна, время от времени кидая вопросительный взгляд на начальника госпиталя.

— Генерал Филонов только прибыл в армию,— промолвил Вениамин Владиславович, обращаясь к замполиту, — знакомиться с госпиталем едет, а тут такой случай! Небывалый...

Во дворе опять послышался топот. Это уже возвращалась Ирина. Раскрасневшаяся от бега, она ворвалась в кабинет и скороговоркой выпалила:

— Николай Николаевич не могут! Раненый на операционном столе!..

— Безумие! — простонал Наварин, страдальчески сморщив лицо. — Всю ответственность взвалил на свою спину. Может, я сам оперировал бы!.. Погубит себя и людей... — И, повернувшись к Воронову, спросил: — Что

теперь Филонов скажет? Знаю я этого ворчливого старика!

Вениамин Владиславович остановился у стола, точно прислушиваясь, не донесется ли со стороны школы, где размещен операционно-перевязочный блок, взрыв. И вдруг ему стало не по себе: сейчас нагрянет генерал-майор медицинской службы Филонов, а он, хирург Наварин, когда в его госпитале такое событие, вынужден быть в стороне! «И все из-за самоуправства подчиненных!..»

Наварин, сам не замечая того, почти бегал по кабинету, заложив руки за спину. Казалось, начальник госпиталя позабыл о Воронове, о медсестре, притихшей у дверей. Потом неожиданно остановился перед Ириной, посмотрел в ее растерянное лицо и приказал:

— Бегите к пропускному пункту. Как только заметите машину генерала Филонова, немедленно позвоните мне.

— Так они уже приехали! — сказала Ирина.

— Как? Когда?..

— Недавно! Приехали, узнали от солдат о mine — и в операционную. Они ж вместе с Николаем Николаевичем операцию делают...

Наварин, окатив медсестру досадливо-негодующим взглядом, пулей вылетел из кабинета. Без фуражки, с растрепанной шевелюрой, он крупной рысцей бежал к школе. Ему вслед строго и задумчиво смотрел в окно замполит Воронов.

Раненый, укрытый простынями, спиной вверх лежал на операционном столе. Обнажено только правое бедро. Сима Березина, промыв кожу вокруг раны и стараясь не слышать протяжного тихого стопа, смазывала ее йодом. Пальцы девушки словно онемели: то не могли попасть ватой, намотанной на палочку, в склянку с йодом, то не хватало сил притронуться к ребристому хвосту мины. Вспомнилось строго-деловитое лицо пиротехника —

молодого лейтенанта: «Трогать нельзя». Рокотов приказал пиротехнику удалиться...

— Быстрее, Березина, — торопил Симу хирург Рокотов, натирая спиртом руки. — Раненому плохо.

— Сейчас, сейчас, Николай Николаевич! — И Сима, обложив рану стерильными салфетками, кинулась к инструментальному столу. Ведь многое еще надо успеть сделать, прежде чем можно начать операцию.

Вдруг открылась дверь. В операционную, надевая на ходу халат, вошел незнакомый пожилой человек. На плече его сверкнул генеральский погон.

— Главный армейский хирург Филонов, — хмуро представился он, обращаясь к Николаю Николаевичу.

Филонов приблизился к операционному столу, несколько мгновений молча смотрел на угрожающе торчащий среди белых марлевых салфеток стабилизатор мины, потом, откинув с ног раненого простыню, начал щупать пальцами пульс на правой голени и стопе. Аркадий Маркович уже был в курсе случившегося.

— Зовите ваших сестер, — точно продолжая ранее начатый разговор, спокойно сказал Филонов Николаю Николаевичу.

Рокотов, полагая, что главный армейский хирург не подозревает об опасности, наклонился к нему и, стараясь, чтобы не услышал раненый, тихо сказал:

— Мина может взорваться...

— Всякое может быть, — ответил генерал. — Но солдата надо спасти, время не терпит. Зовите сестер!

— Я сама управлюсь, — вмешалась в разговор Сима.

Филонов кинул на нее быстрый взгляд и промолчал, сосредоточенно натирая мылом и щетками руки.

Сима спешила. «Солдата надо спасти», — повторила она про себя слова генерала, делая раненому укол морфия и кофеина. Теперь Сима была почти

уверена, что мина обязательно взорвется, взорвется потому, что «солдата надо спасать» прозвучало в ее сознании торжественно, и потому, что у нее прошел всякий страх. Мина взорвется, и они — Сима, Николай Николаевич, генерал Филонов — погибнут, навсегда утвердив своей смертью закон: «Солдата надо спасать...»

Но Симе все же не управиться одной. Нужно еще наложить маску, успеть приготовить для подачи инструментов свои руки. И в операционной появляется бледная от волнения девушка. Широко раскрытыми глазами она с ужасом косится на черный хвост мины и дрожащими руками берется за шприц.

Началось самое опасное. Не трудно рассечь клетчатку тела по оси раны. Но потревожить мину, взрыватель которой находится «на сносках»...

Сима стоит между инструментальными и операционными столами, подняв вверх руки. Напротив — армейский хирург Филонов и ведущий хирург госпиталя Рокотов. У них, как и у Симы, открыта только узкая полоска лица — глаза и лоб. Глаза сосредоточенные, нахмуренные, под марлевыми масками угадываются крепко сомкнутые губы.

Сима следит за мягкими движениями пальцев Филонова, в которых зажат скальпель, и без напоминания подает инструменты.

А вокруг — в коридорах, соседних комнатах, во дворе, на улице — небывалая тишина. Весь госпиталь прислушивается к тому, что происходит сейчас в операционной.

Рука Филонова ложится на хвостовое оперение мины. Сима чувствует, как в ее груди прокатывается холодок и замирает сердце, как немеют ноги. В голове бьется только одна мысль: если мина взорвется, — успеть бы отвернуться, чтобы осколки не изуродовали лицо, глаза...

В этот момент в операционно-перезязочную бесшумно вошел начальник госпиталя Наварин. В его вдруг ввалившихся темных глазах светилось не то отчаяние, не то самоотреченность. Всегда твердое и независимое лицо Вениамина Владиславовича сейчас было потерянным и необычайно бледным. Не обращая внимания на недовольный, сердитый взгляд генерала Филонова, Наварин кошачьими шажками подошел к операционному столу.

Сима стояла спиной к двери и не заметила, когда вошел начальник госпиталя. Она приготовилась подать Филонову хирургические ножницы, как вдруг к ее плечу прикоснулась рука Наварина. От неожиданности девушка вздрогнула. Ножницы выскользнули из ее рук и звонко ударились об пол. В напряженной тишине этот удар загремел как выстрел, как взрыв... И тотчас же Вениамин Владиславович проворно нырнул к ногам Симы, под стол...

Сима растерялась. Вначале ей показалось, что Наварин бросился поднимать выскользнувшие у нее ножницы. И ей, виновнице всего этого, хотелось побыстрее поднять их самой. Но окрик генерала Филонова: «Не смей!» — вовремя остановил операционную сестру. Ведь руки-то у нее стерильные, а операция не закончена...

Филонов, Николай Николаевич, Сима Березина с удивлением смотрели на Наварина. А он, длинный, в белом халате, прикрыв голову руками, несколько секунд полежав без движения, начал подниматься — медленно, с похрустыванием в коленях. Затем расхлябанной, старческой походкой зашагал к дверям, прижимая правую руку к сердцу...

Наварин возвратился в свой кабинет подавленным.

— Что с вами, Вениамин Владиславович? — встревожился майор Воронов, положив телефонную

трубку. Его задержал в кабинете звонок из политотдела армии. Там уже знали о двух не принятых госпиталем машинах с ранеными...

— Сердце, Артем Федорович... — Наварин, обессиленный, опустился на табурет. — Сейчас в операционной такой приступ...

Вдруг где-то за соседними домами гроыхнул взрыв.

Воронов и Наварин вскочили на ноги. По лицу Воронова разлилась бледность. Испуганный, он посмотрел на Вениамина Владиславовича, у которого непонятным блеском загорелись глаза, и кинулся к дверям.

Наварин преобразился. Куда девались его вялость и подавленность!

— Беда, Артем Федорович! — вскрикнул он, устремляясь вслед за Вороновым. Но тут же остановился, проводил глазами пробежавшего мимо окна замполита и, прикусив нижнюю губу, углубился в какие-то свои мысли.

Потом Вениамин Владиславович налил из графина стакан воды, залпом выпил ее и посветлевшим взглядом, чему-то улыбаясь, обвел свой кабинет. Тут же с деловитой решимостью он кинулся в распахнутую Вороновым дверь.

По знакомой тропинке бежал к школе, а в голове билась мысль:

«Эх, Филонов, Филонов!... Славный был старик... Освободилась должность главного хирурга армии...»

Недалеко от школы Вениамин Владиславович столкнулся с Ириной Сорокой. С дрожащим блеском в глазах и сияющим лицом девушка выпалила:

— Все в порядке, товарищ начальник! Генерал бросил мину в старый колодец!..

Наварин остановился, точно наткнулся на невидимую стену, посмотрел застывшими глазами на

Ирину. Девушка посторонилась, давая ему дорогу, потом заторопилась дальше. А он, поблекший, все стоял на месте, чувствуя, как от груди к ногам побежал противный холодок. Старался поймать какую-то очень нужную сейчас мысль, но никак не мог. С трудом сделал шаг вперед, потом повернулся назад и медленно побрел, сам не зная куда. Некстати вспомнилось детство, провинциальный городок, в котором отец работал врачом. Однажды мальчишки играли в войну, и Вениамин объявил себя командиром. Его побили и сказали, что командиром будет самый сильный. Потом он старался выглядеть сильным и жестоко ненавидел тех, кто в это не верил...

Наварин пришел в свой кабинет, бессмысленным взглядом посмотрел на письменный стол, где лежала развернутая топографическая карта, потом направился в соседнюю комнату и, не раздеваясь, лег поверх одеяла на кровать.

Минут через двадцать пришли генерал Филонов и подполковник медслужбы Рокотов.

— Никого нет? — недовольно спросил Аркадий Маркович, увидев пустой кабинет.

Ему никто не ответил.

Аркадий Маркович придвинул к столу табуретку, уселся верхом на нее и задумался. Рокотов присел на край скрипучего топчана.

— Не принять раненых, — с душевной болью заговорил наконец Филонов, — не поинтересоваться, что стряслось в медсанбате... Боже мой! И все из-за того, что командир медсанбата Михайлов его давнишний недруг... И недруг ли?.. На совещании критиковал... Ну, откуда такая мразь в душе человека?! — Аркадий Маркович повернулся к Рокотову. — Откуда?.. От собственного ничтожества, от неспособности занимать то место, которое он занимает, и от стремления удержаться на нем, от трусости, что

распознают его ничтожество... А мы? Где же наши глаза? Почему не хотим разглядеть таких людей, а распознав, почему не спешим указать им их место?..

Аркадий Маркович замолчал и углубился в какие-то свои мысли. Потом, очнувшись от них, снова обратился к Рокотову:

— Простите, дорогой Николай Николаевич. Я, кажется, увлекся грустными размышлениями. Приступим к делу: вам придется принимать госпиталь... Да, да. И немедленно... Наварин пойдет под суд.

В дверях, что вели в соседнюю комнату, слышался шорох. Филонов оглянулся и увидел Наварина. Он стоял бледный, беспомощный, с сухими дрожащими губами.

«Вот и еще одну мину обезвредили, — мелькнула мысль у Аркадия Марковича и тут же с новой болью отдалась в груди. — А ведь мину эту я, кажется, своими собственными руками вытолкнул на дорогу, людям под ноги... А мог же давно убрать ее...»

То ли от этой горькой справедливой мысли, то ли оттого, что ему предстоит еще сказать Наварину о смерти его дочери и о том, что он, Наварин, виновник ее смерти, генерал тяжело вздохнул и устало провел рукой по своему немолодому лицу.

Абдулла Каххар. СИНИЙ КОНВЕРТ

Гвардии сержант Иркабай Мирзаев сидел у окна в госпитальной палате и задумчиво смотрел на улицу. Мимо окна кто-то прошел с полной корзиной персиков. Персики были крупные, спелые, с пушистой желтовато-красной кожицей. Иркабаю страшно захотелось попробовать вкусный плод, и он с сожалением посмотрел вслед обладателю полной корзины персиков. «Эх, подбросил бы штуки четыре!» Он живо представил себе, как осторожно снимает с персика мягкую, бархатистую кожицу, как кладет в рот сочный, мясистый плод и глотает, глотает слегка вяжущий, сладкий сок.

На другой день утром Иркабай сидел у того же окна, и опять тот же самый человек прошел с персиками. Весь этот долгий день Иркабаю мерещились персики и персиковые сады. Даже ночью приснилось, будто он гуляет с девушкой в роскошном саду, а она говорит: «Смотри, какие замечательные персики! Что же ты медлишь? Срывай скорее!..»

Уже пять с половиной месяцев Иркабай находился в госпитале. С некоторых пор он начал испытывать ужасную скуку. Скука переходила в тоску. С товарищами по палате давно обо всем переговорено, со стороны никто не приходит, а выйти самому... Но куда же пойти? Ни одного знакомого в городе нет.

Хотелось поскорее вернуться на фронт. Там лучше: товарищей много, каждый день приносит интересные новости... Кроме того, со всех концов страны совершенно незнакомые люди шлют бойцам письма,

подарки. Мирзаев только за один месяц, перед ранением, получил три письма и две посылки.

Как-то на Западном фронте, когда он был еще рядовым бойцом, командир отделения подошел к нему с маленькой посылочкой и сказал: «На тебе, чернобровый, черноглазый парень!» Иркабай был удивлен словами командира, но, взглянув на посылку, увидел, что эти слова были написаны на ней как адрес: «Западный фронт. Вручить чернобровому и черноглазому парню, наиболее отличившемуся в боях с фашистами».

В посылке было граммов двести хорошего табаку, маленький батистовый платочек красивой расцветки и коротенькая записка, вложенная в синий конверт: «Товарищ красноармеец! Табак курите вместе с товарищами, а платочек сохраните — востребую после войны. Латифа Гулямова».

Иркабай был так взволнован этими строками, что в тот же день написал Латифе сразу два письма. Одно из них состояло из самых изысканных приветствий и благодарностей, а в другом он намекнул на какие-то чувства, о которых можно говорить девушке только на ушко. Прошло месяца два, — ответа на письма не было. За это время разыгрались крупные бои, часть, в которой находился Иркабай Мирзаев, стала гвардейской, и сам он стал гвардии сержантом. Он снова написал Латифе, но она не ответила и на это письмо. Оставалось предположить, что он своими намеками сильно обидел девушку.

Вскоре после этого Иркабай был тяжело ранен и больше месяца лежал в прифронтовом эвакогоспитале. Для окончательного излечения его эвакуировали в глубокий тыл, и он попал в тот самый город, где проживала Латифа. Вспомнив о девушке, Иркабай решил: «Как только поправлюсь, обязательно пойду навестить ее». Но когда он поднялся с койки, получив возможность передвигаться с помощью костыля, эта

решимость оставила его. «На что мне надеяться? — думал он. — Письма мои она оставила без ответа, платочек обещала востребовать только после войны, а это значит, что она предупреждала: «Пока не разделаешься со своими фашистами, не показывайся мне на глаза...»

В последнее время Иркабай перестал было и думать о Латифе, но этот странный сон и девушка в персиковом саду, чем-то смутно напомнившая Латифу, снова всколыхнули мысли о ней. Разве обязательно при встрече говорить: «Вот это я самый и есть — Иркабай Мирзаев!» Можно назваться товарищем Мирзаева, передать фронтовой привет от него. Кажется, она умная, хорошая девушка, с ней будет приятно поговорить, может быть, удастся погулять в городском саду или сходить в кино — это уже развлечение.

Так думал гвардии сержант Иркабай Мирзаев и решил, не откладывая, выполнить свое намерение. В первое же воскресенье, принарядившись, он посмотрел в зеркало и остался доволен собой: выданное с госпитального склада обмундирование складно сидело на его стройной фигуре, несколько побледневшее после долгого лежания в палате лицо теперь снова приобрело юношески розоватый оттенок, а пришитая к гимнастерке ленточка двух тяжелых ранений делала почетным и легкое прихрамывание на левую ногу, и даже стандартный, белого некрашеного дерева, костыль в правой руке.

Разыскав дом, где жила Латифа, Иркабай с волнением постучался в калитку. В голове мелькнула неприятная мысль: «А что, если эта Латифа — старая женщина, которая, подобно виноградине, потеряв все соки на ветке, превратилась в кишмиш?» И когда в калитке перед ним показалась сморщенная старушка, он так растерялся, что не мог слова сказать.

Старушка, моргая подслеповатыми глазами, несколько секунд молча разглядывала сержанта и вдруг, обняв за шею, поцеловала в обе щеки.

— Ах ты, голубчик, красавец мой! — заговорила она как с самым дорогим человеком. — Что это у тебя с ногами? Заходи, заходи скорей! Сюда, мой милый...— Шаркая туфлями, она торопливо пошла к низенькому крылечку. — Эй, доченька, где ты там, ставь самовар! Иди сюда, посмотри: вот приехал с фронта...

Сердце Иркабая вздрогнуло при мысли, что сейчас он увидит Латифу.

На крыльцо вышла девушка лет семнадцати, в атласном розовом платье, с длинными черными косами, уложенными в несколько рядов вокруг головы. Она поздоровалась с фронтовиком и вернулась в дом. Иркабай с горечью подумал, провожая ее глазами: «Такую красавицу я отпугнул своим дурацким письмом!»

— И таким парням, как ты, война все еще не дает строить свой угол и исполнить свое желание, — между тем говорила старушка, готовя для Иркабая место на супе^[10] в тени. — Ох, времечко! А все из-за этого безумного Гитлера, — гореть бы ему в огне на этом и на том свете!.. А Латифа, наверно, тоже с вами, сынок?

Из дома опять вышла девушка со скатертью в руках. Услышав последние слова матери, она улыбнулась:

— Вот с этого бы и начинала, мама... Вы с какого фронта? — обратилась она к Иркабаю. — Моя сестра на Центральном.

— Как? — удивленно воскликнул Иркабай. — Латифа на фронте? Почему она там?

— Медсестрой пошла. Уехала отсюда в мае прошлого года.

— Вот око как!

— Да, сынок, так... — снова заговорила старушка-мать. — Сколько я говорила ей: «Не можешь ездить на коне, не умеешь стрелять из пушки, — что будешь делать на фронте?» Нет, не послушалась. Храбрая уж очень. Только и думала о войне. Писала письма красноармейцам и командирам, посылала маленькие подарки. Вот уж больше года прошло, как уехала, а письма все идут и идут для нее со всех фронтов. Доченька, сколько ты переслала ей писем-то? Да, помню: сто два письма.

Иркабай даже испугался: «Три моих... и еще девяносто девять!»

— И все с фронта?

— А с теми, кто в тылу, она и знаясь-то не хотела. Уж такая... Иди принеси, доченька, ее карточку, пусть наш гость посмотрит... Некоторые письма дочка прочитала мне. Так рады, так благодарят ее все эти красноармейцы и командиры... Два письма написаны каким-то озорным парнем... Да уж ладно, пусть живет долго!

Иркабай густо покраснел.

Девушка вынесла из дому несколько фотографий Латифы.

— Это она снималась еще здесь, — сказала она, протягивая Иркабаю одну из карточек.

С фотографии, чуть потупясь, застенчиво смотрела молоденькая девушка. «А ну вас, молчите!» — словно говорила ее смущенная улыбка, предупреждая всякие похвалы ее красоте. Иркабай недоумевал: такая тихоня — и отправилась на фронт!

— Посмотри на эту, сынок, — указала старушка-мать на другую карточку. — Это она снималась в Москве.

«Как идет ей военная форма!..» — У Иркабая даже зарябило в глазах. Здесь Латифа была совсем другая. Она стояла с гордо вскинутой головой, глаза ее задорно

поблескивали, и весь ее вид как бы говорил: «Эй, парень, поберегись!»

Иркабай задумался. Машинально он повернул карточку и увидел фронтовой адрес Латифы.

— Вы узнали ее? — спросила старушка.

— Мамаша! — дрогнувшим голосом обратился к ней Иркабай. — Дайте мне эту карточку. Одна из посылок Латифы досталась моему близкому другу. Он раненый, лежит в госпитале, а ему очень хотелось познакомиться...

— Как его зовут?

Иркабай растерялся.

— Из тех писем, которые вы получили, — стал он объяснять, словно оправдываться, — три письма — от него. Но он не тот озорной парень, о котором вы говорили... Он... — Иркабай совсем смутился и замолчал.

— Хорошо, возьмите, — сказала сестра Латифы и улыбнулась, как будто разгадав, кто этот «он».

Иркабай положил карточку в нагрудный карман и встал. Как ни уговаривали его хозяйки остаться пить чай, он распрощался и ушел, боясь выдать себя.

Вернувшись в госпиталь, Иркабай до самого вечера составлял письмо. Написав его наконец набело, он взял синий конверт — точно такой, в каком прислала ему свое письмо Латифа, — и сделал на нем четкую надпись:

«Действующая армия. ППМ 19640-Б. Если вынесла с поля сражения более десяти раненых, вручить чернобровой и черноглазой Латифе Гулямовой».

На этот раз Иркабай сумел многое сказать в своем письме девушке, но пересказывать здесь содержание этого письма было бы, пожалуй, нескромно.

Николай Камбулов. РУБЕЖ ГРИГОРИЯ БУРМИНА

Генералы 11-й немецкой армии гнали без остановки свои войска в бой. Но теперь, после семидневных непрерывных сражений, их дивизии и полки уже не кидались проворно вперед, как в первые дни наступления, а как бы ползли, тычась окровавленными мордами в огненную кипень советских войск.

...Утром, едва появились на небе первые мазки рассвета, на КП к майору Бурмину пришел политрук Бугров.

— Молчат? — спросил он, всматриваясь через проем каменной стены в мгlistую даль, изорванную во многих местах пожарами. — Полковник Кашеваров принял решение: создать узел сопротивления. — Бугров вытащил из сумки карту и, подсвечивая фонариком, показал на красный кружочек. — Вот здесь... Я ведь теперь, Гриша, как тебе известно, у Кашеварова порученец, в курсе всех дел. По приказу командующего фронтом сюда стягиваются артиллерия, бронебойщики, кавполк майора Кравцова. Так что, Гриша, назад можешь не оглядываться, твой тыл надежен... В крайнем случае есть куда отойти.

— Отойти? Нет, Саша, хватит, не могу...

— Ну, ну, смотри сам, но есть такой приказ.

— Хватит, говорю, отходить! — выкрикнул Бурмин. — Вчера они листовки разбрасывали с самолета. Сукины сыны, что пишут! Улепетываете, как зайцы-де, мол, в панике и страхе бежите. Вот брехуны!

— А что ты думаешь, Гриша, — подхватил Бугров. — Кончится война, и какой-то недобитый фашист напишет о нас: бежали, как зайцы, обросшие, с

бородами до колен и разутые. — Он достал суконку, старательно почистил сапоги. — Как сороки, застрекочут...

Бурмин схватил телефонную трубку и, мигая вдруг вспыхнувшими глазами, потребовал:

— Шатров, что там у тебя?.. Так. Понятно. А у соседей справа? Тоже? Без шума, наш тыл обеспечен.

Бросил трубку и — к Бугрову:

— Ты у меня останешься или к себе пойдешь? Сейчас начнется, и ты посмотришь, как Бурмин драпает. Останешься?

— Останусь, Гриша.

— Хорошо. У меня есть танк, трофейный, поработаем напоследок, Саша? — предложил Бурмин. — Еще не разучился стрелять из орудия?.. В танковом полку, помню, стрелял ты хорошо.

— Что ты предлагаешь?

— Я ведь не намерен оставлять этот рубеж. Хочешь, покажем сорокам, как мы драпаем? — Лицо Бурмина сделалось землистым. — Гаджиев, что там, почему не докладываете? — крикнул он лейтенанту, наблюдавшему за боем через пролом стены. — Санечка, комиссар ты мой сердечный, скоро начнется.

«Ну, завелся Гриша, — подумал Бугров, — теперь не остановишь. Сегодня он какой-то особенный. Придется задержаться здесь».

Через час после начала боя над землей, еще зябкой от холодной росы, повис тяжелый желто-черный полог пыли и дыма. Его рвали снаряды с треском и грохотом, дырявили взрывы бомб, полосовали взхлеб пулеметные очереди, но пробоины и окна тут же вновь оплывали, затягивались, и желтый полог не пропускал ни солнечного луча, ни струйки свежего воздуха. Это была жаровня, в которой люди, обливаясь потом и кровью, молотили друг друга, не зная ни страха, ни усталости. Немцам нужно было выйти к проливу, выйти

для того, чтобы увидеть край земли, за дни наступления показавшейся им бесконечной, выйти на этот край, чтобы вздохнуть наконец без тревожного ожидания смерти, которая так густо вихрилась на их пути...

Посланный в роты для уточнения обстановки лейтенант Гаджиев возвратился только в полдень. Лейтенант как бы выдавился из черно-желтого массива белозубым чертиком, весь продымленный и пропитанный гарью. Он доложил:

— Капитан Шатров просит поддержки. Он со своей ротой все еще в садах. Ему требуется поддержка, иначе немцы обойдут нас слева.

Бурмин бросил взгляд на танк, приткнувшийся к заводской каменной ограде. Резервы были исчерпаны, остался только этот трофейный танк. Бурмин крикнул водителю, чтобы тот заводил. Из башни высунулся рыжеголовый боец, с досадой в голосе бросил:

— Нет же его, товарищ майор, еще вчера раненого отправили...

— Да, да, Сазонов ранен, — вспомнил Бурмин. — Как же быть! Гаджиев, где твоя гвардия?

— Там! — махнул рукой лейтенант в сторону садов, объятых огнем: тягучее пламя свисало с веток, кровавыми каплями падало на землю, с треском пожирало остатки плетней ограды.

— Там разведчики, — повторил Гаджиев.

— Понятно! — Лицо Бурмина стало совсем черным. — Саня, ты как, стрелять из танка можешь? — Он, схватив бурку, подбежал к танку. Теперь, после Сазонова, только он мог управлять трофейным танком. — Бугров! И ты, Гаджиев, садитесь! Шатрова поедem выручать... Бежать не будем, Санечка, — сказал Бурмин, когда Бугров занял место наводчика, а Гаджиев устроился возле пулемета. — Не мазать, бить

только наверняка, — выговорил Бурмин жестким, приказным голосом.

Бугрову стало не по себе: «Понесет его сейчас безумная натура, никакая вожжа не остановит».

Танк крутнулся на месте и, ревя, сиганул через кювет, ходко пошел, огибая огненный омут садов. Длинные, жилистые руки Бурмина сразу срослись с рычагами управления: он, как бы неся тяжелую машину, вертел ею с упоением и страстью, бросал танк на такие препятствия, на которые в условиях тактических учений никогда не осмелился бы послать.

Обогнув горевшие сады, Бурмин вывел машину на небольшую равнину, по которой шли немецкие пехотинцы, шли во весь рост, уперев в тощие животы автоматы.

— Гаджиев, Бугров! — закричал Бурмин. — Огонь!

Но они уже стреляли, и Бурмин видел, как гитлеровцы, роняя автоматы, разбрасывали руки, падали то сразу плашмя, то, спотыкаясь, клевали головой землю, то, словно опьянев, делали круги и уже потом, приседая, ложились тихо, без крика.

Бурмин пропахал танком вдоль вражеских цепей, развернулся, чтобы проложить вторую борозду, и увидел в ста метрах на пригорке гнездовье вражеских орудий. Хоботки орудий покачнулись, и он понял, что сию минуту ударят по танку не одним, а несколькими снарядами, и что Бугрову, который уже открыл по ним огонь, не справиться с вражеским гнездовьем, и что только он может спасти экипаж и машину. Решение созрело мгновенно: бросить танк в гущу бежавших назад немецких пехотинцев. Выжав предельную скорость, он нагнал обезумевшую толпу, вошел в нее и некоторое время вел машину тихим ходом. Немцы бежали спереди и сбоку, недоверчиво оглядываясь на свой танк, Бурмин видел их лица, искаженные и страхом и беспомощностью. Один верзила в очках, с

засученными по локоть рукавами, все пытался сцепить связку гранат, но Бурмин прибавлял скорость, и немец, оглядываясь, что-то кричал, показывая на танк.

Вражеская пехота все же залегла, и танк скова оказался один-одинешенек. Немцы взяли его под прицельный огонь. Разрывы снарядов гонялись за ним, но никак не могли догнать: Бурмин бросал танк то вправо, то влево, то мчался по прямой.

— Григорий! — кричал Бугров. — Поворачивай. Сумасшедший, куда прешь!

Бурмин не отзывался. В смотровую щель он опять увидел знакомое гнездовье орудий, понял, что зашел с тыла, что немцам потребуется немало времени, чтобы развернуть свои орудия в сторону танка, и, наконец, что он может опередить их.

— Санечка, смоли!

Бугров выстрелил раз, другой. Прислуга метнулась, посыпалась в щели. Григорий поддал газу, и танк, преодолевая щели, ударил лбом в хоботистое, похожее на какую-то птицу орудие. Бурмин лишь увидел полет колеса, прочертившего желтое небо. Тут же вновь развернул танк; орудие надвигалось быстро и на какое-то мгновение закрыло собой и землю и небо. Танк содрогнулся, высек гусеницами огонь, и опять Григорий увидел землю, выскочил на маковку взгорья и, не задерживаясь там, повел машину в очередной таран, теперь уж на орудие, успевшее развернуться стволом в его сторону.

— Гаджиев, огонь!

Пулемет рыкнул короткой очередью и тут же захлебнулся.

— Кончились боеприпасы, — сообщил Бугров.— Гони под гору! Григорий, не теряй разума!

Хобот вражеского орудиядохнул огоньком. Снаряд чиркнул по башне. Бурмин отметил: «касательный»— и, не сбавляя скорости, опрокинул орудие: оно, став на

дыбки, повалилось набок, потом, перевернувшись раза три, легло на «спину» и шибко засеменяло резиновыми лапками. Григорий дал крутой разворот, намереваясь расплющить чудище, подергивающее короткими ножками, но в это мгновение полыхнуло впереди, процокали осколки по покатоному лбу танка. Григорий налег на правый рычаг, и танк ринулся в сторону. Он шел ходко, и оттого, что машина бежала, утрамбовывая под собой землю, Бурмин понял, что взрыв не повредил гусеницу, что «бегунки» исправно бросают тралы и мотор по-прежнему несет стальную махину. И оттого что все было в порядке, ему страшно захотелось вернуться и начисто доконать, разорить проклятое гнездо немецких артиллеристов. И он повернул бы, несмотря на то что Бугров, трезво оценив обстановку, настойчиво требовал выйти из боя, но как раз в то мгновение, когда Бурмин напружинил правую руку, чтобы развернуть танк, из-под земли брызнули огненные фонтаны. Снаряды ложились вокруг, и уйти из этого опасного ожерелья было почти невозможно. Но Бурмин все же нашел подходящую щель, направил исхлестанный осколками танк в щербатинку, узкой улочкой выскочил на захламленный пустырь. Бурмин выключил мотор, вышел из машины. Позади, там, где маячил прибрежный поселок, стрекотали пулеметы, звонко тюкали пушки, а здесь, на пустыре, и вокруг было тихо и безлюдно, похоже, что этот кусочек земли противник обошел. Из танка вылезли и Бугров с Гаджиевым. С минуту они смотрели на Бурмина, как на диковинку, не зная, что сказать этому хмельному от боя человеку.

— Орудие заклинило, нельзя вести прицельный огонь, — робко доложил Бугров. — Придется пешочком выбираться отсюда.

И опять Григорий Бурмин слился с танком. Обогнув кружным путем горевшие сады, он вывел машину на

равнину, жадным взором окинул пространство. В поле зрения попала дымящаяся походная кухня, возле которой толпились немцы. Он мог бы их обогнуть, проскочить небольшой ложиной, но пронеслась мысль о том, что «враг спокойненько ужинает» в то время, как он, Григорий, задыхается в нагретом танке, задыхается потому, что думает о тех, кто сейчас осваивает узел сопротивления, чтобы здесь окончательно остановить врага. Григорий направил танк на таран, влетел в живую гущу, легко, словно консервную банку, сплющил кухню и помчался дальше, оставляя за собой кровавую рябь следа. Но Бурмин этого не видел, он лишь догадывался, что проехался прочно, что под гусеницами ничто не уцелело — ни кухня, ни немцы, попавшие под раскаленный и тяжелый танк.

В душе кипели и радость, и отчаяние, и злость. Злость брала верх, как бензин, вспыхивала, раскаляла, мгновенно слизывала мысли об опасности и осторожности. Бугров кричал ему изо всех сил:

— Григорий, не кидайся! Бери правее. Слышишь, правее держи!

Бурмин скрипел зубами, выдавливая из себя:

— Правее, левее — одна сатана!

Он узнал позиции капитана Шатрова — картофельное поле и прилепившаяся к нему черной кляксой сгоревшая делянка садов, — они надвигались сбоку. И он бы проскочил знакомый рубеж, но возле черной кляксы, там, где уцелела от огня низенькая дощатая оградка, заметил жерла шестиствольного миномета и прислугу, копошившуюся у ящиков, сложенных штабелем. Вражеский наводчик крутанул механизм наводки, и жерла миномета огромным револьверным барабаном уперлись в лоб танку. Григорий понял: если чуть отвернуть — вся тяжелая обойма миномета влепится в борт. Бурмин не свернул, танк взревел, смял ограду. Шесть темных, круглых

глазищ миномета стремительно надвинулись и где-то там, выше смотровой щели, разлетелись, со скрежетом пробороzdили по округлой башне. Это видел сквозь щель наводки Бугров, он также заметил вздыбленные остатки миномета и бежавшие в разные стороны темно-зеленые комочки людей. Ярость завладела и им, цепко схватила за душу, и он закричал сорвавшимся голосом:

— Гриша! Дави их! Гаджиев, огонь!

Бурмин развернул танк. Теперь и он видел, как бежали немцы по опаленной земле, будто зеленые катушки, подхваченные тугим порывом ветра.

— Вот так мы отступаем! — прошептал иссушенными губами Григорий.

Он повел танк вдогонку. На пути выросли огненные всплески. Они, эти всплески, выхватывали землю, швыряли в поднебесье черные комья. А он, Бурмин, прилипший к рычагам и сиденью, никак не мог свернуть, объехать, и всё гнал и гнал по страшному частоколу, гнал, пока не дотянул танк до зеленых катушков. Теперь немецкие пехотинцы были рядом, как и во время бешеного гона по вражеским позициям. Он видел их сгорбленные спины, вобранные в плечи головы с торчавшими, как у дикобразов, волосами, видел, уже не чувствуя никакого желания уничтожить или пожалеть. Они бежали, а он вел танк, стараясь не отстать. В душе образовалась пустота.

— Это черти! — вдруг закрутил Григорий опьяневшей головой. — Черти... Ха-ха-ха! Черти... Смотри, Санечка...

На пути выросла стена, изодранная и избитая взрывами и осколками. Григорий остановил танк, клацнул крышкой люка, не спеша вышел из машины. Бугров подбежал к нему и начал хвалить за то, что вывел танк из-под огня и привел к расщелинам и скалам, почти к месту командного пункта Кашеварова.

Бурмин смотрел на него каким-то отсутствующим взглядом.

— Гриша! — с дрожью в голосе крикнул Бугров.

— Куда делись черти! Ха-ха-ха! Они провалились сквозь землю. Ха-ха-ха!

— Гриша!

— Ха-ха-ха!

— Бурмин!

— Вон их сколько пляшет на косогоре. Вон сколько их, чертей-то, — протяжно вывел Бурмин и вдруг, надломившись, рухнул на землю.

И только тогда Бугров заметил: низ живота у Бурмина в крови, Гаджиев и Бугров положили Григория на бурку и понесли вниз по расщелине.

А танк еще некоторое время стоял у обрыва. Немецкие артиллеристы видели его, продымленного, исполосованного осколками, и он казался им живым, страшным.

Немцы гадали:

— Вряд ли наш. Неужели Отто свихнулся и давил своих?

— Все может быть в этой круговерти.

— Надо этот танк расстрелять, а потом определим, чей это.

— Отто может свихнуться, он лунатик.

И танк расстреляли.

Выстрелы пробудили Бурмина. Он потребовал, чтобы поставили его на ноги. Острая боль полоснула по всему животу, перед глазами поплыли красные круги. Потом эти круги растаяли, и Григорий увидел горящий танк.

— Может, отсюда и начнется, — прошептал Бурмин. — Поворот в событиях, говорю, пойдет отсюда.

Гаджиев посмотрел на Бугрова.

— Я верю. — Бурмин выше поднял голову, отсветы огня заиграли на его бледном лице.

Бугров ответил:

— Все будет, как ты сказал. А теперь ложись на бурку, к врачу понесем.

Бурмин покорно лег, увидел на небе звезду: она мигала живым, ярким светом. Лучик улыбки тронул его пересохшие губы. Гаджиев заметил это, с облегчением проговорил:

— Понэмаешь, у нас, в Осетии, все улыбаются и поэтому живут долго-долго... Вэк живут, два живут...

Но Григорий этих слов уже не слышал — улыбка была последней: что-то холодное вдруг подкатилось к груди, липким охватило горло... Он еще увидел звезду, потом рука дрогнула под буркой... И лишь Бугров почувствовал, как отяжелел Григорий Бурмин.

— Понэмаешь, — хотел было еще что-то сказать лейтенант Гаджиев, но тут же умолк.

А звезда мигала и мигала своим вечным таинственным светом...

Габит Мусрепов. АКЛИМА

«Мама!» — так начиналось письмо солдата. «Мама» — это прекрасное слово облетело весь свет.

«Родная моя, как я соскучился по тебе!..»

Многоточие. Почему оно здесь? Зачем? Оно напоминало капли упавших слез. Может быть, пишущий задохнулся от душившей его тоски и, не найдя нужных слов, поставил точки? А может быть, и другое: просто не захотел солдат продолжать, все его чувства вместились в эти три слова: «Соскучился по тебе».

У Аклимы, получившей письмо, все закачалось перед глазами. Четыре года назад ее единственный сын Касым ушел на фронт. Каждый день израненное тревогой сердце матери вздрагивало от всякой весточки с фронта, как туго натянутые струны домбры при малейшем дуновении ветерка. Два года назад пришла о сыне последняя весть — извещение о смерти Касыма. До сих пор оно хранилось на дне сундучка, и до сих пор надежда не переставала стучаться в сердце матери: «Вернется, придет, живой...»

И вот пришел почтальон, принес письмо. Письмо с грифом полевой почты.

— Нурила! Милая! Иди сюда скорее! — крикнула Аклима, выбегая на террасу.

В те дни люди быстро сближались друг с другом. Бывало, что одна ночь роднила их на всю жизнь. Аклима подружилась со своей молодой соседкой недавно, у них нашлись общие интересы, они помогали друг другу.

Как только Нурила выбежала на террасу, увидела растерянное лицо Аклимы и письмо в ее руке, она все поняла и, ни о чем не спрашивая, ловко перескочила через барьерчик, разделявший террасу на две половины.

Ее белоснежное лицо заалело легким румянцем, а губы, свежие, как бутон только что приоткрывшейся розы, приветливо улыбались. Она взяла из рук Аклимы письмо.

— Только, чур, не плакать! — проговорила она.— А то и читать не стану... Это же радость, апа!

Она заставила Аклиму улыбнуться, но, прочитав слова «истосковался по тебе», запнулась, у нее от волнения задрожали руки. Голубая жилка на шее затрепетала, и слезы затуманили прекрасные черные глаза. Безмерная тоска солдата бушевала в письме, подобно бурному, ниспадающему с высоты водопаду. Для выражения чувств он находил такие слова, что Нурила не в силах была читать вслух письмо. Она пробежала глазами первую страницу.

— «Мама. Первое свое письмо я послал на станцию Агадырь. Думал, что ты уже вернулась туда... Но я рад, что ты в Караганде...»

— Подожди, подожди! — растерялась Аклима. — Какая станция? Какой Агадырь?

Нурила продолжала читать.

— «Мама, ты, конечно, спросишь, почему так? Об этом я расскажу тебе после. Сейчас слушай, мама».

Аклима слушала. Она впитывала в себя каждое слово письма, каждую интонацию в голосе Нурилы, следила за каждым движением девушки. Глаза Аклимы, еще не потерявшие своей былой привлекательности, отражали все ее чувства и мысли. Эти глаза то теплели от любви к сыну, то расширялись от страха за него, то жмурились от облегчения.

— «Мама, — писал солдат. — На этой войне я прошел две тысячи сорок девять километров. То, о чем я хочу рассказать тебе, произошло на последних сорока девяти... Если мне не изменяет память, в тот день тебе как раз исполнилось сорок девять лет. Такое совпадение! Извини меня, что я не поздравил тебя с

днем рождения... Письмо осталось в моем нагрудном кармане, я не успел отправить его».

— Неужели он забыл, что мне теперь сорок четыре?! — с обидой и горечью воскликнула мать. — Ой, Касым, Касым!

— «На войне, мама, — продолжала читать Нурила, — сорок девять километров не такое уж большое расстояние, а тем более для нас, танкистов. Но бывает и так, что один километр заставляет тебя остановиться надолго. Вот я и остановился. Сколько прошел, а до Берлина не удалось дойти».

Голос Нурилы вздрогнул от какого-то нелепого предчувствия, она на мгновение прервала чтение, а Аклима смотрела на нее с ожиданием. «Что же случилось, что помешало ему?»

— «Мама, я знаю: ты умеешь по-геройски встречать и радость и горе. Я помню, так раньше бывало. Поэтому выслушай без страха, ведь я рожден тобою, я твой сын».

— Касым, Касым, — тяжело вздохнула Аклима.

— «Я все хорошо помню, — читала Нурила. — Это была моя последняя ночь на передовой. Три дня и три ночи без сна и отдыха стояли мы на берегу речушки и не могли, никак не могли форсировать ее. Противоположный берег, опоясанный проволочными заграждениями, противотанковыми надолбами, минными полями и дотами, закрывала от нас завеса огня. Немцы били и били из орудий по нашим позициям, снаряды рвались то там, то здесь, река кипела от разрывов. Речка-то узкая, неглубокая, а переправу навести — и думать нечего.

Так вот — третья ночь. Пахнет гарью. На востоке мерцают редкие звезды. Низкие, густые, свинцовые тучи, поднимаясь из-за горизонта, застилают небо. Вражеские позиции постепенно погружаются во мрак. Я уже не помню, рассеялся этот мрак или нет. Да и не в

том дело. Нужно было во что бы то ни стало сбить немцев с укрепленных позиций. А там не удержаться им против нас. Мы все так думали.

Помню, пришел к нам командир дивизии полковник Ревизов, широкоплечий, сильный. Ночью он великаном казался. Прошелся вдоль строя танкистов медленным шагом. Мы стоим, вытянулись в струнку, ждем и уже чувствуем: что-то будет, наверняка получен какой-то особо важный приказ, и по лицу командира видно, да и младшие офицеры, прибывшие с полковником, ведут себя беспокойно. Ну и вот. Остановился Ревизов посередине строя и заговорил. Спокойно так, не повышая голоса, как близкий друг наш. А солдаты любят такой разговор, уважают.

— Товарищи, давайте посоветуемся! — сказал полковник.— Получено ответственное задание. Говоря откровенно, тому, кто выполнит его, не хочу ничего обещать: ни орденов, ни званий. Их у вас много, а за то, что предстоит сделать, трудно придумать достойную награду... Одним словом, как вы считаете: не пора ли нам быть на том берегу?

Мы стояли молча, а полковник смотрел на нас испытующим взглядом, и мне казалось, что он читал наши мысли.

— Не успели с ходу проскочить. Время упустили. Так вы думаете? А? — спросил нас Ревизов. — Верно... Знаю... А вперед идти надо!

Эти слова были сказаны дружески, спокойно, без ложного пафоса, без брани и угроз, они не звучали как приказ, а ведь солдатам, стосковавшимся по теплу родного дома, уставшим от окриков и команд, доброе слово командира дороже всего.

И выход был найден: попытаться в танках на предельной скорости прорваться по дну речушки на тот берег и закрепиться там.

Пять командиров шагнули вперед. Я был среди них.

Молча шли мы потом к машинам, прикидывая в уме расстояние, которое придется пройти под водой, стараясь представить себе преграды, которые могут там встретиться. Разведчики-водолазы не скрывали, что неприятель постарался и дно реки превратить в неприступный рубеж: железобетонные надолбы сбросил, проволочные петли. Тут уж не поможет безрассудное трюкачество, тут необходим разумный расчет, выдержка и смелость. Только бы не наткнуться на подводные мины, только бы не застрять в тине, только бы вода не успела залить мотор, а нам хватило бы воздуха! Не то окажемся мы, как рыбы, в крепкой сети.

Молча построились мы с товарищами, крепко пожали друг другу руки, посмотрели на темную поверхность воды, взлохмаченную разрывами снарядов. Немцы, боясь нашего наступления, не прекращали огня и ночью. И я подумал про себя:

«Прощай, мама, если мы не увидимся больше».

Но нет, мама! Нет! Я не сказал «прощай»! Эта проклятая мысль несколько раз приходила мне в голову, но я гнал ее прочь. Я не хотел прощаться даже с дымом паровозов, везущих уголь из черных шахт Караганды... Я все время помнил о тебе. Я думал так: возьму с собой письмо, которое утром написал тебе. Возьму его на тот берег, а завтра припишу два слова «жив и здоров» и отправлю. Ох, мама! Оказалось: между сегодняшним числом и завтрашним, между той ночью, когда я шел в свой последний бой, и этими вот минутами лежит целая вечность...»

Обе женщины понимали скрытый смысл этих слов и не смели поднять друг на друга глаза, полные смятения и скорби.

Светло-каштановые волосы Нурилы, слабо зашпиленные на затылке, рассыпались по плечам.

— Что с тобой, девочка? Ты плачешь? — тихо спросила ее Аклима, и голос ее дрожал от волнения.

— Нет, что вы, апа... У вас такой сын, разве можно плакать, — ответила Нурила и попыталась улыбнуться, но ее волнение выдала дрожь в голосе. Она продолжала читать: — «И вот началось, мама. Тяжелый танк наш на полном ходу окунулся в воду. Мы неслись, то ныряя в какие-то ямы, то поднимаясь. Оглушительный грохот моторов стал тише. Товарищи не спускали взглядов с приборов. Я отдавал приказания:

— Прямо держи... Влево... Жми напрямик... Вправо...

Мелко дрожали передо мной стрелки хронометра, как крылья озябшей бабочки. Две секунды прошло. Две с половиной. Три. О, тут я впервые в жизни понял, что такое доля секунды — целая вечность, за которую можно обойти весь земной шар. Мне казалось, что все происходит во сне. Непонятное чувство безразличия сковывало движения. Запах сырости щекотал ноздри. Воды было в танке уже по колено. Только бы не заглох мотор! Вода вдруг всколыхнулась, поднялась нам по грудь и стала быстро спадать. Мы поняли, что выскочили на противоположный берег.

Наш танк шел вторым, позади были еще три машины. Кто из них форсировал реку, а кто нет, мне до сих пор неизвестно. Тогда не было времени проверять. Перед нами — немцы, позади — наши войска, которые ждут своего часа, ждут начала наступления.

— Вперед! — кричу водителю. — Не сбавлять скорости!

И мы несемся... Вспышки разрывов вырывают из тьмы разрушенные проволочные заграждения, надолбы, мечущихся немецких солдат.

— Огонь! — кричу стрелку.

А по броне танка царапают уже пули и осколки. Мы — в полосе огня. Наш стрелок, Петя Чернов, не

перестает бить по немцам. Пот ручьями течет по его лицу. А Рахим Сарыбасов, водитель, бросает танк в самую гущу немецких солдат, в панике удирающих от нас. Оборачивается ко мне, черные глаза его блестят.

— Коля! — кричу я Николаю Сорокину, радисту.— Ну, как там? Пошла пехота?

Он отрицательно покачал головой. Да, пожалуй, еще рано ей переправляться. Но скорее бы! Скорее!

Мы углубились уже на десять километров от берега. Значит, всего пройдено две тысячи сорок девять километров, подумал я. И вспомнил, что тебе сегодня сорок девять лет исполняется. Потрогал нагрудный карман. Письмо на месте.

Чернов обернулся ко мне от пушки, хотел что-то сказать, и в тот же миг танк вздрогнул, пахнуло едким дымом, Чернов со стоном повалился вниз. Я хотел было броситься к нему на помощь, но что-то морозное, колючее ударило меня в лицо. Посмотрел: на руке кровь, теплая, моя кровь.

— Товарищ командир! — слышу голос радиста.— Пехота переправляется. Взвод автоматчиков уже на этом берегу... — Он внезапно запнулся и крикнул мне: — Нос... Нос...

А я показал ему на Чернова. Вдруг внутри танка вспыхнуло, заметалось пламя. И первое, что бросилось мне в голову: «Письмо»... Письмо, которое я не успел отправить тебе, сгорит в моем кармане. Кровь заливала лицо, я хотел было утереться рукавом гимнастерки, но одежда вспыхнула на мне... Попытался тушить, хотел добраться до люка, открыть его и выбраться наружу, но что-то тяжелое и острое ударило меня по ногам. Я почувствовал, что стремительно падаю в черную бездну, из которой могу не подняться... Вот и все. Что было дальше со мной, я не знаю. Очнулся через шесть месяцев и десять дней...»

У Нурилы, читавшей теперь письмо стоя, внезапно подкосились ноги, и она схватилась за стенку, чтобы не упасть. Листки письма выпали из ее рук, рассыпались по полу. У Аклимы не нашлось сил наклониться и поднять их. Горький комок подкатился к горлу и мешал ей дышать.

А рядом с террасой стояли и слушали мальчишки, только что вернувшиеся из школы, — черномазые казахские дети. У одного из них была на голове большая отцовская пилотка, а в руке школьная сумка.

— Понял, как надо фашистов бить? — спросил он у своего товарища. — Я-то уже знаю. Мне папа рассказывал... Сперва в тыл надо зайти, а потом — трах! И ударить!

Он хотел показать, как надо ударить, размахнулся, но товарищ его юркнул в сторону, и мальчуган в пилотке, потеряв равновесие, сам плюхнулся на землю. Книжки, лежавшие у него в сумке, рассыпались... Другой мальчишка, не теряя времени, сел ему на грудь, зажимая рот рукой.

— А потом... Еще раз — трах! — приговаривал он. — Рот этому немцу завязать и тащить его к командиру!

Они играли в войну. А на террасе сидели две женщины, потрясенные самой страшной правдой настоящей войны.

— Читай, Нурила. Читай все, до конца! — с трудом выговорила Аклима, желая допить наконец безмерную чашу горя. И Нурила стала читать:

— «Первое, что я понял, когда очнулся — руки целы. Обрадовался. Все десять пальцев сохранились полностью. Обнимаются друг с другом, как старые друзья после долгой разлуки. Где же я? Что со мной? Почему так темно вокруг, так тихо? Наверное, ночь... Да, да! Ночь, — думал я. — Та самая ночь, когда загорелся танк. А может быть, он и не загорался. Может быть, просто я уснул тогда, и все, что было, — сон,

множество тяжелых снов! Ощупываю руками грудь... Цела... Сердце стучит. Поддерживая друг друга, руки движутся к голове... Вот — губы. Целы и губы, и зубы... Вот — нос. Но вместо носа пальцы нашли мягкую повязку, а под ней, словно расплавленный свинец — боль. А ноги мои? Чувствую, что левое бедро немеет, а в пальцах правой ноги — ломоту. Руки скользнули вниз и... не нашли ног. Вместо них — обрубки.

Я потерял сознание, а когда снова пришел в себя, была все та же тишина, та же мягкая койка, и были чьи-то руки, которые меняли у меня на голове повязку.

— Послушайте! Сколько времени? — спросил я. Никто не ответил мне. Я снова спросил, но не услышал своего голоса. Что же случилось, — оглох я или нем? Поднял руку. Тогда чей-то низкий голос у самого моего уха едва слышно проговорил:

— Успокойтесь. Вы спасены и будете жить. Вы в Саратове, в госпитале. Месяца через два начнете ходить. Поняли? — Голос неизвестного мне человека повторил все снова.

Да, я понял: буду жить, буду ходить. Но двух месяцев мне все-таки не хватило для того, чтобы подняться с постели. Теперь я уже мог считать дни, недели, месяцы... Прошло полгода с той минуты, как я пришел в себя, а подняться с койки все еще не мог. Постепенно возвращалось зрение, с трудом и понемногу я начал говорить, госпитальные хирурги восстановили мне нос. Но одного боюсь я все время: не узнают меня друзья-товарищи. Лицо мое обезображено, ног нет... Я долго не решался написать тебе обо всем этом, мама, родная.

Но я хочу жить... Ведь руки-то мои целы, сердце-то бьется. Значит, не все еще потеряно.

Мама, я могу писать. Какое это прекрасное слово — могу! Какое это большое счастье — писать! На фронте я часто пел какую-то песню. Слов я теперь уже не помню

и мотива не помню. Но это были мои слова и мой мотив. Хороши они или плохи для других, — не знаю. Знаю одно: что-то большое всегда поднималось во мне, будто я плыл по бескрайнему морю или стоял на вершине высокой горы. Я забывал все горести, уныние, страх, злость. Я пел... А почему бы и сейчас не запеть мне? Почему? Пусть попробуют взлететь к небу слова моей песни, как птенцы с неокрепшими крыльями. Ведь не сразу, но все-таки они полетят!

И последнее, мама. Сейчас, когда ты читаешь это письмо, я — на курорте. Учусь ходить на протезах. Обрубки ног болят. Но я все равно буду ходить. Буду!

Жду твоего письма. Как только получу его, вылечу в Караганду. Жду свидания, жду, когда ты крепко обнимешь меня. Твой сын Сапар».

— Сапар?! — вскрикнула Аклима. — Кто? Какой Сапар? Может быть, Касым, ты хотела сказать?

— Нет. — Нурила растерялась не меньше Аклимы. — Здесь написано ясно... Са...апар...

— Са...аапар? — выдохнула Аклима, выпрямляясь. Успокоилось сердце... Не он!

Она не могла скрыть радости: эти нечеловеческие страдания не коснулись ее сына; другой, чужой, совсем незнакомый ей остался калекой, но не Касым, нет! Аклима посветлевшими глазами взглянула на Нурилу и вздрогнула. Девушка так изменилась, что ее не узнала бы и родная мать. Она поникла, сгорбилась, даже темно-красное шелковое платье с голубыми цветочками, плотно облегающее ее тонкий стан, казалось помятым, словно увядшим. Вся тяжесть страданий солдата ложилась теперь на нее одну. В ее взгляде, остановившемся на лице Аклимы, были удивление и упрек.

Акклиме стало стыдно за свою минутную радость.

— Он, наверное, так любил свою мать, — сказала она скорее самой себе, чем Нуриле, и в голосе ее

зазвучала тайная материнская забота.

— Да! — воскликнула девушка. — Ведь я знала его мать. Она жила здесь, в этой комнате, где вы теперь живете...

И Нурила рассказала все, что знала. Во время войны, когда она, окончив институт, приехала в Караганду, случай столкнул ее с Сапаром и его матерью. Однажды Нурила возвращалась домой после собрания. Была ночь. Вдруг мимо девушки пробежал голый человек. Зимой в Караганде она увидела человека, бегущего в одних трусах по морозу! Конечно, Нурила испугалась. Она бросилась к дому и на террасе у соседки — тети Улбалы — увидела человека, надевавшего гимнастерку. Утром, когда Нурила, направляясь на работу, вышла из дома, ей встретился молодой лейтенант, рослый, с густыми ресницами и черными зачесанными назад волосами.

— Сестренка, — сказал он, улыбаясь. — Я, кажется, испугал вас вчера... Вы меня извините... Я каждый вечер обтираюсь снегом. Я вовсе не хотел пугать вас. Частное слово!

Это была их единственная встреча. Вечером молодой лейтенант уехал на фронт. Но он надолго остался в памяти Нурилы. Потом она узнала у Улбалы, что это ее сын, что зовут его Сапаром. Через два года Улбала умерла, а в ее комнате поселилась Аклима. Вот и все, что могла рассказать Нурила.

И снова в душе Аклимы четко зазвучали слова письма, далекий и сильный голос солдата. Как он был понятен ей! Но что делать? Как помочь Сапару? Как написать ему, что никогда материнские руки не обнимут его израненную солдатскую голову, что никогда не услышит он голоса своей матери?

— Нуркеш!^[11] — нерешительно сказала Аклима. — А если я... Если я вызову его... Ну, напишу ему от имени

матери... Приезжай, мол, сынок. Что будет, Нуркеш? Я ведь теперь знаю: мой-то Касым не вернется...

Нурила ничего не ответила ей. Она только подняла свои большие карие глаза, наполненные слезами, быстро схватила руку Аклимы и крепко сжала ее.

В тот же день полетела из Караганды телеграмма Сапару:

«Приезжай, сынок, жду. Мама».

И Аклима стала ждать...

Каждый самолет, пролетающий над ее домом, заставлял сильнее биться материнское сердце. Может быть, это он летит — ее сын-солдат, ее Сапар?

1944

Антти Тимонен. Дядя

/

Ветер вырвался из леса на свободу. Сырой, колючий, он гнал над равнинами Восточной Пруссии, почти над землей, тяжелые, грязные облака, бил в лицо липким снегом.

По обочинам шоссе колыхался мутный поток; вода принимала все, что давали ей земля и люди: песок и глину, навоз и кровь. Она обмывала черные покрышки разбитых грузовиков, ныряла под гусеницы танков, обломки мебели, тянула на дно распоротые перины и подушки. Местами, где кюветы до краев были забиты разным хламом, жидкая грязь выплескивалась на дорогу, заливая сапоги солдат.

Полк прибыл на отдых и пополнение. Все, что осталось от личного состава, квартиры без хлопот разместили в трехэтажном доме поместья с разбитым северным крылом.

Как бы солдат ни устал, он всегда устроит себе ночлег и хоть малый, да уют. Все суетились как новоселы: переставляли и носили из комнаты в комнату уцелевшую мебель, выбрасывали на улицу осколки посуды, солому, бинты с бурыми пятнами крови...

Помощнику начштаба полка по разведке Воронину и его замполиту досталась небольшая комната с окнами по фасаду; одно окно каким-то чудом уцелело, второе забили фанерой.

Высокий, худощавый капитан Воронин подошел к этажерке, где лежали детские учебники и тетради, раскрыл альбом для рисования.

— Смотри-ка, Яков Николаевич, здорово рисуют!

Замполит поднес альбом к близоруким глазам.

Он увидел картину сражения: из пушки еще только вылетал снаряд, а танк уже горел. Из люка высовывались бородатые люди со звездочками на шлемах и поднимали руки с растопыренными пальцами. Немецкий солдат держал в руках автоматище — больше, чем сам, а перед ним с поднятыми руками стояло столько солдат с красными звездочками, сколько уместилось на листе альбома.

Воронин вздохнул:

— М-да, рисунки остались, а что стало с художником?..

После бритья оба капитана, раздетые до пояса, с наслаждением мылись во дворе поместья, под колючим дождем. Чистую воду здесь можно было достать только из воронок.

Румяный после бритья и умывания, Воронин чуть посветлел лицом, но тем резче проступили морщины-полукружья вокруг рта. Тоска и усталость старили его прищуренные глаза, а ведь ему сегодня исполнилось только тридцать.

Оба капитана уселись пить чай. В печке домашнему трещали дрова, и в комнате стало теплее... Когда-то давным-давно, — вспомнилось Воронину, — он сидел в комнате, где так же вот потрескивали дрова.

Воронин усмехнулся: так же, да не совсем. Ну что общего между пронизанной солнцем комнатой там, в колхозе под Невелем, и этой полутемной детской здесь, в Восточной Пруссии; и разве есть что-то схожее между смешливым агрономом и угрюмым не по возрасту разведчиком?.. Там весенними вечерами стекла звенели, когда мимо домика шли тракторы; здесь под окном тоже грохотало: по шоссе проносились танки.

— Чем займемся теперь, Яков Николаевич? — спросил Воронин замполита.

— Отдыхать будем, Паша! — Замполит с наслаждением зевнул и раскинул руки с пухлыми ладошками. — Праздновать будем.

Постучали в дверь. На пороге появился молоденький незнакомый офицер, лихо взял под козырек и обратился:

— Товарищ капитан, разрешите доложить. Младший лейтенант Воробьев прибыл для прохождения дальнейшей службы.

Изящный поворот гибкой талии, скупой щелчок замка планшета и — вот документы.

Воронин внимательно оглядел младшего лейтенанта.

— Прямо из училища?

— Так точно, товарищ капитан.

— В боях еще не были?

— Никак нет, товарищ капитан. Хочу исправить этот недостаток.

— Так-так. Хорошо. — Капитан еще раз оглядел молодого офицера. Тот был в новом обмундировании, а пуговицы блестели так, будто младший лейтенант Воробьев готовился к параду на Красной площади, а не к охоте за «языком». Воронин еще раз взглянул на румяный подбородок юноши и подумал: «Да у тебя, сынок, даже борода еще не растет».

— Вас назначили командиром взвода разведчиков?— спросил он, упирая на последнее слово.

— Так точно, товарищ капитан.

— А вы представляете, что значит командовать разведчиками в Восточной Пруссии?

— Готов оправдать доверие, товарищ капитан.

— Вольно, товарищ младший лейтенант, — наконец сказал капитан Воронин, возвращая документы.

— Когда прикажете принять взвод, товарищ капитан?

Воронин молчал, и под его взглядом младший лейтенант почувствовал себя неловко: будто провинился, а в чем именно — и сам не знает.

— Мы теперь на отдыхе, товарищ младший лейтенант,— неторопливо начал Воронин. — Отсыпайтесь с дороги, подышите воздухом. Потом видно будет.

— Я готов принять взвод, товарищ капитан...

— Скажите разведчикам, чтобы устроили вас, накормили. А после ужина, часам к девяти, прошу ко мне.

— Есть явиться к девяти ноль-ноль!

Младший лейтенант лихо повернулся и строевым шагом направился к двери.

— А ведь парень обиделся, — сказал замполит.— Зачем ты так сухо? Решил не брать его?

— Не я же решаю, — уклончиво ответил Воронин.

Безмолвно вошел старшина хозяйственного взвода, расставил на полу под окном ящик, чемодан, бидон и тихо исчез. Следом явился старшина Карху — временно исполняющий обязанности командира взвода разведчиков.

— Ну как? — спросил помощник начальника штаба. — Устроились?

— А как же, товарищ капитан, — тепло, просторно.

— Чем занимаетесь?

— Да чем тут?.. Отдыхаем. Помылись, побрились. Кто письма пишет, кто в карты режется.

Замполит нахмурился.

— Больше нечем время убить?

Старшина — высоченный неуклюжий детина, — не говоря ни слова, пожал плечами и снова обратился к Воронину:

— А как же насчет взвода, товарищ капитан? Приказ будет?

— Какой приказ?

— Да ведь... Чтобы все законно... Новый же командир прибыл...

Капитан прервал его:

— Будет приказ, тогда и исполняйте. А пока устройте его, накормите.

— Хорошо, товарищ капитан.

— По Уставу, между прочим, отвечают: «Есть», — поправил замполит.

— Так точно, товарищ капитан.

Старшина не успел повернуться, как его опять остановили. На этот раз Воронин:

— Не забудьте — к девяти часам сюда. Вместе с младшим лейтенантом.

— Спасибо, товарищ капитан. Мы кое-что раздобыли...

— Не надо, — оборвал капитан. — Хозяйственники уже притащили. А что достали, раздайте ребятам. Но чтобы порядок...

— Ясно, товарищ капитан!

Карху, выходя, задел плечом дверь и чуть не снес ее с петель.

— Вот медведь! — усмехнулся замполит, когда старшина выскочил за дверь.

— А Карху в переводе на русский и есть — медведь. Побольше бы таких медведей!..

...Вечером офицеры штаба полка и батальонов собрались в одной комнате. Младший лейтенант Воробьев сидел на краю дивана. К нему подсел командир полка, седой, невысокого роста майор.

— Из Москвы, значит? — спросил майор.

— Так точно, товарищ майор! — встал младший лейтенант.

— Сидите, сидите. Сегодня вы гость. — Майор кивнул на стол, на котором были расставлены стаканы, кружки, а в тарелках и мисках лежала нехитрая

фронтная закуска. — Угощайтесь и расскажите, как там наша столица?

— А вы, товарищ майор, когда последний раз видели Москву?

— В декабре сорок первого. Проездом.

— Ой, товарищ майор, в Москве теперь почти мирная жизнь. И кино и цирк открыты, магазины... И затемнение сняли!

— Молодежь гуляет вечерами?

— Да... кажется... Нам редко давали увольнительные.

— Кто у вас дома, Володя? Позвольте назвать вас так. Родители где?

— Мать и сестренка в Москве, отец на фронте.

— Жены нет еще?

— Что вы, товарищ майор! Мне же... Прямо из школы — в армию, потом училище.

— И на примете никого нет?

Воробьев покраснел так, что лицо, шея — до самого подворотничка — стали розовыми. Потом поборол смущение, спросил доверительно:

— Скажите, пожалуйста, товарищ майор, успеем дойти до Берлина или здесь придется кончать войну?

— До моря осталось шестнадцать километров.

— Всего-то?..

Майор задумчиво посмотрел на юношу. Кто-то тихо запел.

— Да, только шестнадцать, Володя. Но это будут тяжелые километры, очень трудные... Вы должны это знать. Видите, сколько осталось офицеров? — Майор кивнул на сидящих. — Здесь почти весь комсостав полка. Вот так, Володя. Давайте послушаем, как поют!

...До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти четыре шага...

Песню вел Воронин, ее подхватили, но каждый пел по-своему: великая печаль и великая надежда на встречу, тоска по родине и торжество преодоления былых невзгод — все переплелось в общем хоре, все выплеснулось песней.

— Правда, хорошо? — спросил майор.

— От души поют, — согласился Володя, хотя ему показалось, что слишком уж грустен запевала. Его день рождения все-таки.

Майор кивал головой в такт и тихо подпевал. Потом начали другую песню. И опять яснее других проступил грустный баритон Воронина.

...Не все ль равно, чем кончится мой путь...

Вдруг капитан прервал песню и обратился к сидящим на диване:

— А вы что же, товарищи наблюдатели?

Он разлил водку в три кружки и, неуклюже удерживая их двумя руками, подошел к дивану.

— Почему не пьете за меня?

— В скромности тебя сегодня не обвинишь, — засмеялся майор и чокнулся с капитаном. — За твое тридцатилетие, брат. Что тебе пожелать? Здоровья?

— За здоровье или упокой, один черт. Пейте!

«Неужели ему только тридцать?» — Воробьев изумленно посмотрел на густую седину капитана, глубокие, как шрамы, полукружья у рта.

— А вы, будущий разведчик, что же? — спросил капитан.

Володя поболтал водку в кружке, понюхал и вздрогнул, будто его зазнобило.

— Я, товарищ капитан, еще... никогда не пил, — сказал он таким голосом, что майор поспешил на выручку:

— Неволить не будем. Он свое еще выпьет.

— Ну и не надо. — Капитан выхватил кружку и поднес старшине Карху. — За разведчиков, старшина!

— Только-только выпил, — ответил Карху. — Но за разведчиков можно и снова.

Майор тронул плечо Володи:

— Именинник наш — четвертый год на передовой.

— И даже не был ранен? — удивился Володя.

— Как же без этого! Ранило не раз, штопали и снова...

Утром группа офицеров штаба вышла к переднему краю, на рекогносцировку. Шли по опушке, под прикрытием леса, потом, увязая в глине, по краю оврага, заполненного водой цвета жидкого кофе.

Младший лейтенант Воробьев, шагая рядом с Ворониным, остановился возле разбитого немецкого танка. По краям воронки дыбились куски брони, обнажая изуродованные части двигателя; разорванные силой взрыва траки медленно засасывала глина; далеко от воронки темнели куски обгорелого сукна.

— С какой же это силой! Чем его?.. — ахнул Воробьев.— Снарядом и авиабомбой?..

— Войной, брат, — буркнул капитан. — Силой ненависти. Пошли, пошли, некогда.

Овраг вывел на проселочную дорогу. И снова только одного младшего лейтенанта изумило, что здесь, в двух шагах от передовой, сидели на платформе разбитого грузовика женщины, усталые дети моргали сонными, ничего не видящими глазами.

Воробьев поравнялся с капитаном и спросил тихо:

— Товарищ капитан, откуда они?

Капитан не сразу расслышал.

— Что откуда?

— Почему они тут, мирные люди, товарищ капитан?

— Сто тысяч «как» и двести «почему»... — устало усмехнулся капитан. — Просто вышли на прогулку. Дышать свежим воздухом, опят пособирать.

Юноша обиженно прикусил губу. Капитан добавил мягче:

— Куда люди могут убежать от войны? Только на восток.

Он стал поторапливать сидящих:

— Битте, фрау! Тут кампф — война. Идите, идите! — и показал рукой на восток.

Женщины покорно встали. Привычные к дисциплине, они понимали, что находятся в зоне огня. Только усталым детям было трудно подняться. Капитан помог мальчику лет десяти надеть лямки тяжелого рюкзака.

— Ну-ка, художник, вставай. Иди, иди, тут, брат, настоящая война.

— Почему художник? Вы его знаете? — снова не удержался от расспросов младший лейтенант.

Капитан не ответил. За опушкой леса, где проходили траншеи боевого охранения, ударили пулеметы. На обочину оврага шлепнулась мина, за ней, ближе, — вторая... Офицеры заспешили вперед, к морю, понурые женщины с детьми двинулись в обратную сторону — на восток.

Навстречу офицерам, тоже на восток, шли два бойца с носилками, на которых лежал юноша. Шинель сползла и обнажила бледное лицо погибшего. Пронзительно-синие, широко распахнутые глаза уже не видели ни тяжелых, грязных облаков на небе, ни дороги и встречных людей на земле; на юном лице застыло выражение горестного недоумения.

Младший лейтенант остановился. Снял шапку. Капитан взглянул на него, потом на погибшего. «Ровесники!» — подумал он с какой-то неизвестной ранее болью, от которой даже вздрогнул, хотя сколько уже видел погибших, таких же вот юношей. Глотнув, будто что-то першило в горле, он крикнул Воробьеву:

— Ну, что уставился! Не знал, куда тебя направили? Ну-ка марш вперед, живо!

— Товарищ капитан, да ведь... Он уже совершил свой подвиг... — Младший лейтенант надел шапку, когда носилки скрылись из виду, оглянулся.

— Подвиг, подвиг, — не сдержался капитан. — Тут воевать надо. Тут грязь, огонь, мясорубка...

...Последний вечер перед боем. Командиры подразделений трижды все проверили и перепроверили. Доложили о готовности и еще раз вернулись к деталям завтрашнего прорыва к морю.

На войне нет мелочей, четко исполняются все приказы, только одно распоряжение выполняется с трудом. Перед боем надо отдыхать, а сон не приходит, хоть ты что!..

Наперекор Уставу ведет себя и гармонь: все поет и поет «...про улыбку твою и глаза...». А письма? Почему-то всем хочется писать родным именно перед боем, будто до этого дня не было времени. И уходят солдатские треугольники с адресами: Рязань, Ленинград, Алма-Ата, Уфа, Петрозаводск... Письмо дойдет; от многих, очень многих — последнее письмо...

Капитан приказал вызвать Воробьева и сел за стол, большую часть которого занимала карта и бумаги, а справа на краю жались чайник и кружка.

— Товарищ капитан, младший лейтенант Воробьев по вашему приказанию явился.

Голос звучал слишком звонко. «Чему он радуется?»— удивился капитан, но лицо его сохранило замкнутое, официальное выражение.

— Ну, как самочувствие, товарищ младший лейтенант?

— Готов к выполнению боевого задания, товарищ капитан.

— С выполнением погодите. Скажите мне вот что. В училище как у вас?.. Например, с дисциплиной?

— Взысканий не имел, товарищ капитан.

— И даже на губе ни разу не сидели?

— Товарищ капитан! За время службы в армии никаких взысканий не было.

— Кстати, разведчикам и гауптвахта не противопоказана. Сидеть — сидели, воевать — воюют. Это между прочим...

— Этот мой недостаток исправлять не собираюсь, товарищ капитан. — Голос звучал вызывающе.

Капитан встал и сказал сухо:

— Так-так. Хорошо, товарищ младший лейтенант. У нас нет вакантной должности командира взвода разведчиков. Вы пойдете обратно в штаб дивизии, а оттуда в армейский резерв. Вот вам пакет.

— Раз... разрешите, — голос задрожал, — обратиться по этому вопросу к командиру полка.

— Не разрешаю, — отрезал капитан. — Командир полка занят. Вопрос с ним согласован. Можете идти.

— За что, товарищ капитан?.. — Голос упал до шепота.

— Товарищ младший лейтенант, вы свободны!

Юноша козырнул и поплелся к выходу. В дверях появился замполит, но по тому, как участливо и крепко он пожал руку Воробьеву, младший лейтенант понял: даже замполит ничего не может изменить.

— Видно, хороший парень. Рвется в бой...

— А я и не говорю, что плохой. Только вот это, — Воронин ткнул пальцем в листки с текстом боевого приказа, — это не водевиль и даже не учебное заведение. Зачем ему это?..

Замполит вздохнул:

— Но кому-то надо...

А те, кому надо, с началом рассвета уже занимали исходные позиции... Солдатское ухо улавливало

привычный гул перестрелки; солдатский глаз углядывал обычный, пока разворошенный войной пейзаж Восточной Пруссии: островки негустого сеяного леса, небольшие холмы, развалины домов под красной черепицей. И кругом — ни души. Но солдата не обманешь. Здесь, на шестнадцати километрах, встали лицом к лицу полки, дивизии, армии; друг против друга стояли два вражеских фронта. И нет открытых флангов. И — некуда больше отступить: или сложить оружие, или умереть. Сегодня они еще будут воевать. Что ж, воевать так воевать! На то и война.

Сегодня сотни стальных стволов обращены к морю. Для маскировки орудий не хватает деревьев: в Восточной Пруссии теперь больше стального леса, чем зеленого.

А где-то впереди, тоже невидимыми батареями, дивизионами, бригадами выросли стволы пушек, направленных на восток.

Размашисто, гулко стучит сердце. Иначе, чем на отдыхе, по-другому, чем в бою. Солдаты ко всему привыкают. Только к ожиданию боя никогда не привыкнут.

Артподготовка!

В боевых приказах о ней объявляется всегда одинаково, будь то учебный выстрел на полигоне, или залпы нескольких орудий «местного значения», или из всех батарей залпы в решающем сражении. Так она называлась и сегодня, когда вздрогнула вся Восточная Пруссия. Закачалась земля, загудел воздух; на пути к морю поднялась стена дыма, огня, камней и земли. А потом такая же стена выросла и на наших позициях, в нашем тылу. В воздух взлетали деревья, обломки железа...

Из какого-то подвала выскочила собака, в ужасе тыкаясь под ноги людям: ее тощее лохматое тело била крупная дрожь...

Головные отряды по всему фронту ринулись следом за пылающим валом. Водители танков управляли машинами, не видя впереди ничего, кроме густого дыма. А на танках, прижимаясь к стальной башне, лежали с автоматами люди. Капитан Воронин увидел с брони вспышки противотанковых орудий. Кто-то, заливаясь кровью, упал с танка, остался лежать навсегда. Этот «кто-то» не впервые, но теперь в последний раз был рядом с капитаном... Танк, следующий за головной машиной, вдруг поднялся на дыбы от сильного взрыва и рухнул, охваченный пламенем.

Так начался день 13 марта 1945 года.

Кажется, небо было безоблачное, а может, и в тучах, — кто его знает: дым, гарь, огненные клубы надолго закрыли и небо и солнце.

Двухэтажное здание плевалось огнем из выбитых окон. Танки штукатурили стены свинцом, снарядами, прикрывая огнем автоматчиков, которые ринулись к фасаду здания.

Вдруг у самой стены выросли тени людей. Не солдат. Женщины в лохмотьях, старики и, кажется, дети. В дыму не разглядишь. А вот и солдаты. Они стояли под прикрытием живой брони — более неуязвимой, чем самая прочная сталь.

— Стреляйте, родные, стреляйте!..

Даже сквозь грохот прорвался этот вопль. Старая женщина что-то кричала, рванув с головы черный платок...

Немцы, укрываясь за живой стеной людей, поливали автоматчиков свинцом. А наши — отступали. Шаг за шагом. Воронин следил за минутной стрелкой, а когда она обежала циферблат, капитан бросился навстречу живой стене:

— В рукопа-а-ашную!

В этот момент за спиной немцев показались наши разведчики.

Враги не приняли рукопашного боя. Одни поднимали руки, другие бежали.

— Родные, миленькие!.. — бросились женщины к бойцам.

— В траншеи, живо! — кричал капитан и огляделся: опять недосчитаться многих.

Подбежал Карху.

— Ну как?

— Задание выполнено. Товарищ капитан, дайте, пожалуйста, огня. Зажигалку потерял. Уронил, когда ползли.

Руки Карху дрожали.

— Сколько? — Капитан требовательно взглянул на старшину.

— Троих... Сашу. Да, Сашу... Потом Колю — молоденького Миронова, помните. Бориса, того самого... Где же я зажигалку потерял? Такая хорошая, безотказная!..

Карху никак не мог прикурить. То ли папироска отсырела, то ли... Капитан посмотрел на него с участием:

«Никудышный ты артист, старшина!..»

Подошла, шатаясь, старуха; та самая, которая просила стрелять.

— Миленький, Василиса там, раненая.

— Какая еще Василиса?

— Девчонка. Не встала с нами в строй. Ударили прикладом по голове... Спасти надо, живая она...

На площадке лестницы, ведущей в подвал дома, головой вниз лежала девушка. Из-под лохмотьев выпирали острые косточки лопаток. Капитан поднял раненую на руки, — господи, совсем скелет! Он вышел наверх, на первый этаж и долго топтался, не зная, куда лучше уложить эти стонущие кости. На второй этаж

нельзя — там что-то трещало и рушилось. Хорошо, хоть здесь стены прочные; что ни говори — умели строить в Восточной Пруссии.

Пройдя на кухню, Воронин увидел какие-то нары, на полу поблескивали стреляные гильзы. Вот здесь можно положить девчонку.

Когда капитан вернулся после обхода здания, санитар бинтовал голову девушки.

— Как жива осталась? Удивительно... — сам спрашивал и сам себе отвечал санитар, обмывая ватой бледные, восковой прозрачности щеки. — Еще бы на сантиметр ближе к виску и...

Воронин вышел, но через полчаса ноги сами привели его в кухню. Раненая открыла большие серые глаза с темным ободком вокруг зрачков.

— Вот кто притащил тебя. — Санитар кивнул на Воронина.

— Спасибо, дядя, — тихо сказала девушка.

«Дядя»! За все четыре года никто еще ни разу не назвал так Воронина. А до войны — тем более: слишком молод был агроном из колхоза «Заря». И вот — «дядя»...

— Сколько лет, племянница?

— Девятнадцать.

— А мне — тридцать.

Девушка посмотрела на капитана, на его широкий твердый подбородок, такие же серые, как у нее, широко расставленные глаза; особо подметила седину густых волос и глубокие морщины — от крыльев носа к углам сжатых губ.

— ...Тридцать?.. Извините!

— Ладно, Василиса. Compliments о возрасте потом. Как себя чувствуете?

— Теперь хорошо...

Капитан шагнул к нарам и, с неожиданной для себя робостью, тихо спросил:

— Вы не слышали о Надежде Ворониной? Из-под Невеля? С маленькой девочкой? Их угнали в Германию...

Девушка долго не отвечала. Может, перебирала в памяти всех встреченных в неволе или трудно стало говорить. Она медленно покачала головой.

— ...Дочке теперь шестой год идет. Не слышали? Воронина, Надя...

— Нет, дядя, не слышала про Надежду...

Прерывистый вздох оборвал голос телефониста:

— Товарищ капитан! Вас к аппарату.

Разговор состоял из двух коротких фраз, на которые оба раза Воронин ответил лаконично: «Есть!» — и снова пошел в кухню. В последний раз.

— Счастливо тебе, Василиса! Поправляйся скорее.

— Спасибо вам...

— ...дядя. Ладно, так уж, видно, и есть. Ну прощай, племянница! — Капитан хотел пожать худенькую кисть, но вдруг наклонился и бережно поцеловал холодную неживую щеку...

II

...Поздняя осень первого мирного 1945 года застала Воронина, теперь уже в чине майора, на румынском берегу Тисы. На другом берегу — таком близком, что ясно различимы лица прохожих, — Советский Союз. А на этом — Румыния. Государственная граница проходила через одну деревню, поэтому она имела два названия: советская — Великие Бычки, румынская — Босикай.

Первое время Воронин жил на своей, советской, стороне Тисы, а на службу ходил сюда, в Румынию. Но вот пришли пограничники, и майору предложили «перебазироваться» по месту службы. И смешно и диковато как-то: советского майора выпроводили из Советского Союза «на свою сторону», в Румынию.

Пограничники и сами смеялись, но... приказ есть приказ. Государственные границы надо уважать.

Пришла осень, а майор Воронин еще не вернулся на родину. В румынской части деревни Босикай на самой границе создан распределительный лагерь. Сюда каждый день поездами из Австрии, Венгрии, Италии, Чехословакии приезжают советские люди: дети, выросшие на чужбине, женщины, постаревшие в тридцать, чудом выжившие старики... Одни поедут отсюда в Донбасс, другие в Ленинград, третьи в Белоруссию. Все спешат, требуют: домой, немедленно отправьте домой!

Майору Воронину спешить некуда. Домик бывшего агронома колхоза «Заря» сожжен и проутюжен танками. Может, и семья у него — бывшая? Много в его жизни бывшего.

Война — что океан; разве стихнет сразу после шторма? Вот уже и небо очистилось, и солнце сияет, как умытое, а громады океанских волн все еще ходят ходуном, обрушивают на берег яростный прибой, выбрасывают грязь, обломки, пену... Сто пятьдесят дней, как люди живут в мире, но очень еще беспокойно в Карпатах. Бродят банды, не желающие признать капитуляцию Германии, терроризируют жителей новой Румынии, охотятся за работниками прикарпатских советских районов. Недавно остановили в горах состав с бывшими невольницами.

Военные идут туда, куда прикажут. Но единственный раз за все время службы в армии Воронин попросил назначение, имея в виду личный интерес. С каждым новым эшелонам приезжали освобожденные из фашистской неволи. И кто бы упрекнул майора, что всякий раз он начинал изучать списки этих людей сразу с буквы «В». Много списков проходило через его руки — Надежда Воронина в них не значилась.

...Воронин машинально потер лоб и щеки, прорезанные полукружьями, будто забыл, что морщины — не костюм, их не разгладишь. Он медленно подошел к столу...

Утром будет новый список. И снова Воронин начнет проверять все фамилии с буквы «В»...

Петрозаводск

Шабданбай Абдыраманов.

СОЛДАТ

Был ли ты на войне? Видел ли солдата, бегущего в атаку впереди отряда, видел ли, как, пораженный вражеской пулей, упал он навзничь?

Мне было тогда четырнадцать лет.

...Как медленный караван, шел второй год войны. Давно уже стали светлым воспоминанием те беззаботные дни, когда мы, дети, сидели у очага, капризничали, хныкали, а бедная мама чуть ли не со слезами на глазах упрашивала нас поесть хоть немножечко талкана — приготовленного на молоке мягкого душистого пряника.

Все изменилось. Нет теперь в нашем кыштаке джигитов, которые и в палящий зной без отдыха косят траву. Нет теперь ни этого здорового статного Малабека, ни толстощекого молчаливого Джапара, пашущего на своих быках поле, — лоб его всегда в поту, как в масле; нет и Саяка, носатого пересмешника, который любил с ветерком прокатиться на бричке. Нет смелых, ловких, сильных юношей, которых в народе называют кара жигиттер — черными джигитами. Нет их...

Киргизы говорят, что когда-то давно сильный джигит нашел тутки — ручки земли, и взялся за них, и стал трясти землю, и с тех пор держит он землю в своих крепких руках.

Этот джигит теперь на фронте. Далеко увела его война. Но пока живы люди, держат они землю своими руками.

Вот, крепко ухватившись за рукоятку плуга, идет молодка. Не успела она обойти вокруг холма, а

обильный пот, смешанный с пылью, уже капает со лба на обветренные, потрескавшиеся руки. А другая, широко расставив ноги, стоит на парной повозке и высоко над головой размахивает длинным кнутом. Вскачь несутся лошади, и встречный ветер раздувает подол широкого платья.

Трудное время. Больших трудов стоит жизнь.

...Я сдал последний экзамен и получил свидетельство об окончании седьмого класса. На следующий же день рано утром меня разбудила мать, она трясла меня за плечо и торопливо говорила:

— Вставай, человек тебя ждет на улице.

Я протер сонные глаза, встал с топчана и вышел во двор. Солнце уже поднялось с похожего на верблюжий горб холма. Над старым урюком с шумом вилась серая стая воробьев. Увидев меня, пестрый щенок поднял голову, махнул хвостом и снова улегся, высунув тонкий язык и тряся боками. У дувала меня подждал бригадир. Сам бригадир. Его боялись все женщины, а из-за меня сейчас он сам приехал к моему дому. Он сидел верхом на лошади, у которой от усталости даже отвисли уши.

— А, Сапарбек, ну как, кончил учебу? — спросил он, глядя на гриву коня.

— Да, — ответил я и приготовился слушать, что он скажет дальше.

— Очень хорошо, хотя ты и молод, но все же... — Бригадир ухмыльнулся, обнажив длинные передние зубы. Над верхней губой вместо усов у него была какая-то жалкая растительность, и весь вид был довольно кислый, и голос сдавленный.

— Ты сегодня вместе со стариком Жумакадыром сходи на мельницу. — Бригадир облизнул обветренные губы. — Поможешь ему навьючить и отвезти туда зерно на помол. Вьючный скот уже на гумне. Там же и зерно

получите. Жумакадыр ждет тебя. Иди, не задерживайся.

Я ничего не сказал ему в ответ, едва кивнул. Мне сразу стало не по себе. Мельница находилась от нас не так-то близко. Туда надо было добираться извилистыми тропами через лесную чащу. Но неприятней всего было то, что я должен идти со стариком Жумакадыром. Он у нас считался придурковатым.

Дед Жумакадыр жил с нами по соседству. Ему давно уже перевалило за шестьдесят. Он был высокого роста, волосы у него сплошь седые, как шерсть белой овцы, борода всклокоченная. Вместо носа огромная шишка, густые брови нависли над глазами, как наметанные ветром сугробы снега. Белки его вечно слезящихся глаз были красные. Широкие костистые плечи выпирали из-под стеганого халата.

Дед Жумакадыр не любил сидеть без дела. Зимой и летом его находила работа, он никогда не расставался с топором и кетменем. Его огромные руки с толстыми искривленными в суставах пальцами были все в глубоких трещинах, будто их исполосовали острым ножом.

Богомольные почтенные старики в аиле недолюбливали Жумакадыра. Все они каждую пятницу приходили помолиться в старую мечеть на верхней окраине аила. Но Жумакадыру, видно, и в голову не приходило когда-нибудь туда зайти.

Однажды, бегая с ребятами, я очутился возле мечети. Мулла в белом тюрбане сидел впереди стариков лицом к югу и читал вслух молитвы. Он поднял обе руки, промолвил: «Аллоу акпар», — провел ладонями по лицу и бороде. Все аксакалы сделали то же. Потом они поднялись и сели у стены, прислонившись к ней спинами. Мулла начал рассказывать притчу о загробной жизни, о рае, угрожая неверным адскими мучениями.

— И у нас в аиле завелся неверный, — сказал один из стариков. — Разве Жумакадыр думает когда-нибудь о том, что его ожидает на том свете?

— Э-э, — сморщившись, протянул другой, с козлиной бородкой. — Сам аллах его проклял.

— Всемогущий аллах дал полную свободу всем и каждому. Каждый волен поступать так, как ему заблагорассудится, — разъяснил мулла. — Кто не выполняет законы шариата, тот легко поддается обольщениям шайтана. Богоотступникам шайтан сулит неземные блаженства, и они идут у него на поводу, не замечая своего грехопадения... Так написано в Коране.

И я, каждый раз как увижу Жумакадыра, так сразу вспоминаю эти слова. Вот и сегодня, когда мы шли на мельницу, всю дорогу они вертелись у меня в голове. Виделся мне красный негаснущий огонь ада, уготованный для грешников, и мост над ним толщиной с волосинку, по которому предстоит им пройти, чтобы попасть в рай. Об этом много рассказывал мне отец. В поздний вечерний час я слышал, как он заунывно тянет, сидя в углу на тахте:

На все аллаха власть:
Он судит, он прощает,
Дракону прямо в пасть
Он грешников бросает.

Сначала грешников разваривают в котле, — это я тоже знал из песен отца, — потом дракон пережевывает их шестьюдесятью двумя зубами.

Мне кажется, старому Жумакадыру не миновать вариться в адском котле. Интересно, почему же он не боится ада? Какой же он странный. Но учитель тоже говорит, что ада нет. Наверно, учитель лучше муллы

знает? Тогда понятно, почему дед Жумакадыр ходит себе преспокойно, не обращая ни на что внимания...

Как-то в прошлом году, поздней осенью, вдруг начался большой снегопад.

Был вечер, люди в аиле собирались спать. У нас в доме долго сидели при свете керосиновой лампы, вспоминая ушедших на фронт односельчан, рассказывали о войне. Такие разговоры я слышал не впервые, но в тот вечер много было страшного. Я долго не мог уснуть. Война представлялась, как в кинокартине «Чапаев»: строчили пулеметы, падали люди, сраженные пулями; их топтали кони, текла кровь. Я старался не думать о войне, но все время думал о ней. Да и как не думать, ведь мои старшие братья на фронте.

Вдруг они уже лежат простреленные. Лежат и не могут встать...

Наконец я все же уснул.

Среди ночи я вскочил от какого-то крика. Все окно было кровавого цвета. Я выглянул на улицу. Спросонок мне показалось, что вся она объята пламенем. Доносился шум, тревожные крики:

— Дом горит! Что они теперь будут делать, несчастные!..

Чей дом горел, кто были эти несчастные, я не знал, а выйти на улицу боялся.

Через некоторое время наши вернулись домой. Отец морщился от боли, руки у него были обожжены. Пока мать натирала картошку и прикладывала ее к ожогам, он рассказывал, как спасал имущество старика. Оказывается, горел дом Жумакадыра. Кто поджег, неизвестно. «Тяжело теперь будет ему, единственный сын на фронте», — с жалостью говорили мои родные. Я, как услышал про поджог, затрясся, как в лихорадке. Казалось, вот-вот и наша крыша запылает огнем.

Долго я не мог уснуть. Все время перед моими глазами стоял сын Жумакадыра Орозбай. Он дружил с моими старшими братьями, вместе с ними был в комсомоле и теперь вместе с ними там, на войне...

Утром, когда я вышел на улицу, вокруг было все бело. Ива с еще не опавшими листьями склонилась под тяжестью сырого первого снега. Из труб поднимался дымок. Я сразу побежал к дому деда Жумакадыра.

Старик ходил с лопатой и разгребал снег. Он откапывал свое имущество, которое вынесли ночью из объятых пламенем дома. Дед Жумакадыр был спокоен, словно ничего и не случилось. Дворовый пес лежал, свернувшись калачиком, спрятав морду под хвост. Дед бросил на него пару лопат снега, завалил. Испуганный пес выскочил, отряхнулся, громко залаял и, оглядываясь, побежал трусцой. Это так рассмешило Жумакадыра, что он встал, опершись на свою лопату, и захохотал на весь кыштак.

— Теперешние собаки шелудивые. Так-то, сынок...

Я смотрел на него во все глаза. У него сгорел дом, а ведь зима уже стучалась в ворота, и его единственный сын, на которого вся надежда, был на фронте.

— Черт с ним, с домом, — сказал Жумакадыр. — Его все равно надо было сносить. Вернется Орозбай — поставим новый, вот на этом месте. — Он отмерил широкими шагами площадь будущего дома и очертил лопатой. — А вот здесь сделаем дверь. Дом будет из двух половин, посередине — общая передняя.

— Отчего все-таки был пожар? — с сочувствием спрашивали люди, подходя к нам.

— Дымоход неисправный, ну и прорвался огонь.

— Странно как-то.

— А впрочем, не все ли равно? — Жумакадыр махнул рукой. — Была, наверно, какая-нибудь причина. Не подпалил же человек человека!

Мне, всю ночь не спавшему из-за пожара, было обидно, что дед Жумакадыр так безразлично относится к своему горю. Конечно, ему об этом я сказать не мог.

Мельница, куда мы возим зерно, — маленький домик с неровными глинобитными стенами, пыльными от муки.

Жумакадыр понес мешки, а мне велел пасти ишаков и волов в кустарнике за мельницей. Я поднялся на высокий, как дом, камень, сел и следил за ними. За спиной шумела стремительная река, ударяясь о камни и расплескивая белую пену.

Поздно вечером мельница закончила молоть наше зерно. Двадцать километров нам предстояло тащиться обратно. К тому же надо было переправиться через довольно глубокую речку. Днем, когда переходили через нее вброд, у наших волов только спины выступали из-под воды, а ишаки переплыли, как утки. Я бы, конечно, заночевал на мельнице, не ушел бы отсюда, пока не станет светло. Оторопь берет, как только вспомню про эту страшную дорогу с ее лесами да камышами.

— Дед Жумакадыр, давайте останемся здесь до утра.

— А что случилось?

— Да ничего... Я говорю, лучше завтра утром пойдем.

— Боишься, мой щеночек, что ли?

— Дорога плохая, через речку надо переправляться.

— Эх ты, трусишка. Если боишься воды, я тебя на своем горбу перенесу.

Дед Жумакадыр навьючил на волов и ишаков мешки с мукой, и мы тронулись в путь. А ночь черная, хоть глаз выколи. То идем лесом, то по склону холма, то в гору, то с горы. Трава высокая, темная, густая. Лес полон

прохлады, сырости, чем дальше, тем он гуще, таинственней. Я слышу, кто-то ходит рядом, в кустах, затаил дыхание, сейчас бросится на меня. Ишаки спешат: на них тяжелая поклажа. Быки идут сзади, с трудом переставляют ноги.

— Проходи вперед, веди караван, — предлагает мне дед Жумакадыр.

А как мне проходить вперед, уйти от деда, когда мне даже рядом с ним страшно?

Дед Жумакадыр и в ус не дует. Шагает себе не спеша вверх по склону, похрапывает: никогда до этого я не видел человека, спящего на ходу. Иногда он храпит так громко, что даже сам себя будит, а то, засыпая, останавливается.

— Дед Жумакадыр, чего же вы стоите, ишаки-то уйдут далеко, — хнычу я.

— Пусть уходят. Дальше дома никуда не уйдут.

— А волки—

— Пускай не торопятся, если волков боятся...— хохочет дед и протяжно затягивает на старинный мотив:

Куда катится, где закатится
Эта яркая звезда?..

Дед поет долго, а когда он поет, мне не страшно.

В конце концов бригадир прикрепил меня к деду Жумакадыру.

Как-то несколько дней подряд мы с ним вдвоем возили сено. Он мне накладывал на волокушу, а я возил к скирде. Дед Жумакадыр работал как вол. Бывало, я утомлюсь и усну, сидя верхом на быке, он снимет меня осторожно, уложит у копны и работает один. Сам накладывает, сам возит.

Наш колхоз начал убирать ячмень. В этот день бригадир Абдыкар, как всегда, пришел пьяный. У Абдыкара щеки красные; все время облизывая губы, вытаскивает из-за голенища камчу, покачиваясь перед женщинами, ругает их и спрашивает:

— Почему не здороваются?

Они молчат, и это злит Абдыкара.

— Молчите! — кричит он, зверея, и вытягивает кого-нибудь камчой по спине. Ругая нас, он всегда опирается на политику: «Ты прихвостень Гитлера, ты идешь против плана! Ты же знаешь, в каком мы теперь тяжелом положении». Что на это ему ответишь?

Получив повестку в военкомат, он налижется до бесчувствия, захнычет, начинает плакать, причитать:

Если меня завтра заберут в солдаты,
На кого оставлю сына Бекмамата?..

Но его самого в армию почему-то не брали. Доедет до райцентра, самое большее до областного, и вернется обратно. Вернется и ходит козырем, будто совершил какой-то героический подвиг.

В тот день Жумакадыр почему-то запоздал, он пришел тогда, когда бригадир уже был в поле.

— Эй ты, старый хрыч! — закричал он, увидев Жумакадыра. — Что это ты разгуливаешь?

— Три дня я не ходил домой, — сказал дед Жумакадыр, как всегда тихо и спокойно, — дома у старухи не осталось ни воды, ни дров. Пришлось и о ней позаботиться. Ничего, кажется, из-за этого не случилось, — закончил дед и отошел.

Бригадир оскалился, с яростью набросился на деда Жумакадыра, ударил его в грудь тупой стороной серпа. Ударил безжалостно, как будто не по живому телу, а по

дувалу. Слезы брызнули у меня из глаз — так мне стало жалко бедного старика.

А дед постоял немного, потом, сдвинув брови, молча зашагал туда, где его ждала работа.

Как раз в те дни мы с дедом Жумакадыром возили хлеб на сыпной пункт. Расстояние до него было около двадцати километров. Всю дорогу туда и обратно я поглядывал на старика, на его седые взъерошенные брови. Я все время думал: почему дед Жумакадыр не дал сдачи бригадиру? Ведь он справился бы с этим пьяницей, если бы взялся за него по-настоящему. Разве можно быть уж таким послушным?

Но мне довелось узнать и как сердится дед Жумакадыр,— тогда, когда я совершенно этого не ожидал.

Однажды вечером пришел к нам домой высокого роста смуглый парень по имени Молдокмат и остался у нас ночевать. Сам он, по разговорам, был житель здешних мест, но последние годы, видимо, жил в городе. Одна рука у него не действовала, и в солдаты его не брали. Он привез с собой ситец. Продавал его за деньги или менял на кокнар и на нюхательный табак. Он быстро сбыл свой товар. Вечером все, что собрал, он зашил в маленькие мешочки, долго взвешивал на руке, жадно глядя на них. Потом сложил их у стены.

Этот Молдокмат знал много интересных вещей и говорил, не переставая, весь вечер. Отец мой сидел разинув рот, уши развесил. Уж такой он у нас был доверчивый: устал за день, еле ноги таскает, а вместо того чтобы отдохнуть, сидит и слушает...

— Эх, аке, — сказал Молдокмат, — хотя от свиньи произошел этот самый герман, но все же он силен...

Отец мой так и обмер. Ведь его сыновья были на фронте. А тут Молдокмат совсем ошеломил нас. Вот что он собственными ушами слышал от одного недавно вернувшегося домой солдата. На фронте этот джигит

нашел папиросу. Только было хотел закурить — она превратилась в кровь и вылилась на землю, и потом каждая капля этой крови стала превращаться в немецкого солдата. Их стало так много, что джигит оказался во вражеском окружении. «Мы тебя трогать не будем, — сказал немец. — Иди к своим и передай, чтобы они в нас не стреляли, а переходили на нашу сторону, иначе мы расправимся с вами со всеми!»

— Ой, аллах! — пробормотал мой отец, хватая дрожащими руками себя за ворот.

— Э-э, аке, — не унимался Молдокмат, — говорят, что у немцев хлеб слоями... Слой масла, слой мяса и слой сахара...

На следующий день по дороге с ссыпного пункта я подробно рассказал обо всем этом деду Жумакадыру.

— А, чтоб поразило стрелой дурака такого! — возмутился старик. — Где этот бродяга, покажи мне его.

Дед Жумакадыр весь трясся от негодования.

— Он у вас?

— Нет. Чуть стало светать, уехал.

Дед Жумакадыр некоторое время шагал молча, а потом достал из кармана халата письмо, сложенное треугольником, и протянул его мне.

— Читай вот это!

Я развернул исписанный лист и начал читать:

— «Счастливая, благоухающая ароматом жизнь осталась в родной Киргизии, дорогие мои отец, мама, и все мои родные, близкие. Письмо это вам пишет ваш Орозбай, с оружием в руках, не щадя жизни своей, участвующий в кровавых схватках с коварным врагом».

Затем Орозбай сообщил, что он жив и здоров и шлет свой поклон. Вся страница до самого краешка была исписана именами односельчан, которым этот поклон предназначался.

— Читай на обороте, — сказал дед Жумакадыр.

— «Отец, вначале мы не могли остановить их наступления. Теперь дела идут по-другому. Мы им ни шагу не даем шагнуть вперед. Мы гоним их назад. Я уверен, бог даст, скоро они так побегут, что только пятки засверкают».

— Видал? Вот как пишет Орозбай. А этот дурак смотри что выдумал... — Дед Жумакадыр бросил на меня злобный взгляд.

А какое отношение имею я к Молдокмату?

Прошло около месяца. Кончается уборка хлеба. Люди изо всех сил стараются быстрее закончить обмолот. В ходу и молотильный камень, и волю, и лошади, и коровы. Чуть только подует ветер, веяльщики уже веют зерно. А мы с дедом Жумакадыром возим его.

Однажды на гумне не оказалось намолоченного зерна, и нам нечего было возить. Волю наши паслись на гребне горы. «Пойду пригоню их», — сказал дед Жумакадыр и ушел. Я долго ждал его: ему давно пора было вернуться, молотильщики уже наполнили наши мешки зерном, а его все нет и нет.

Я поднялся на гору и увидел деда Жумакадыра. Он сидел на выступе скалы, выставив подбородок, смотрел куда-то вдаль. Прозрачные слезинки скатывались на седую бороду и на полы когда-то белой рубашки. Я постоял, тоже всматриваясь в осеннюю мглу.

В хорошую погоду с этого выступа вся долина видна как на ладони до самого Джалал-Абадэ, даже еще дальше. А теперь город едва различим, и за ним сплошная пелена. На душе у меня стало нехорошо. Я перевел взгляд на деда Жумакадыра и впервые заметил, как сильно исхудал старик, какой он стал сухой, костлявый. Густые брови взлохмачены, старческие выцветшие глаза смотрят из глубины

глазниц, скулы выступили вперед, будто под натянутой кожей — сжатые кулаки.

Наконец дед Жумакадыр поднялся.

Солнце уже начало клониться к закату, когда мы вышли на дорогу, ведя свой усталый караван. Животные бредут, поднимая за собой столб пыли, а мы идем следом, окутанные ее густым туманом. И без того воспаленные глаза деда от пыли краснеют еще больше и теперь похожи на необуглившуюся головешку.

На пункте всегда многолюдно, сюда привозят зерно из разных кыштак. Здесь и совсем малые ребята, и старики, и женщины.

Палящий зной, ни ветерка. Нетерпеливо ожидаем своей очереди. Все хотят быстрее сдать зерно, брички сталкиваются, задевают одна за другую. Верблюд, у которого верблюжонок остался на току, завывает протяжно, будто плачет. За забором кричит, маневрируя, паровоз, вздрагивают вагоны.

А дед Жумакадыр носит мешки, большие, в каждом не меньше центнера. Он садится, взваливает мешок на себя, одной рукой придерживает его, другой рукой упирается в землю и медленно распрямляется, отрывая руку от земли. Из-под короткого дамбала видны худые, грязные ноги и синие вздутые жилы.

Одна из погонщиц в выцветшем, коротко подобранном платье, подпоясанном бечевкой из верблюжьей шерсти, встречая деда Жумакадыра, каждый раз заговаривает с ним, как со старым знакомым.

— А, аке, — начинает она, обнажая черные от пыли зубы, — как самочувствие?

— Сама видишь. Как ты поживаешь? Здоровы ли твои детишки? А муж твой пишет с фронта?

— Вот уже два месяца нет вестей, аке.

Дед Жумакадыр опускает голову.

— Вернется, даст бог, к счастью твоих детишек, — говорит он тихо.

Однажды, придя на ток, мы застали бригадира. Он, как всегда, ругал женщин, но на этот раз не без причины.

— Бригадир, дорогой мой, — умоляюще протягивала к нему руки Бурулча, низенькая старая женщина в мешковатом платье. — Давеча в обеденный перерыв мы насыпали одной бедняжке по горсточке зерна.

— Да ведь я только недавно выдал ей авансом десять килограммов отходов!

— Правильно, аке, спасибо вам, — подтвердила худая, длинная как жердь, будто высохшая на солнце, женщина.

Перед ней стоял чайник, в котором она принесла жарму себе на обед. Он без крышки, и внутри видна пшеница. Женщина вылущила ее на ладони и провеяла, сдувая шелуху ртом.

— Почему твои дети должны есть больше, чем все остальные люди?

— Если бы, как у всех остальных, было у нас хотя бы молоко. Нельзя прожить на одной жарме. Дети плачут... голодные... Теперь все. Больше никогда этого не будет.

— Нет, пойдем, воровка, в контору. Этот хлеб предназначен для фронта, а ты в него запустила свою грязную руку.

При слове «воровка» женщина зарыдала.

Все это время Жумакадыр стоял в стороне, как будто не замечая, что происходит. Вдруг он решительно повернулся и пошел к бригадиру.

— Ой, Абдыкар, хватит! Ты же слышал, что она обещала больше этого не делать.

— А ты не вмешивайся не в свое дело! Занимайся своим, — ответил ему бригадир и направился к оседланной лошади.

— А чтоб тебя разорвало, жулик эдакий! — вдруг крикнул старик. — Когда ты центнерами сбываешь на сторону да пропиваешь, это не считается, что ты запускаешь грязную руку в предназначенное для фронта зерно. А если бедная женщина, которая за день убирает своими руками четверть гектара, налущила себе каких-нибудь полкилограмма, так ты из-за этого поднял бучу и назвал ее воровкой!

— Чего ты мелешь, кусакал?

Тогда дед Жумакадыр рванулся к бригадиру, не успевшему сесть на лошадь, схватил его за шиворот и из всей силы швырнул в сторону. Рядом с ним бригадир казался беспомощным мышонком.

Все бросились к старику и оттащили его в сторону, а то неизвестно, что бы он сделал с бригадиром.

Мне вспомнился тот день, когда бригадир ударил Жумакадыра обухом серпа. Где у старика была тогда эта сила? Сейчас чуть ли не целая бригада еле удерживает его, а он еще вырывается, готов, как лев, кинуться на обидчика.

Бригадир трусливо вскочил на лошадь и поскакал вниз.

— Я еще тебе покажу, старый дьявол! Всем вам будет за хищение зерна, предназначенного для фронта...

Поздняя осень, а хлеба еще не все убраны. И тут еще случилось так, что наш бригадир упал с лошади и сломал себе ногу. Его поместили в больницу. Теперь бригадирствовать пришлось моему отцу.

Как-то, когда мы оба с отцом были на гумне, он взглянул на меня, погладил по давно не стриженным волосам и сказал с сокрушением:

— Похудел ты у меня, сынок. — Ом задумался. — Отдыхай-ка сегодня дома, — сказал он, продолжая гладить мои волосы.

— А на пункт?

— С Жумакадыром я пошлю кого-нибудь другого.

Я взглянул на Жумакадыра. Старик сидел и толстой иглой зашивал мешки, в которых мы возили пшеницу на ссыпной пункт. Казалось, он так занят своей работой, что никого вокруг не замечает. Мне почему-то очень не хотелось, чтобы дед остался один. Отец меня понял:

— Жумакадыру я дам другого напарника. Иди, иди, а то завтра свалишься, говорю — иди!

На следующий день рано утром я пришел на гумно и сразу заглянул за копны, где обычно отдыхал дед Жумакадыр. Там его не было. Видно, он еще не пришел на гумно, иначе наши мешки лежали бы тут же. Отец мой всю ночь веял зерно и теперь спал, навалившись на пятипалые вилы.

— Эй, мальчик, — обратился ко мне человек, который пас рабочих лошадей, — где вы пропадаете? Ваши волы и ослики разбрелись. Вон пара волов там, на низах.

— Сейчас, — отозвался я. — Сейчас пригоню.— А сам посматривал вокруг: где же Жумакадыр?

Тем временем все, кто спал на гумне, проснулись. Никто из них не видел Жумакадыра.

— Наверно, пошел к себе домой, — заметил кто-то. Я бегом побежал вниз по дороге.

— Куда? — крикнул кто-то вдогонку.

Мне почему-то не верилось, что старик пошел домой, и меня охватила тревога. «Возможно, — успокаивал я себя, — зерно не приняли, и он остался на пункте».

Пробежав с километр, я увидел деда Жумакадыра. Он лежал немного в стороне от дороги. Наверно,

утомился и заночевал тут. Я подбежал к нему. Гляжу, он не спит, лежит с открытыми глазами, глядит в небо...

— Дед Жумакадыр, — пробовал я его расшевелить. Я взял его за руку, но она была тяжелая, холодная, словно окаменела. Я чуть не отскочил в ужасе.

Долго я простоял возле деда Жумакадыра. Неужели, с ужасом подумал я, он умер оттого, что я не пошел с ним? Я вглядывался в его лицо, неподвижное, с едва заметной, застывшей улыбкой.

Он лежал на спине, его седая борода вздрагивала от легкого ветра, и тогда мне казалось, что он начинает оживать.

Я не заметил, как сюда сбежались люди. В кармане у деда нашли записку, которую передали мне, чтобы я прочитал ее вслух. Вот что там было написано:

«Дорогой отец Жумакадыр, Ваш сын Орозбай погиб смертью храбрых, защищая свою родину...

Политрук Иванов.

13 августа 1942 года».

Односельчане Орозбая, впервые услышав эту печальную весть, молча склонили головы... Это извещение дед Жумакадыр получил давно, но не хотел, чтобы об этом узнали люди.

Прошло немало лет. Я узнал многое, побывал среди людей, но до сих пор помню деда Жумакадыра, помню так, будто мы только что расстались. Я вижу, как он лежит у холма, как ветер колышет его седую бороду, я вижу на его лице доверчивую улыбку и глаза, устремленные в самую глубь утреннего неба.

Был ли ты на войне? Видел ли ты солдата, бегущего в атаку впереди отряда, видел ли, как, пораженный вражеской пулей, упал он навзничь? А я... я видел. Это дед Жумакадыр. Он — солдат...

1964

Кузьма Горбунов. ВЕСТНИК ДОБРЫЙ

Коренному россиянину о многом скажут названия сел и деревень на Псковщине и Новгородщине: Княжья охота, Красный бор, Светло-озеро, опять же — Выползай-Выдра. Так вот, в прифронтовой деревушке Круглые Миронушки, расположенной в каких-нибудь восьми километрах от передовой, проживала одинокая старуха Ольга Мироновна Миронова. В середине ноября, по первому снегу, к ней наведалься снайпер, старший сержант Анкудин Суroveгин. Он не сразу зашел в избу, — постучал из сеней, потом осторожно приоткрыл дверь и громко спросил:

— Можно?

— Почему же нельзя? — откликнулась бабка. — Если с добром, к нам всегда можно.

Гость не удивил и не испугал ее. Мало ли перевидела она военных — пеших и конных, на машинах и на лыжах, с винтовками и саблями. Одни шли и ехали к передовой, откуда днем и ночью доносилась пальба, другие направлялись в тыл — кто на отдых, кто долечивать рану. Иные попросят ночевать, а то просто — выпьют кружку воды и побегут догонять своих.

Маленькая, сутулая бабка Ольга подошла к порогу и, запрокинув голову с узелком жиденьких седых волос на затылке, пытливо разглядывала старшего сержанта прищуренными глазами, еще сохранившими остроту и живой блеск.

— Попотчевать тебя, молодчик, нечем. Хочешь отдохнуть, садись, сделай милость. Можно и кипяточку согреть. Сахарок небось найдется у тебя. А я душистых

листьев заварю. По-здешнему, капорский чай называется. Сама в лесу собирала. Китайскому не уступит.

Рослый, разруганный ноябрьским морозцем, Суруевгин поправил ремень самозарядки на плече.

— Чайком, бабушка, мы следующий раз займемся. А сейчас сильно некогда мне. Опоздаю — начальство заругает. Я к вам по делу. Вернее, с докукой.

— Что же у тебя за докука случилась к старухе?

— Курочки у вас водятся? — без обиняков спросил сержант.

Мироновна на несколько шагов отступила от порога, глаза у нее сделались колючими.

— Нашел чего сказать, — сухо усмехнулась она.— Какие могут быть курочки, если война совсем рядом. Люди — и те кто куда разлетелись. Во всей деревне только и жителей что я да старик, Парамон Шестипалый. У него на руках пальцев-то одиннадцать, а ума в голове меньше, чем у той же курицы. «Никуда, говорит, я из Миронушек не поеду, хоть из пушек бей, хоть из мимолетов стреляй». И меня, одинокую, не пустил. Глядя на нас, еще две семьи остались. Вот и весь народ. Избенок уцелело меньше десятка. Остальные от бомбов, а то от страха развалились... А ты — курочек. Чем их кормить-то? Сами около солдат питаемся. Кто горбушку даст, кто сухарь. Ты бы, вояка, о другом подумал: на чем ей, птице, пастись, коль земля-то здешняя почитай вся под немцем.

Суруевгин кашлянул, переступил, половица слегка скрипнула под ним.

— С землей, бабуся, недосмотрели. Это произошло еще до того, как мой год призывали. Землю мы вернем. Что касается курочки, мне ведь не стадо нужно, а всего одна штука.

— Пера куриного не найдешь, не то что штуки, — сердито сказала Мироновна.

— Как же не найдешь, если сам видел.

— Где же ты видеть мог?! — вскинулась старуха.

— Предположим, в сарае, — улыбнулся старший сержант.

Бабка забегала по горнице, обдергивая пожелтевшие занавески на окнах, старенькую скатерку на столе.

— Уже выглядел?

— А чего не выгледеть? Иду мимо сараюшки, вижу через дырку — копошатся в навозе...

— И не куры вовсе, а цыплята ранние! — перебила бабка. — Подросли — курочками кажутся. Всего три молодочки да петушок. Загадала я до конца войны их сохранить, больно хороша порода.

— Может, уступите, бабуся, все же одну штучку? — ласково попросил снайпер и сделал шаг вперед. — Не обязательно молодочку, можно и петушка.

— Ну да! — язвительно заметила Мироновна. — Горшок не разбирает, что варит.

— Да мне и не в горшок...

— На племя, значит? — еще ядовитей спросила бабка.

— Нет, не на племя... Вроде как убивать.

Мироновна развела руками.

— Не в горшок, не на племя... все же убивать... Ты чего мне, парень, огород до небес городишь?

— Право, не вру, бабуся, — уверял сержант. — Дело такое... Если хорошо обойдется, я вам курочку могу и обратно доставить.

— Живую?

— Вряд ли. Скорее всего — мертвую.

Бабка оторопела, опустилась на табуретку.

— Ничего не пойму... Ты не из госпиталя? Может, голову тебе миной сконфузило?..

— Головой я вполне здоров, — без всякой обиды сказал старший сержант. — И контузий у меня не было.

Ранение, правда, испытал.

— Куда? — смягчилась Мироновна.

— В левую ногу. Если долго на ней стоишь, колотья поднимаются.

— Чего же ты топчешься передо мной? Я тебя в часовые не ставила. Садись да расскажи толком. Сам-то ты откуда произошел?

— С Дальнего Востока, бабуся, охотничал там. За меткость стрельбы — в снайперы произвели... Вы не беспокойтесь, я за молодку отблагодарить могу. Хотите — гречневым концентратом, хотите — гороховым. И сахарку подброшу, и кубиков кофейных. Их можно прямо в кипяток бросать и ложечкой помешивать. Очень сытно получается... — Он выкладывал на стол и промасленные пачки концентратов, и кубики.

Бабка прикинула на глаз товар. Мена получилась как будто сходная.

— Какого же пера тебе нужна молодка, белая аль пестренькая? — помолчав, спросила она.

— Лучше потемнее. Чтоб на снегу от нее видимость была.

— А при чем тут снег, объясни на милость?

Снайпер присел к столу, напротив хозяйки, поставил между коленями самозарядку, сторожко огляделся.

— Тут прежде всего такое дело: сможете ли вы, бабуся, держать язык за зубами? Военная тайна моя не такая уж важная, а все-таки желательно сохранить полную секретность.

— Кому мне болтать? — вполголоса проговорила Мироновна. — Парамону, что ли? Так я его сколько уже не видела: то на пчельнике сидит, то рыбалит.

— Тогда ладно, слушайте...

Старший сержант достал было кiset, собираясь закурить для аппетита, но хозяйка остановила.

— Вот этого нельзя. Мы в Миронушках все по старой вере.

— Понимаю, — кивнул Суroveгин, мельком глянув на кивот древнего киноварного письма. — Можно уважить...

Вполголоса Суroveгин начал рассказывать. Увлекаясь, он пристукивал об пол винтовкой. Мироновна слушала, понимающе кивала. Жиденский узелок распустился у нее, седые пряди лежали на плечах. Она ничего не замечала, иногда говорила коротко: «Вон как! Ишь ты!»

Суroveгин уходил не с пустыми руками. У него через локоть была перевешена корзинка, завязанная сверху тряпицей. В корзинке слышалась возня и сонное бормотание курицы.

Несколько дней никто не навещал Мироновну, а в конце недели появился военный, тоже с нашивками сержанта, с винтовкой через плечо, только ростом ниже Суroveгина, черный, как жук, остролицый, речистый.

— Здравствуйте! — зычно крикнул он от порога, словно не в избе находился, а в чистом поле, и вытянул из просторного ворота шинели тонкую шею, ожидая ответа.

— И ты будь здоров, — чинно сказала Мироновна.

— Приказано передать вам привет от гвардии старшего сержанта Суroveгина Анкудина Никифоровича, — рапортовал чернявый. — И, помимо того, вручить вот эту историю...

Громко стуча сапогами, он подошел к столу, за желтенькие лапки выдернул из сумки пестренького курчонка, положил на скатерть. Курочка смерзлась, стала еще меньше, чуть крупнее галки.

Бабка погладила холодные слезавшиеся перья, тронула безжизненно раскрытый клюв.

— Зашибло ее или как?...

— Навылет прострелена немецкой пулей, — с готовностью доложил сержант и сделал сокрушенное лицо, словно рассказывал не о курице, а о хорошем

артиллерийском коне, ходившем в корню орудийного уноса. — Можете убедиться... — Он отогнул жесткое крыло, под которым темнела подмерзшая кровь.

Старуха отодвинула курицу на край стола.

— Вижу. А сам ты кто такой?

— Гвардии сержант Игнат Пряхин, напарник Анкудина Никифоровича. Это значит — в одной паре на охоту с ним ходим. На фрицев вместе охотимся. Происходит наша охота следующим образом...

— Знаю, — остановила хозяйке. — Объяснял мне твой Анкудин. А почему сам он не явился?

— В этом вся и загвоздка, — озабоченно сказал сержант. — Одним словом, подранило нашего Анкудина.

— Ай, батюшки! — всплеснула руками Мироновна. — Как же это?.. — Она прошлась мелкими шажками по избе, сняла с гвоздя полотенце, приложила к глазам. — Что вы там не бережете себя? Не видите, что ли, куда пуля летит?

— Не видим, — кивнул Пряхин. — Разрешите присесть... — Он начал чертить ногтем по скатерти. — Тут вот, обратите внимание, мой окопчик, тут — Анкудина. А напротив, знаем, немецкий снайпер засел. Невозможно нам голову приподнять, впору охоту бросить. Ну, Анкудин Никифорович и придумал эту ловушку. Все, как по плану, шло. Затемно привязал он вашего курчонка длинной тонкой веревочкой за лапку, выпустил на бугорок. Хлебных крошек понасыпал. Другой конец веревочки к ноге прикрепил... Фриц разве утерпит перед курицей. Высунулся — бац! И не дрогнул цыпленок — мгновенная смерть. В этот момент Анкудин тоже — хлоп! Порядок! Промахов у нас не бывает. Накрылся фриц. Только не сообразили мы, что немец тоже с напарником ходит. Тянет Анкудин мертвую курочку и, должно быть, выставился немного. Тут его и

зашибло. Я, конечно, того фрица тоже угадал. Только Анкудину-то не легче.

— Где он теперь? — спросила старуха, помолчав.

— В госпитале.

— Это в палатках, за лесочком?

— В точности. Вчера благополучно пулю вынули из правого плеча.

— Напиши-ка ты мне на бумажке полностью его имя, фамилию, возраст, — требовательно сказала бабка.

— Я эту писульку в поминание вложу, за здоровье. Службы-то церковной хоть и нет у нас, да уж я сумею не хуже службы.

— Можно написать, — согласился сержант, доставая откуда-то из шапки карандаш. — Хотя уход в госпитале вполне приличный, я сам проверял, и вряд ли Анкудин нуждается в дополнительных молитвах.

— Это уж мне лучше знать — нуждается или не нуждается, — отрезала бабка.

— В таком случае, извольте, — протянул Пряхин бумажку.

— Спасибо.

— Значит, никаких больше вопросов?

— Никаких. Остальное сама знаю. Будь здоров, соколик.

Сержант встал, стукнул каблуками сапогов так, что бабка вздрогнула.

Закрыв дверь, Ольга Мироновна села у окошка и загляделась на пустую, безотрадную улицу, где не только знакомый человек не показывался, но даже кошка и собака не пробежали. Сараи — без крыш, мертвые избы наглухо заколочены — сердце обмирает. Только из одной трубы слабо тянет дымок. И все-таки — своя, с детства ненаглядная деревенька. Миронушки. Кругом на десятки верст тянутся глухие леса да болота. А в тех лесах — круглые зеркала озер. Дичи, рыбы,

грибов и ягод полно в дебрях. На свете нет места краше Ильменских берегов.

Смеркалось. Посыпался снежок. Белые частые стружки роились за окнами, словно живая мошкара. Старуха затеплила лучину. Положила оттаявшую курицу в решето, села на пол и принялась ощипывать, вздыхая, бережно стряхивая с пальцев прилипающие перья.

Утром, по нетронутому снежку, Мироновна в больших мужских валенках шла к лесу. Зимняя тропинка, точно стежок по холсту, легла вдоль заброшенных огородов, через выгон. Если кто и натоптал ее, так все те же солдаты, населившие теперь весь свет. На лесной просеке грозно окликнул часовой, — боец из команды выздоравливающих, в тулупе, с косматым звериным воротником, широкий, грузный.

— Стой! Кто идет?

Ольга Мироновна раскутала верхнюю толстую шаль.

— Русские идут. Гляди, коль сумнительно.

— Стой, говорю, на месте, старуха! Оружие к тебе, что ли, применять? — Солдат тяжело перебросил винтовку на руку. — Куда тебя несет? Что у тебя за узелок спрятан под шалью?

— Об этом, милый, главному твоему командиру доложу.

— Главному, — передразнил часовой. — Нет тебе прохода. Жди тут караульного начальника. — Он надул сизо-багровые щеки и так пронзительно свистнул, что у бабки искры брызнули из глаз.

Караульный начальник помещался за соседним деревом, в еловом шалашике. Он подбежал на вызов, с одного взгляда прочитал бумажку, которую показала Мироновна.

— К Суровегину Анкудину?.. Это, кажется, в третьей палатке. Кто он вам доводится?

— Внук, — коротко ответила Мироновна, а сама посмотрела вверх: серенькая белка, на миг распластавшись в воздухе, перемахнула с вершины на вершину.

Палатка была из двойного, толстого, одеревенелого на морозе брезента. В брезенте ловко прорезаны маленькие окошки. Внутри — сухие, свежевыструганные дощатые полы. От железных печурок лилось тепло, пахнущее хвоей. Вслед за дежурной сестрой бабка осторожно шагала по узенькой дорожке между коек.

Суровегин, похудевший, лицом одного цвета с бязевой наволочкой, лежал в дальнем углу. Место у него хорошее — под слюдяным окошечком, возле печурки. Он сразу узнал Мироновну, приподнялся на локте, но радости не показал, словно бы недоволен остался:

— Вы-то, бабуся, зачем сюда? Здесь место для военных.

Она опустилась на низенькую скамейку.

— Я сама стала — хоть шинель надевай. Сказывай, куда тебя ранило?

— В правое плечо.

— Это уже второй раз. А раньше-то куда — позабыла я?

— Раньше было — в левую ногу. Это еще в начале войны.

— Видишь! То в ногу, то в плечо. Издырявят всего насквозь. Неужто уберечься нельзя?

У нее вдруг затряслось сморщенное лицо, плечи. Крупные слезы стали падать на концы шали, серебрясь на темном ворсе.

— Вот это ни к чему, — помрачнел Анкудин. — Гляди, сколько раненых, один я, что ли. Если к каждому начнут приходить да плакать...

— Часовой-то тут у вас сердитый... Закричал на меня, затопал, ружьем замахнулся, — всхлипывая, оправдывалась старуха, а сама развертывала дрожащими руками узелок. Сморщенный жареный курчонок выпал у нее из рук, едва успела подхватить. Она потянулась к дверце тумбочки. — Сюда, что ли, прикажешь положить?..

Суровегин быстро захлопнул дверцу.

— Вы эти глупости, бабуся, оставьте. Самой пригодится скушать.

— Я не голодная. Да и зубов нет, чтобы косточки грызть.

— Ну, а для моих зубов слишком тонка цыплячья кость. Перестаньте конфузить меня перед остальными ранеными.

Но никакого конфуза не было. Правда, на них смотрели со всех коек; лица были любопытные, отражали молчаливую душевную ласку.

Как бы отвечая на эти взгляды, Мироновна улыбнулась покорной старушечьей улыбкой, сказала Анкудину, словно малому:

— Ну, давай пополам. Вот я на свою, долю крылышко отломаю, а для тебя — ножку. Давай вместе закусывать.

Склонив голову набок, она с трудом жевала обломками зубов.

— Гляди-ко, как хорошо. Бери.

И Суровегин, неуверенно усмехнувшись, потянулся за едой. Вытирая губы полотенцем, он говорил:

— Закончим, бабуся, войну, — как домой вертаться буду, обязательно загляну к тебе: по хозяйству кое-что укомплектую за всю твою заботу.

— И долго ждать тебя?

— Теперь уж, думаю, скоро. Победой пахнет в воздухе. Это не один я чую.

— Примета, что ли, какая есть?

— Есть, бабуля, много всяких примет.

Помолчав сколько надо, Ольга Мироновна проговорила тихо:

— Вестник ты мой добрый. Все-то ты знаешь, на все ответ найдешь... Сбылись бы скорее твои слова.

Старший сержант кивал круглой, коротко стриженной головой:

— Если весь народ говорит, непременно сбудется эта правда, куда же ей деваться.

Андрей Блинов. АЛЕШКИНА ЛЕГЕНДА

Ту землю я никогда не видела, но скучаю по ней давно и больно. Она не раз снилась мне, как чаша, залитая солнцем. Края чаши — горизонт, а на самом дне — густой белый туман. Там буйно цвели сливы. Откуда пришли в мои сны эти сливы, я и подумать не могла. Просто снились — и все. В белом тумане цветения ничего не видно: ни земли, ни селений, ни людей. Лишь дороги змеятся среди белого разлива. И только они говорят, что страна обитаема: дороги — это ведь артерии в живом теле.

И во сне я искала Алешку...

И во сне я не могла представить его мертвым и потому искала живым.

Когда-то я мечтала увидеть ту страну наяву, и, наверное, потому она снилась мне. Шли годы, и я перестала надеяться, что увижу ее.

Но жизнь оказалась ко мне доброй...

— Мария Андреевна, Мария Андреевна...

Голоса с улицы настойчиво звали меня. Я подошла к окну.

У крыльца стоял мотоцикл, и Дима, стащив с головы кожаный шлем, что-то объяснял собравшимся ребятишкам. Я не слышала, когда мотоцикл подкатил к дому. Да и что в том удивительного, что не слышала. В последние дни я жила только собой и, будто выключенная из жизни, не замечала, что происходило вокруг. День и ночь, свет и тень, шум и тишина — все это я разучилась, казалось, распознавать, все для меня

сливалось в одно мое внутреннее состояние — состояние напряженного ожидания.

Я готовилась к поездке в ту страну, которая приходила во сне, страну, залитую цветом сливы, и все ждала, что случится что-то непредвиденное, и я никуда не поеду. И даже когда в руках моих была туристская путевка и в паспорте стоял штамп на право выезда, я еще не верила, что поеду. И вот уже Дима стоял у крыльца, чтобы отвезти меня на станцию, а я все еще не верила, что увижусь с той страной, из которой Алешка не вернулся.

— Мам, — сказал Дима застенчиво, — не опоздаем? Папу я уже отвез.

Дима поглядел на меня своими крупными, как у Алешки, и голубыми, как у меня, глазами из-под золотистых, отцовских, бровей. Лицо у него смуглое — мое, волосы — спелая рожь — отцовские. Пушок усов на губе делал Диму непривычно взрослым.

Он, наверно, догадывался о моем состоянии, и потому взгляд его был сочувствующий, понимающий. Он ведь все знал о своем отце, но только никогда его не видел. Тот, кого он называл сейчас папой, был ему отчимом, и это он тоже знал.

Я уселась в коляске, позабыв даже подумать, что всегда не любила и опасалась ездить в ней. До меня все происходящее сейчас доходило, как свет сквозь толщу воды. И только когда загрохотал Димин мотоцикл, затряслась, задрожала зыбкая коляска, я поняла, поверила, что еду, что все это не сон и не бред, и я буду в той стране, из которой он не пришел.

И вдруг все стало реальным: сельская улица с улетающими назад тополями; и моя школа на бугре, за селом, двухэтажное каменное здание с широкими окнами, все в зарослях акаций; и мельница с глинистой красной насыпью и зеленоватым прудом; и холмы за селом, покрытые желтеющими хлебами, а за холмами

прыгающий горизонт в солнечном июльском мареве; и луга в цвету; и пестрое стадо на пригорке. Мне все это виделось с чеканной ясностью, будто с самолета, и в то же время ничто не вызывало никаких ассоциаций — виделось, и все.

И вот лес... Дорога врезалась в него, и если смотреть издали, она, как бы завязнув в нем, будто проваливалась сквозь землю.

В то далекое утро весны сорок четвертого года дорога также терялась в лесу, с разбегу завязнув в нем. Лес был еще голый, насквозь просвеченный ранним солнцем.

По дороге только что прошли грузовики и танки, и она была вся измята и исковеркана.

Алешка шел по не оттаявшему еще полю, покрытому тонкой ледяной корочкой, и корочка, как слюда, блестела на солнце.

С крыльца своего дома я видела, как он шел, как вместе с дорогой исчез в лесу. И сразу не стало ни его, ни дороги.

Димин мотоцикл врезался в лес, деревья расступились перед ним и перед дорогой. И они расступались после каждого поворота, и расступались до тех пор, пока впереди снова не показалось поле.

Вскоре после того, как Дима развернулся на привокзальной площади, подошел поезд.

— Ну вот, — сказал мой муж, Павел Степанович, когда суэта чуть поутихла, — вот ты и едешь...

Он, наверно, хотел сказать: «Ты давно ждала этого», — но не сказал. Он был тактичным человеком и никогда ничем не выдавал своей ревности к прошлому, к Алешке, к памяти о нем, и меня любил и Диму, сына Алешки.

Поезд тронулся. Перед окном проплыло лицо Павла Степановича, соломенные вихры Димы. Ветер трепал их, и они казались пучком желтых язычков пламени в ярком солнечном сиянии.

У Алешки были такие же волосы.

Когда в то утро он вышел на крыльцо с автоматом на груди и с пилоткой в руке, ветер подхватил его волосы, раздул, и они заметались, как язычки пламени на ярком солнце, бледно-золотистые, но яростные в своем стремлении сравняться с сиянием дня.

Пришел он в дом чужим и неведомым, а ушел мужем и отцом, непонятно близким и непонятно далеким.

А было это так...

Однажды в поздний вечер предпоследней военной весны село наполнилось грохотом машин, ярким светом танковых и автомобильных фар. Около нашего дома остановился грузовик. Долго, надсадно выл мотор, скрежетали сцепления. Кто-то отчаянно ругался. Дом дрожал. На полках звякали чашки. Потом погасли фары, и все стихло. Машина так и не поднялась к нам по глинистому пригорку.

Я была одна, мама еще утром уехала в район и заночевала там. Когда грузовик ушел, я страшно обрадовалась: к нам никто не придет на ночлег, и легла спать.

Проснулась: кто-то стучался в окно.

Я не подумала, что это могут быть солдаты, солдаты обычно сильно бьют в дверь. Наверно, это соседи, а может, мама вернулась из района.

На крыльце, когда я открыла дверь, устало прислонившись плечом к косяку, стоял солдат. Лица его не было видно, и весь он сливался с весенней влажной ночью, только чуточный лучик света, упавший из избы, на миг высветил автомат. Я попятилась, и он вошел в избу, обрадовано огляделся, обнаружив, что у нас никого нет на постое.

— Живем! — сказал он весело. — Топи печку, сестренка, пеки блины. На масле. Эх, страсть моя и слабость...

Я стояла, боязливо прижавшись спиной к стенке, и глядела на него, усталого, но веселого, и мне делалось не по себе оттого, что я не могла его попросить за дверь, что мне придется одной быть с ним под нашей крышей.

Я растерянно глядела, как он снял свой автомат и положил на стул так осторожно, будто это было не стальное, крепко сделанное оружие, а хрупкая скрипка; как сбросил плащ-палатку, подошел к столу, вытащил из кармана банку консервов, со стуком поставил, оглянулся на меня.

— Приглашаю к столу. Не стесняйся...

Я не двинулась с места.

— Ну как хочешь...

Он достал из-за голенища нож, ловко раскрыл банку и, присев, начал выковыривать сальную тушенку и класть ее в рот. Как бы извиняясь, заговорил:

— Отбился. Не углядел, куда наши завернули. Вот и остался без удовольствия.

А я все молчала и глядела, как он ловко поддевал мясо и слизывал его с ножа.

— Ну ты что? Воды бы хоть принесла, — проговорил он и, не дождавшись моего ответа, сам двинулся на кухню. Там забрякали ведра, и скоро он вернулся с ковшом в руках. Выпил воду, вкусно крякнул. — Одна, что ли, дома? Ну ты не бойся... Как звать?

— Маша.

— А меня звать Русин, Алексей Иванович. Алешка просто. Вот и знакомы! Так я у тебя переночую? Вот тут лягу, на пол, ничего?

Он бросил плащ-палатку на пол и лег, положив рядом автомат. Я не успела оглянуться, как он уже спал. Пилотка свалилась с его головы, обнажив волосы

цвета спелой ржи. Без пилотки он выглядел совсем иначе — вихрастый мальчишка, усталый и чем-то огорченный даже во сне.

Забившись в угол за столом, я, боясь пошевелинуться, глядела, как он спал, хмуря свои светлые брови, шевеля твердыми, уже взрослыми губами. Что со мной случилось? То ли я все еще боялась его, то ли мне жалко его было, только я не могла оторвать от него взгляда.

Я сидела, глядела, как он спал. Я еще не знала тогда, что так спят только дети да еще очень уставшие люди, — раскинув руки, хмуря брови и шевеля губами, и все это с такой чистой искренностью, что нельзя было наглядеться.

Вдруг будто дрожь прошла по его телу, оно все напряжилось. Правая рука отлетела в сторону, шаря по полу. Наткнувшись на автомат, успокоилась.

Он открыл глаза, и в них не было ни капельки сна.

— Фу, какой сон приснился! А ты что же не спишь? Всю ночь так?

— Ночь? Смешной какой! Только что уснул, и...

— Солдатский сон невесом... А ночь-то в самом деле испарилась. Погляди-ка.

За окном было уже светло от зари. А я не заметила, как прикатило утро.

— Одна живешь? Такая маленькая. Как же так?

Мне было обидно, что он считает меня маленькой, и я, сердясь, ответила:

— И ничего я не маленькая. Сам-то очень большой!

Я сварила на таганке картошку, поставила самовар, отрезала от буханки свою норму и положила Алешке. Мне было немного стыдно, что он ел вчера одну тушенку, без хлеба, спал почти что на голом полу.

Пока готовила завтрак и собирала на стол, Алешка брился, пришивал подворотничок, напевая себе под нос песню отважного капитана.

— Ну, ты ешь, — сказала я. — Не стесняйся. — Я не заметила, что говорила его словами.

— А ты?

— Я потом...

— Давай, давай вместе. Садись. Не кусаюсь же я... А то, смотри, — засмеялся он, скаля белые крупные зубы. — Гав, гав!

Мы завтракали, почти не глядя друг на друга, и, кажется, не сказали ни слова. Просто сидели и ели. То я угощала его, пододвигая ему хлеб, картошку, соль, то он меня угощал. То я упрашивала его съесть оставшийся кусочек хлеба, то он меня, и никто из нас так и не тронул этот кусочек.

— Спасибо за хлеб-соль, — сказал он, вставая. — Значит, я пошел искать свою телегу... А ты? В школу?

— На работу! — Меня до слез обидело, что он считал меня школьницей. Школу я окончила во второй год войны.

— Виноват! — сказал с улыбкой Алешка, вовсе не виноватой, а, кажется, лишь немножко смущенной. — Забегу. Не назовёшь ли адресок?

— Библиотеку у нас все знают!

— Ясно, — сказал Алешка, кажется, все еще не веря. — Усвоил. Ориентирчик не подбросишь?

— Возле церкви.

Вот ведь привязался!

День был по-настоящему весенний: тепло пригревало солнце, на улице дымилась земля, вчера развороченная колесами грузовика, и журчала вода в канаве.

Село казалось пустым. Военных почти не видно. Лишь изредка пробежит по улице солдат, видимо, связной, торопливо простучат по камню тяжелые солдатские сапоги, и снова станет тихо. Даже жители будто попрятались куда-то. Посетителей в библиотеке не было. Школьники, которые обычно шумной ватагой

вваливались после уроков, и те сегодня не появлялись: торчали возле танков, что стояли замаскированные в садах. До книжек ли! Я не помнила еще такого тягостного дня, когда так ждала читателей, а они не приходили.

В тот день был всего один посетитель. Это был Алешка. Он вбежал, когда я собралась уже уходить. Из-под пилотки выбивались его волосы, будто золотистые языки пламени. Он увидел полки и шкафы с книгами, глаза его загорелись, как у мальчишки, увидевшего любимую игрушку.

— Шикарно! — проговорил он. — Старые, добрые, мирные книги...

Он вдруг стал растерянным, даже огорченным, будто то, что он увидел сейчас, было так случайно и ненужно. Но вот он снова сделался веселым и немножко бесшабашным и ни с того ни с сего спросил:

— А Миклухо-Маклай есть у тебя?

— Миклухо-Маклай? — Я растерялась от неожиданности. — Зачем тебе он?

— Хочется почитать. Жалко, если умру и не прочту.

— Смешной! Нет у нас Миклухо. Есть только Маклай...

Он не принял мою шутку, и я лишь чуть позже поняла, что сказала глупость, которая его обидела.

Он присел, стал листать книги, лежавшие на столе, листочки не хотели слушаться его толстых, грубых пальцев, трещали, и я боялась, что он порвет их.

— Мне раньше все разные страны снились, — заговорил он. — Где только я не был во сне! Северный полюс и джунгли. Огненная Земля и Страна гейзеров... Ох! А то знаешь, приснится такая чертовщина, какой сроду на свете не может быть.

Он встал, отвернулся к окну, проговорил со вздохом:

— А теперь снится только война...

В голосе его слышалась виноватость, будто он сам был повинен в этом.

Тут он увидел проходящего по улице командира, сорвался и убежал, помахав мне рукой. Я не знала, увижу ли его еще раз, придет ли он ночевать, но все-таки побывала у нашей учительницы географии. Ничего, кроме жалких и невнятных строчек в учебнике географии, у нее не было о Миклухо-Маклае.

Я постелила Алешке на полу, там, где он спал вчера, а сама легла на диване и на всякий случай не заперла дверь.

Мне приснилась чудесная Страна гейзеров, где горячая вода бьет из-под снега. Какой Алешка счастливый, если ему снятся такие страны!

Пришел он поздно, и я проснулась от скрипа дверей. Он даже не посмотрел на постель, что я ему приготовила, устало присел на мой диван, и я сжалась вся, но не ушла и не прогнала его. Я почему-то чувствовала себя виноватой перед ним. Может, потому, что он прошлую ночь спал на полу, что ел без хлеба свою тушенку, что в моей библиотеке не оказалось Миклухо-Маклая. И, желая сделать ему приятное, я рассказала, что только что видела во сне Страну гейзеров.

Он засмеялся обрадовано, а потом оборвал смех и сказал серьезно, совсем по-взрослому:

— Освободим мир, и буду я ездить и смотреть его. Вот уж пошатаюсь тогда вволю.

...Через два дня рано утром загудели танки, наш домик задрожал, точно в испуге, и все село заволкло голубоватым выхлопным дымом.

Долго после того, как ушли танки и ушел Алешка, дом наш все еще дрожал и во мне тоже все дрожало.

В одном из летних писем он как бы между прочим писал:

«Центральная пресса проявила ко мне некоторое внимание. Если пришлось прочитать... Не всему верь, что там понаписано. Я вовсе не о том думал, когда угроблял этих самых «тигров» и «пантер». Я думал о тебе и о Стране гейзеров, где из-под снега бьют горячие фонтаны и рядом с ними цветут чудесные фиалки, а может, какие другие цветы, я не знаю, но только очень чудесные».

Я пересмотрела все газеты, но ничего в них не нашла об Алешке. Пошла в район, и там в библиотеке просидела чуть не весь день, пока не натолкнулась в «Красной звезде» на короткую заметочку: «Немецко-фашистские войска, пытаясь вырваться из окружения, на узком фронте пустили до двадцати «тигров» и «пантер». Наши воины не пропустили врага. Рядовой Алексей Иванович Русин противотанковыми гранатами подорвал две самоходные пушки врага.

— Когда я бросал под гусеницы «пантер» гранаты, я думал о нашей великой миссии, с какой мы перешли рубежи Советской страны, — сказал Алексей Русин, когда генерал вручил ему награду...»

И еще писал Алешка тогда:

«Горы, синие горы. Такие даже во сне мне не снились. А потом долины, все в солнце. А кругом будто сад — деревья, деревья, и каждое что-то хочет дать людям: то яблоки, то груши, то сливы. Мы идем, а немцев нет и в помине: удрали. Люди нас приветствуют, как будто с ума сошли от радости. Удивляюсь, как это они живут в таком пекле: у меня лопается черепная коробка. Я все мечтаю о нашей с тобой Стране гейзеров, там ведь нет такой жарыщи...»

После письма на машинке «...погиб смертью героя в боях и похоронен в братской земле» — я три дня лежала в горячке.

Тогда мама узнала, что я беременна. Алешка же не знал, что скоро стал бы отцом... Теперь Диме, его сыну,

уже девятнадцать. В эту осень он станет солдатом.
Мальчишки родятся, чтобы стать солдатами.

Горы, синие горы... Долины, залитые солнцем...
Как здорово тогда написал об этой стране Алешка.
Все было так, как он написал.

И характер людей он тоже угадал. Мне они нравились — смуглые, черноглазые, темпераментные; они были жизнелюбивы и восторженны, но в этом не виделось ничего наигранного, все искренне шло от сердца.

«Будто с ума сошли от радости...» Я их понимаю. Будь я на их месте в то время, я бы тоже сошла с ума, если бы мне вдруг вернули мою потерянную родину, утраченную свободу.

Давным-давно из множества книг я чуть ли не все узнала об этой стране и теперь, казалось, встречалась со знакомыми городами, селами и монастырями, с реками и горами, с памятниками — старыми и новыми, которые тут с любовью возводили и искренне чтут. Памятники особенно трогали меня, и я думала о том, что такое внимание к ним может родиться лишь у доброго, сердечного народа, у которого крепка историческая память и непреходяща любовь к родине.

К вечеру мы спустились с гор в долину и увидели город, залитый светом заходящего солнца. Над городом темнели три холма. В памяти у меня почему-то не было этого города, похожего на трехгорбого верблюда, прилегшего отдохнуть, и я вскоре, как только мы устроились в гостинице, вышла, чтобы узнать его.

Тоннель под холмом был темный и длинный, и, когда я миновала его, на меня, будто вырастая из самого тела города, надвинулся другой холм, большой, округлый, закрывший половину пылающего вечернего неба. На самой вершине, рассекая небо, стоял

памятник. Он был облит светом, сиял и был весь на виду у города и, казалось, у всего мира.

Сердце мое сжалось: что-то непостижимо знакомое было в этой фигуре, поднятой над городом, что-то такое, что сразу потрясло меня. В ту минуту я, наверно, уже знала, что это такое, но у меня не хватало смелости, внутренней готовности подумать об этом.

— Это памятник Алешке, — сказала на мой вопрос смуглая девочка, мешая свои слова с русскими.

— Алешка? Откуда он?

— Он — русский. Это все знают.

Алешка... Алешка...

Я вспомнила, как он уходил из моего дома ранним утром. Ветер трепал его плащ-палатку, надувал ее, как парус, словно помогал Алешке лететь, давал ему крылья, и он, вдруг преобразившись на моих глазах, превратился в богатыря, худенький паренек, по-детски мечтающий стать Миклухо-Маклаем.

...Я бежала к тому холму и не отрывала взгляда от фигуры на нем, а видела другое: он шагает полем к лесу, где собирались танки, синий дым висел над селом, над полем, а лес был насквозь просвечен утренним солнцем. Всего несколько минут назад он неловко обнял меня в полутемных сенцах и сказал, смущаясь по-детски и по-взрослому мудро: «Ну ты не жалея, что так вышло... Жди. Приду. Горе, горе наше с тобой... Поласкать-то тебя и то нет времени...»

Алешка!

Холм надвигался и надвигался. Вот он заслонил весь город, все небо, и Алешка казался отсюда, от подножья, недосягаемым.

— А есть туда дорога? — спросила я у людей.

— Есть, как же. Пройдете бульвар до конца. Потом налево. Можно на машине.

Я стала карабкаться в гору по тропинке, пробитой меж камней, хватаясь за гранитные глыбы, то острые и

жесткие, то гладкие, как полированные, то мягкие от мха. Внизу они еще хранили тепло города, а чем выше, тем они были холоднее. Ветки царапали мне лицо, руки. Алешка исчез за деревьями, и мне показалось, что ничего этого не было на свете: ни холма, ни девочки, которая мне сказала об Алешке, ни Алешки в небе, ни меня самой — ничего. Была пустота и пустота, гудящая, досадная, от которой хотелось освободиться, но освободиться было нельзя никак.

Лес кончился, и я снова увидела Алешку. Солнце зашло за дальние горы, и Алешка уже не светился золотистым, теплым светом. В красноватых отблесках зари он был накален изнутри, как уголек.

Тропа делалась еще уже и круче, по ней можно было только тихо и осторожно ступать, выбирая место, да я и не могла спешить; казалось, у меня не было легких — так трудно дышалось. Алешка вырастал у меня на глазах поминутно. Он стоял ко мне спиной, и я уже ничего не видела, кроме этой спины, затылка, золотистых волос. Оставалось совсем немного, но в темноте я едва двигалась. Позади меня был крутой, темный спуск, впереди — стена, заслонившая все: и небо, и зарю, и город с его огнями, улицами, домами, людьми, которые, наверно, когда-то встречали живого Алешку.

Сил больше не было, и я, упав на землю, прислонилась головой к плоскому шероховатому камню. Все, что наболело во мне в те военные и послевоенные годы, да и, нечего скрывать, все последние, собралось в одном слове и стоном вырвалось:

— Алешка...

И все исчезло, провалилось куда-то: и холм, и я сама.

Что-то заскрипело, заскрежетало, и сверху каменно раздалось:

— Я слышу тебя...

— Алешка, это ты? Я не обозналась? Я не могла обознаться... Да и мне сказали, что это ты.

— Я.

— Алешка! Как же ты тут оказался? Я так ждала тебя! И Дима тебя ждал. У нас такой замечательный сын.

— Он похож на меня?

— Да, здорово. — Она затихла, не зная, о чем с ним говорить. — Этой осенью он идет в армию.

— Мальчики родятся, чтобы стать солдатами, — сказал он, в точности повторив ее слова.

— Я хотела его сделать землепроходцем, кем хотел стать ты. Помнишь, как ты завидовал Миклухо-Маклаю, и тебе снились разные страны.

— Теперь я вижу все эти страны. Я все вижу. Все помню и храню.

— И Страну гейзеров?

— Да! И Страну гейзеров.

Она продолжала о сыне:

— Он не стал землепроходцем. Зато я многих, очень многих влюбила в нашу землю.

— Как ты это сделала?

— Я стала учительницей. Я преподаю географию. Я рассказываю о том, как красива земля и что только человек может уберечь ее и сделать счастливой. Мне так хочется, чтобы все люди на земле были счастливы.

— Да, на свете много несчастных. Я вижу с моего холма.

Она рванулась к нему, еще не видя его.

— Алешка, почему ты не пришел ко мне?

— Разве я не шел? Как я хотел к тебе... — Он помолчал.— Ну, подойди, не бойся.

Она вдруг увидела его, как тогда в раме дверей. Свет зари играл на его автомате. Ей стало грустно,

когда она увидела автомат: с тех пор он не расставался с ним и теперь уже никогда не расстанется.

— Алешка, у меня ведь есть муж.

После минуты тишины она услышала:

— Люби его. Люби!

Она бросилась ему на грудь, оттолкнув автомат, и услышала, как гулко бьется его громадное сердце. От его толчков, казалось, дрожал весь холм, весь город у его подножья.

— Я знал, что ты придешь, — сказал он, обнимая ее.

— Алешка...

— Мне ничего не оставалось, как ждать тебя... С тех пор как я упал уже не в этой стране, убитый немецкой пулей, меня перевезли через границу, и я поднялся только здесь и сам, по своей воле не могу уйти отсюда. Теперь люди приходят ко мне, и я им говорю то, что считаю нужным им сказать от мертвых и от живых.

— А что ты им говоришь?

— Разное... Смотря кто приходит. Кто тут только не бывает!.. Да, два года назад был человек из Страны носорогов. Когда он поднялся сюда, я весь задрожал от негодования. Я знал: он струсил в борьбе и принес большой вред своему народу. Мне хотелось тут же наказать его. Но мне это не поручено. Я просто стоял перед ним во весь свой рост и молчал. Он долго глядел на меня и слушал, что ему про меня рассказывали. Он поспешно спустился вниз. Я видел, как он убежал. Нынче он снова поднимался ко мне. Он стал лучше, и я уже не дрожал от негодования.

— Может, ты стал добрее...

— Как ты могла это подумать? К дряни я никогда не буду добр, пока буду стоять здесь, на виду у всех.

— Трудная у тебя работа.

Он вздохнул:

— Что поделаешь...

— Поедем к нам, домой, Алешка.

— Ну как ты можешь об этом?

— Извини. Тогда мы к тебе будем приезжать.

Хочешь?

Она старалась крепче обхватить Алешку руками, но кто-то сильно тянул ее, чтобы оторвать от него,

— Нет, нет, не отдам...

Я очнулась. Какие-то люди склонились надо мной. Я услышала голос:

— Да она дрожит вся. Долго пролежала на камнях. Или больна?

— Алешка, не уходи...

Но он уже стоял каменно-молчаливый, возвышаясь над городом, что светился у его ног.

Энвер Мамедханлы. ОН ВЕРНУЛСЯ В ПЕСНЯХ

Белые мраморные ступени лестницы, точно пенящаяся горная река, сбегали с четвертого этажа вниз. А вверх, не переводя дыхания, мчалась по этой лестнице Диляра. Добежав до своей квартиры на четвертом этаже, она нетерпеливо постучалась. Когда ей открыли, она схватила мать за руку. Увидя в глазах дочери обычный для нее беспокойный вопрос, мать сказала с грустью:

— Нет, дочка, но ты потерпи, непременно будет.

Диляра опустила голову. Значит, и сегодня нет письма от Аждара.

Два месяца прошло с тех пор, как Диляра перестала получать письма с фронта. Она была очень встревожена и лишилась сна. Как ни утешала и ни уговаривала ее мать, она не успокаивалась. По ночам она доставала все письма, полученные от Аждара за два года разлуки, и перечитывала их.

Со страниц этих писем дышала на Диляру огнем и жаром война.

Аждар за год до войны окончил институт и поехал учителем в родное село. Диляра осталась в Баку и продолжала учиться.

В то лето, когда началась война, Диляра, по приглашению Аждара, поехала к нему в гости, познакомилась тем с матерью своего жениха, побывала в школе, где мальчики и девочки последнего класса сдавали выпускные экзамены. Здесь и застала Диляру весть о начале войны.

Аждар в первый же день вызвался идти добровольцем и подал заявление в военкомат. Через

десять дней был получен положительный ответ, и он вместе с Дилярой выехал в Баку.

Диляра вспоминала последний вечер, проведенный с Аждаром.

Было жарко и душно. Они сидели на балконе и смотрели на погруженный в темноту город. Аждар курил и спокойным голосом говорил о своих мечтах и планах на будущее. У Диляры тревожно билось сердце. Охваченная первым волнением, вызванным войной, она в будущем видела лишь грозную опасность, нависшую над родиной.

Наконец настала минута расставания.

— Ты не беспокойся, дорогая, — говорил Аждар, прижимая Диляру к груди. — Не бойся будущего. Победа не может повернуться к нам спиной. Много испытаний мы прошли, с успехом выйдем и из этого тяжелого испытания...

Сколько долгих месяцев прошло с того вечера! Но, наряду с тревожными ночами, она пережила немало светлых и радостных дней. За это время она трижды поздравила лейтенанта Аждара с полученными им боевыми орденами и от радости точно порхала по земле. Что может украсить грудь мужчины лучше, чем боевые ордена...

А теперь... Два месяца, как прекратились письма Аждара. Вот почему Диляра, выйдя из института, стремглав бежала домой, одним духом взбегала на четвертый этаж и с мольбой заглядывала в глаза матери.

Не дождавшись ответа, она уже читала в этих глазах, что письма опять нет.

Так случилось и сегодня. От тяжести переполнявших ее тревожных мыслей голова Диляры опустилась на грудь. Мать приблизилась к ней и стала гладить ее по волосам:

— Терпи, дочка, терпи...

Диляра рассеянно подошла к окну и взглянула на город, постепенно погружавшийся в вечернюю мглу, прислушалась к вою зимнего ветра. Глубоко вздохнув, она отошла от окна и устало присела к пианино. Подняла крышку. Пальцы ее поползли по клавишам. Но только что начали складываться первые такты мелодии, как Диляра встала. Как бы боясь высказать угнетавшую ее мысль, она сказала тихо:

— Мама, я лучше поеду завтра в деревню Аждара. Может быть, мать его получает письма. Я больше не в силах терпеть.

Мать прислушалась к завыванию ветра за окном и хотела возразить. Но она вспомнила вдруг свою молодость, горечь разлуки, порывы любви и не стала отговаривать дочь.

Рано утром Диляра сошла с поезда на, одной из отдаленных станций. У нее не хватило терпения дожидаться колхозного грузовика, который отправлялся в село только вечером, и она вышла на шоссе, в надежде встретить какую-нибудь попутную машину. Вскоре она остановила проезжавший по дороге грузовик и вскочила в него. Недалеко от села, куда ехала Диляра, машина сворачивала в сторону, и ей пришлось сойти и продолжать путь пешком.

Вот показалась впереди деревня, раскинувшаяся на склоне горы. Из труб вился дым и подымался вверх. Сердце Диляры стало биться сильнее. Это была родная деревня Аждара, и Диляра любила ее так же сильно, как и свой город, в котором она родилась и выросла.

Она дошла до речки, замерзшей у берегов. В то памятное лето она сидела здесь с Аждаром, опустив ноги в воду. Вот за речкой тянутся невысокие холмы, покрытые лесом и кустарником. Покрытые снегом, они кажутся сейчас поседевшими.

Вот оголенные деревья около моста. Диляра вспомнила, как приятно эти деревья шелестели тогда

своими листьями, будто рассказывая прохожим волшебную сказку.

И Диляра ко всему обращала теперь свой взгляд, как бы спрашивая только об одном:

«Не знаете ли вы что-нибудь об Аждаре?»

Диляра дошла до села. Первое, на что она обратила внимание, была школа, стены которой сверкали ослепительной белизной при свете зимнего солнца. Проходя мимо школы, она невольно остановилась. Ей показалось, что, взглянув на окно, она увидит Аждара, пишущего мелом на доске алгебраическое уравнение.

В школе была перемена, и дети, усевшись на перила террасы, грелись на солнце и что-то пели. Диляра стала прислушиваться. Это была какая-то незнакомая ей песня. Диляра слушала, и волнение ее возрастало. Песня приковала ее к себе. Это была новая, сложенная народом песня о герое Отечественной войны.

Дети пели, и перед глазами Диляры оживал образ этого совершающего сказочные подвиги самоотверженного героя. Сквозь дым, огонь и пламя герой шел на вражеские танки. Вдруг Диляра замерла, и сердце ее трепетно и быстро забило: этого героя звали Аждаром, школьники пели песню о своем учителе.

Глаза Диляры наполнились слезами восторга. Теперь песня овладела ею целиком, и она слушала, не отрываясь, точно зачарованная. И когда в ушах девушки прозвучали последние слова песни, глаза Диляры широко открылись, и она прислонилась к стене, чтобы не упасть.

Одетый в белое зимний пейзаж в одно мгновение оделся в траурный, черный наряд. Песня передавала будущим поколениям память о герое, павшем в боях за родину...

Диляра оторвалась от стены и, шатаясь, пошла, сама не зная куда. Беззвучно лившиеся слезы застилали

ей глаза, и она шла, не видя дороги. На какой-то сельской улице незнакомая женщина взяла ее за руку. Она как бы очнулась.

— Не беспокойся, сестра, — сказала она женщине, лица которой не видела сквозь слезы, и машинально пожала ей руку.

Но женщина не оставила ее и пошла с ней рядом. Точно две сестры, они, объятые одним горем, дошли до сакли матери Аждара. Поднялись по лестнице и вошли в комнату.

Седая мать Аждара, Гюлли-хала, сидела перед небольшим станком и ткала ковер. На ее рассеянном лице была глубокая печаль, и все же она сразу узнала Диляру.

Девушка бросилась в объятия Гюлли-хала. Старая женщина прижала к груди возлюбленную своего сына. Она была матерью, и великой силой матери обладала она. Задышавшаяся от рыданий Диляра еще не имела той стойкости в горе, которой обладала старая мать. Гюлли-хала хорошо понимала это и старалась успокоить девушку.

— Успокойся, дочка, — говорила она, сжимая ее в объятиях. — Успокойся, дорогое дитя мое.

Диляра подняла голову и заглянула в глаза матери. Гюлли-хала не плакала. Глаза у нее были сухи. Только от глаз ее вниз по щеке протянулись две светлые борозды, которые говорили о тайных слезах, о горячих слезах, в одинокие ночи пролитых матерью.

Девушка читала в глазах седой женщины глубокую скорбь, но душа ее, восстав против постигшего их несчастья, не хотела мириться с ним.

— Мама, мама! — говорила она как в бреду. — Я не могу поверить этому, мама. Я не хочу верить. Ведь он дал мне слово. Он должен был вернуться. Но почему же, почему он не вернулся? Почему, мама, почему, почему?

Мать продолжала ласково гладить голову прижавшейся к ее груди девушки. Потом она повернула задумчивое лицо к окну и, глядя куда-то вдаль, сказала голосом, проникающим в душу:

— Нет, дочка, он не нарушил своего слова. Он вернулся. Смерти не удалось преградить ему дорогу. Он опять здесь, в своем родном селе. Теперь повсюду, даже малые ребята, поют песню о нем. Он в песне вернулся в родные края, дорогая.

1944

Василий Соколов. ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ

Над самым Дунаем, на опаленном солнцем откосе, как гнездо стрижа, приютилась кешта Стояна Драгойчева. Стены, некогда побеленные, обнажили куски рыжей глины, камышовая кровля побурела, и длинные, узкие листья дыбились, как птичий хвост против ветра, деревянная калитка прогнила и скрипела, — словом, это была ветхая, обшарпанная всеми непогодами хата. Повернутая окнами к реке, она впитывала в себя прохладный и тягучий запах водорослей, и этот запах для Стояна был так же приятен, как родниковая вода, бьющая из расщелин каменистого берега.

Стоян, как всегда, встает вместе с солнцем. Он не раз говорил шутя, что «светило на него не в обиде». Вот он ходит по двору, годами еще не стар, едва перевалил на пятый десяток, а посмотреть — легко можно дать гораздо больше: ходит немного сутулясь, худой и костистый, крупное, будто грубо вытесанное из камня лицо прорезали морщины, и только глаза, зоркие, далеко видящие, по-прежнему, как и в молодости, горят жаркими искрами, хотя и бывают зачастую строгими и угрюмыми...

Но сегодня настроение у Стояна вовсе не такое, чтобы быть не в духе. К вечеру посулился приплыть Коста, и не на лодке, не на утлых комлях, а на боевом корабле, вместе с братушками — советскими матросами. «Чудно, очень чудно, — усмехается себе в ус довольный Стоян. — Лодкой едва умел править, а уже на корабль забрался. Лоцман! Ишь куда шагнул! Так, глядишь, и в моряки выбьется, весь в меня, да!»

С утра Стоян начал собираться на Дунай, осмотрел лодку, перевернул ее, постучал по днищу — рассохлась, пришлось кое-где унимать течь дранками да паклей. Можно бы и сразу плыть, но Стоян вдруг спохватывается: ведь сын не один прибудет, с братушками, а все ли готово у старухи, не придется ли краснеть перед жданными гостями?

Крупно шагает он по мокрому песку к дому и сразу заглядывает на кухню. Жена раскатывает тесто, на столике уже приготовлены для начинки почки молодой козочки, печеные яблоки, айва... «Умеет, Марица, умеет, — радуется в душе Стоян. — Не прогадал... Жена добрая», — и, погладив на верхней губе жесткие, кустистые усы, заметил как бы походя:

— Баницу готовишь? Добро, добро.

— Охота тебе глазеть, как малый! — отвечает Марица, поглядев на него удивленно и даже с укоризной.— Шел бы своим делом заниматься.

— Каким делом? — недоумевает Стоян.

— Будто не знаешь. Корыто справил?

— Нет... Хоть, правда, выдолбить нужно, да все некогда.

— А часы в починку снес? Тоже некогда?

— Наши часы ни к черту не годятся, — отвечает Стоян. — Накопим левов — новые купим.

— Вон за цесарками хоть бы доглядел! — твердит свое жена.

Стоян невольно оглядывается: цесарки приковыляли следом за ним, облепили порог, все такие рябенькие, с крохотными алыми головками, тенькают, нацеливаясь на него глазами. «Ишь ты, злятся. Мне ли, рыбаку, с вами возиться?»

— Вон отсюда! Вон, ненасытные! — кричит Стоян и взмахом руки выгоняет их из комнаты.

— Вишь, какой ты семьянин... Ни в чем не хочешь помочь! Хоть бы... — Марица смолкает на полуслове,

сразу не найдясь, чем бы еще его занять.

— Не дурно бы, Марица, стопок у соседей взять, — опережает ее Стоян. — Штук двадцать, а то и больше потребуется...

— Пресвятая дева! — всплескивает руками Марица.— Всю бочку хочешь выпить? Вот наказание...

— Хватит, мать, хватит, — перебивает Стоян. — Если надо, не пожалею выкатить и бочку... Откуда тебе известно, сколько их прибудет, братушек-то? А вдруг вся команда с корабля сойдет.

— Так прямо и нуждается в тебе вся команда,— смеется Марица и добавляет подобрешшим голосом: — Ладно уж, зови. Чем богаты, тем и рады.

— Давно бы так, — отвечает Стоян. — Ну, пеки баницу и жди нас... — Он берет в руки старую, пропахшую рыбой брезентовую накидку, но сразу не уходит, смотрит на жену, ждет, когда она скажет ему на прощание привычное: «Ни рыбки, ни чешуйки!» Как назло, Марица молчит, и в голове Стояна ворохнулось какое-то недоброе предчувствие: он был немножко суеверным.

Да и как не усомниться — нелегкая прогулка ждет его. Ведь совсем недавно, когда фашисты покидали здешние места, Стоян своими глазами видел, как они ставили на реке мины. Правда, много этих чертовых шаров с рожками потом выловили советские тральщики. Но кто может поручиться, что их совсем нет? Дунай велик, сразу все не выловишь. Вот и тревожится Стоян. А попробуй заикнуться об этом, так Марица до смерти перепугается. Нет, лучше молчать, не тревожить ее сердце...

Марица смотрит на него, глаза ее пытливо суживаются, будто она готова заглянуть в самую душу Стояна.

— Уж не затеял ли ты чего? — спрашивает она, угадывая настроение мужа по лицу. — Сидел бы дома.

— Поеду. И не уговаривай, мать, — незлобиво, хотя и со строгостью в голосе произносит Стоян. — Должен я помочь русским провести корабль или нет?

— Ну, поезжай, — нехотя соглашается жена.

Во дворе он еще некоторое время медлит, словно что-то забыл. «Ах да, вон топорик надо взять, лозы нарублю», — соображает Стоян, глядя на бук с воткнутым топором. Этому буку уже лет сто, пепельно-серая кора местами облупилась. Нынешний год листвы совсем не дал, высох, умирает стоя... А рядом два молодых бука-отростка тянутся к солнцу и молодо зеленеют. Стоян выдергивает топор и ковыляющей походкой шагает к Дунаю.

Дорогой он то ухмыляется, то делается суровым, порой даже мрачным. По натуре Стоян Драгойчев не очень разговорчив. Почти тридцать лет он рыбачил, всегда, даже в бурю, в полую воду плавал в одиночку. А одинокая жизнь приучает быть молчаливым, и если рассуждать, то самому с собой.

Так, по обыкновению, и было.

Вот и теперь шагает он берегом, слышит, как словно бы вздыхает в камнях вода, а мысли то уносят его в прошлое, то возвращаются, и нет им конца, мыслям... До чего же ты красив, Дунай! Старые ивы, склонясь над берегом, охочи попить твоей чистой, прозрачной воды, и солнце весь день заглядывает в твое зеркало, и небо синее вон как отражается в твоих водах. Точно так же, как старые ивы, как солнце и как небо, породнился Стоян с Дунаем-рекой.

Иные, те, что ищут забавы в жизни, бывают на Дунае лишь в теплые дни, катаются под парусами или греются после купания, зарывшись в горячий песок. Стоян же неразлучен с Дунаем в любое время года и всегда думает о нем как о могучей, щедрой и суровой реке, которая умеет дать человеку и силу и здоровье, а порой поступает с ним круто и жестоко. И тогда

надейся на себя, борись как можешь. «Дунай не любит слабых», — подумал Стоян.

А разве Стоян изменял тебе, красавец Дунай, можешь ли ты сердиться на него? Ах, вот что, сердись... Верно. Давно Стоян не слышал шума твоих волн, словно бы чуждался... Это с того времени, как пришли швабы. Позвали они Стояна в свою комендатуру, под ружьем привели... Переступил он порог комендатуры и видит: солдаты навтыяжку стоят, а один, видать главный, за столом сигару курит и спрашивает: «Ты есть лоцман?» — «Извиняюсь, — отвечает Стоян, — рыбак». — «О, это корошо, будешь лоцман, — говорит. — Лева, много лева получишь... Контракт, контракт...» — и сует Стояну бумажку с орлом в углу.

Прикинул Стоян в уме: в деньгах, понятно, нужда, но кому служить? Швабам? Во вред сыну, что в партизанах воюет, русским братушкам... И себе же гарпун в спину? Нет, так не пойдет. Отнекивается Стоян, мол, так и так, нельзя мне, годы не те, ревматизм гложет... А немец как швырнет сигару да вскочит: «Пошел вон! Ты есть симулянт!» — и на дверь пальцем. Вытолкнули Стояна, прикладом в спину ударили. Хотел огрызнуться, да плюнул:, черт с вами, подумал, ладно, что голову не снесли, — и пошел домой...

«Такое дело, батюшка-Дунай... Не сердись на меня, не обижай. Вот-вот, поласковее будь», — приговаривает Драгойчев, и, будто внемя его голосу, вода тихо набегаёт на песчаную отмель, воркует у самых ног.

«Ну, пора!» — произносит Стоян, вдевает веревочные петли на штыри уключин и, навалившись грудью на лодку, отталкивается от берега. Сам прыгает на ходу, даже не замочив постолы из сыромятной кожи.

Река играет, переливается серебром в лучах полуденного солнца. У берега ивы роняют в воду

оранжевые, продолговатые, похожие на блесну, листья, за которыми неразборчиво гоняются мелкие рыбешки. Берег удаляется, и посреди реки сладко пахнет водорослями. И дышится легче. Обычно в груди Стояна, редко выпускающего изо рта трубку, слышались хрипы, шумы, похоже, кто-то внутри раздувал мехи, а на реке дышалось ровнее, не слышалось никаких звуков в груди.

На Дунае Стоян чувствует себя шире, просторнее, и порой приходит на ум желание куда-то лететь, будто он обретает крылья. Ему вовсе не страшно даже в то время, когда косматые волны, как тигры, набрасываются на камни, режут, катятся валом, затопляя низины и подступая к самой кеште. Правда, случается это не часто, только в полоую воду или в осенние ливни. Безудержная сила реки даже радует Стояна, он чувствует себя сильным, если приходится плыть на шаткой плоскодонке в часы, когда Дунай весь пенится и колыхается, подбрасывая лодку. «Не злись, успокойся. Ты же все равно меня любишь, как и я тебя», — говорил в такие минуты Стоян и уходил все дальше...

Но сегодня Дунай выглядит по-домашнему мирным. Стоян гребет, не особенно налегая на весла, порой вовсе отпускает их, давая работать течению.

Плыть долго не пришлось. Вон и песчаный остров, огибаемый, как подковой, двумя рукавами. Один, что поуже, совсем мелкий, по нему в сухое лето женщины, подняв выше колен юбки, переходят на остров полоскать белье; тут, под ракетами, у берега ненасытно клюет язь. Другой рукав — многоводный и неоглядный, как сам Дунай, и такая глубина, что даже в ясный день, когда солнечные лучи просвечивают толщу воды, дна все равно не видать. Вода тут темная, выбрасывается на поверхность кругами, будто кто-то всегда подогревает ее со дна. Стоян знает, что дно в этом месте похоже на котлован, уходящий саженой на

пятнадцать вглубь, и поэтому течение бьется о крутые откосы, образуя водоворот. Не один рыбак лишился здесь лодки, едва сам выбираясь вплавь. Случалось, и тонули.

Стоян, однако, не боится водоворота. Он любит реку и убежден, что если не зазеваться, не пасть духом, то и водоворот не страшен. «Эти места и Коста знает, не проворонит, — подумал он. — Понятно, трудно вести корабль через бурный водоворот, но иначе нельзя... На мель можно напороться, если идти через мелкий рукав... А что касается мин, так где они? Нет их. Зря бы напугал Марицу. Не видно мин. Быстрее неси меня, лодка!» — весело подбадривает себя Стоян, отталкиваясь веслами, и лодка рассекает толщу воды, как большая рыбина.

Лодка подошла к острову гораздо раньше, чем предполагал Стоян. Солнце, будто на прощание, перед заходом так припекает, что не мешало бы погреть косточки. Благо, на острове растет не только жидкий тальник, но и сосны, мягкий камыш, найдется и сухой валежник. Как ни хотелось погреться, Стоян не мог терять время.

Сперва он проехал к узкому рукаву, лодка то и дело задевала и скребла днищем о подводные камни. Сюда корабль не пойдет, эти опасные места знает и Коста. А вот как проведет он судно по тому рукаву: хоть он и глубокий, и ширина вон какая, а поближе к берегу встречаются подводные камни-валуны. С корабля простым глазом их не заметишь. Правда, Коста о них тоже знает, не раз, бывало, заплывал и ловил с камня игривых голавлей. Все же целиком на него полагаться нельзя. Молод еще Коста, может и заехать ненароком. И Стоян переехал на другую сторону реки, остановился возле двух камней, торчащих из воды глыбами, покрытыми ослизлой тиной.

Уже за вечерело, стало прохладно, и на реке появились волны. А корабль всё еще не показывался. Стоян усомнился: может, и совсем не прибудет? Но как можно? Ведь он видел, как приплыла шлюпка, советский моряк взял с собой Косту, а ему, Стояну, наказал помочь провести корабль по узкому руслу... И хотя война откатилась, бушует где-то там, за дальними горами, меж которых исчезает Дунай, Стоян понимает, нутром чувствует, что корабль военный и, конечно, груз везет для фронта, может, снаряды, оружие, патроны, мало ли чего! «А не выбрал ли корабль другую, более удобную стоянку? Да нет, не может быть. Моряки — народ верный, раз дали команду, значит, прибудут. И ведь Коста уверял, он не будет лгать отцу». Едва так подумал Стоян, как по реке пронесся сильный гудок корабля. Идут! Сердце даже защемило от радости.

Немного погодя появился и корабль. Был он еще далеко и, казалось, шел очень медленно. В сырой и плотной темноте, окутавшей реку, людей на корабле нельзя было различить, да и сам корабль едва угадывался — похоже, вдоль реки ползло низко опустившееся и набрякшее дождевое облако. Стоян вспомнил, что в осеннюю пору такие тучи часто заставляли его в плавании и ничего, кроме неприятностей, не сулили ему. Но теперь, хоть и круче становились волны и сгустившаяся темнота мешала видеть, Стоян чувствовал себя спокойно. Он подумал, как рады будут моряки, которых он примет у себя дома. «Испекла ли Марица баницу? Хорошо бы еще подать к столу брынзу. А вино найдется, крепкое, долгой выдержки...» — думал Стоян, стараясь в темноте яснее разглядеть корабль. Но зачем они так прижимаются к берегу? Чего доброго, и на скалу можно напороться.

— Вот сюда, правее, правее держите! — с невольным криком произнес Стоян, но голос его не был услышан и потонул в промозгом воздухе.

Тогда он повел лодку на середину рукава, убеждая себя, что ему нужно непременно быть там, чтобы, в случае чего, помочь морякам выбрать правильный курс. Он глядел попеременно то на корабль, то на воду и вдруг перед носом лодки заметил что-то черное, свернувшееся клубком. Почудилось, что это водоросли, но почему круглые и гладкие, как шар? Стоян притормозил веслами и перегнулся за борт. «Мина?» — удивился он и оторопел, даже, казалось, онемел.

Обернувшись, он поглядел на корабль, который сейчас шел, казалось, гораздо быстрее, чем раньше. И это как-то сразу встревожило Стояна, вывело его из душевного равновесия. Он стал соображать, что делать. «Ничего, времени еще в избытке, я отгоню ее на мель, — смекнул он и обрадовался этой своей находке. — Как будут довольны Коста, братушки. Вот, скажут, хватка — мины не побоялся. Один управился».

Может, твердо и не знал, а скорее догадывался Стоян, что от прикосновения к металлу, от одного удара мина взорвется. А он вовсе не думал умирать, ему хочется жить. Да и что за мысли? Прочь их из головы! Мину можно отвести на мель. Надо только подтолкнуть ее рукою. Приблизиться на лодке и подтолкнуть. И Стоян начал осторожно подводить лодку, но ее относил течением. Упрямо налегая на весла, он развернул лодку и повел ее против течения. Потом, отпустив весла, склонился и хотел толкнуть мину. Лодку вновь подхватило волной.

Тогда Стоян решил подъехать к мине по течению — так, пожалуй, удобнее толкать ее. Правда, волны мешают, уж очень подбрасывает лодку. Но не беда. Медлить нет времени. И Стоян, весь напрягаясь, ведет лодку против течения, переваливаясь на волнах. Вот уже мина позади. Теперь остается направить лодку прямо на нее, а самому ждать момента. Подплыв близко к мине, Стоян с невольным порывом перегнулся через

борт и не успел взмахнуть рукою, как поскользнулся, едва не опрокинув лодку. За борт полилась вода. И мина куда-то исчезла. Казалось, что-то заскребло о днище. Не помня себя, Стоян зажмурил глаза и ждал взрыва. Сердце, готовое разорваться, колотилось гулко и часто. Но взрыв не раздался.

«Нельзя поддаваться страху», — подумал он, увидев снова мину. Она угрожающе чернела из воды.

В лодку набралась вода. Мокрый, трясаясь от холода, Стоян, однако, не стал вычерпывать воду, он привык к стуже, да и не мог отвлекаться. Он мучительно думал, как управиться с миной. И вдруг ему пришла в голову новая мысль.

Надо, чтобы лодка держалась устойчиво. А для этого поставить ее поперек течения, приблизиться к цели и, тормозя веслом, одной рукой толкать мину. И едва подумал, как сразу за дело. Вот уже опять приблизился и нащупал рукою мину, холодную и скользкую, как ледяшка. Энергично подтолкнул, но мина лишь потонула и тотчас всплыла у самого борта. И снова толкал. Всякий раз мина совсем исчезала в мрачной толще воды. Внимательно вглядываясь, он неожиданно замечал, как она всплывала поблизости от лодки.

«Попробую еще раз. Я от тебя не отстану!» — озлился Стоян и пробовал толкать снова, а мина, погружаясь вглубь, опять всплывала вблизи лодки. Она плавала на одном месте, точно привязанная ко дну.

«Дьявольский шар, он из меня все силы вымотает», — вытирая мокрое лицо, ворчал Стоян. В теле он ощущал нервную дрожь, поламывало в плечах, что с ним редко случалось. «Эх, позабыл взять канат, — огорчился он. — Зацепил бы ее и тащил по воде. Но, смотри, вот ты у меня сейчас будешь в лодке!» — пригрозил Стоян и передвинулся на нос, чтобы удобнее тащить ее. Тащить в лодку. Как это он сразу не

догадался? Сейчас будет лежать, как рыба, и не шевельнется!

Но мина оказалась очень тяжелой, килограммов на сто, если не больше, и всякий раз, когда он пытался обхватить ее, она выскользывала из рук, как скользкий голыш. Стоян сделал еще одну попытку, но тщетно. Только теперь убедился, что мина стояла на якоре. Ничего больше он не мог придумать — как совладать с нею, и так отчаялся, что готов был проклясть все на свете.

«Ненавижу, когда у меня сердце шалит», — подумал Стоян, прикасаясь ладонью к груди. «Не отвлекайся, не отвлекайся! — твердил ему какой-то другой голос. — Опасность близка, а ты должен управиться».

Охваченный тревогой, Стоян взглянул вдаль, на реку: прямо на него всею своей громадой надвигался корабль. Его окутывала мрачная темнота, и ни одного огонька не видно. Но Стоян знал, что там, на корабле, Коста, товарищи его, советские моряки, и везут они груз, очень нужный для фронта груз... А дьявольская мина лежит на пути, и, если не уничтожить ее, она взорвется. И потонет корабль...

В одно мгновение осознав это, Стоян молча поднял со дна лодки топор. Потом, стиснув зубы, обернулся, словно боясь, что ему помешают. Наконец, подплыв, он прикоснулся к мине, увидел зловеще торчащие рожки. В глазах потемнело, нет, показалось, что темно... Он видит... Вот сюда... По свинцовому рогу... «Эх! Ни рыбки, ни чешуйки!» — сам себе говорит Стоян и с размаху ударяет обухом...

С корабля никто не мог угадать причины взрыва. Только все, кто стоял на палубе, увидели, как огромный столб пламени взметнулся над рекой, крутая волна ударилась в борт, разошлась и сноса ударилась, хлынув тяжелыми брызгами на палубу. На корабле мгновенно вспыхнул прожектор, его ослепительно-белый луч

вспорол тьму, пробежал по бушующим волнам и остановился, будто замер, на обломках лодки...

Василий Субботин. МОЙ ГИД

1

Война еще не кончилась, хотя в Берлине она уже потухла.

Я решил весь этот день посвятить осмотру в Берлине тех мест, о которых пока у меня не было никакого представления. Мне хотелось ознакомиться с центральным, как я предполагал, районом, который я совершенно не знал, как не знал его и никто из нас; район этот был по другую сторону от рейхстага.

Я вышел из главного его входа и через две-три минуты стоял уже у Бранденбургских ворот. Они почти примкнули к рейхстагу.

Здесь, под аркой, ее колоннадой, было сумрачно и прохладно. Проемы — широченнейшие проезды между колоннами — были заложены кирпичом, и разобрать еще его не успели. Только боковые узкие проходы оставались незабаррикадованными. Поверху, через весь фронто́н, — какая-то наполовину обитая или обвалившаяся лепная неразборчивая надпись... Ворота велики, громоздки. Они мне показались кособокими. Возможно, так это и было... От прямых попаданий.

Я уже намеревался идти дальше, чтобы выйти на улицу, но тут неожиданно вдруг начался дождь. Начался сразу, ни с того ни с сего, как это бывает только в такой весенний, солнечный день. Майский дождь! Крупный, частый, прямой, благоухающий ливень.

Лучшего места спрятаться от дождя, чем под этой аркой, нигде не было: ни одна капля не залетала сюда, под тяжелые своды. Я стоял и смотрел на обливаемый

потоками дождя город, на мрачные остовы выгоревших и почерневших разрушенных домов — скоро они совсем скрылись за сеткой дождя, — на взорванные мостовые и не сразу заметил стоящего тут же, прислонившегося к колонне солдата. Он стоял здесь, как видно, еще до того, как я сюда пришел. С карабином у плеча. Усатый, уже пожилой. В порыжелой, измятой ушанке. Хотя ушанки вроде бы давно уже сняли. Берлин брали уже в пилотках.

Я заговорил с ним и тут же, по привычке, свойственной, должно быть, лишь очень молодым газетчикам, записал у себя в блокноте: «Рядовой Андрюшин, Кирилл Егорович». Боец не удивился нисколько, что я записываю. Он отнесся к этому, как к обычному делу. Или постарался показать мне, что это так.

После первых фраз, того обычного короткого разговора, когда узнается, кто из какой части и откуда родом, я заметил, что эти самые Бранденбургские ворота, под которыми мы укрываемся, сделаны ни более и ни менее, как на ширину всей улицы. Солдат со мной согласился, но сказал, что в Берлине ему уже приходилось бывать. Я, как мне помнится, удивился, потом решил, что, наверно, он из тех многих наших солдат, пришедших к нам в последнее время, которые были в плену. Но нет, оказывается, нет... Но тогда, может, еще в империалистическую? Солдат мотает головой. Не-ет... Еще до первой мировой! Я ничего не понимаю: он был здесь в 1912 году. Был с экскурсией. Приезжал вместе с воспитанниками императорского лицея в Петербурге. Нет, сам он не был воспитанником. И лекций он в лицее тоже не читал. Служил привратником... Помнит, проезжали под этими воротами... Он внимательно оглядывает мощные опорные стены и тяжелый свод. Он и узнает и не узнает теперь все это...

Пока мы стояли с ним так и под захлебывающийся говор дождя вели свой разговор, мы не заметили, что в том же полете арки, за спиной у нас, собрались другие солдаты, так же, как и мы, прячущиеся от дождя. Они где-то задержались и успели промокнуть. Все были уже без оружия, в обмотках и в обычных — выгоревших, выцветших пилотках. Но все с веточками сирени в руках. Свежей, только что наломанной...

В этом году вообще было много сирени. Но больше всего ее было в Берлине. Она затенила все дома, скверы... Лезла из-под развалин, из-под мостовых, наваленных и навороченных на нее плит, она была сочная, плотная. Такой я никогда не видел. И запах, который шел от нее, был столь сильным, что он забил, заглушил все прочие запахи. Даже и трупный, а он медленнее всего исчезает...

Разрушенный город и сирень... Удивительная была сирень. И удивительная была весна!..

И мы, грубые солдаты, мужчины, обстрелянные люди, — казалось, что мы в этом понимали! — ходили взволнованные по городу, и в руках у нас была сирень. И пахла она тем сильнее, памятнее, что еще не выветрились на улицах запахи пороха и дыма. И не только пороха и гари...

И мы все были пьяны.

От весны, от сирени...

Дождь тем временем перестал... Солдаты с веточками сирени в руках ушли, как только увидели, что он стихает.

Вода, хлеставшая потоком, быстро сошла. Опять выглянуло солнце.

Кирилл Егорович ведет меня по широкой, прямой улице. Она и есть Унтер-ден-Линден. Улица вся не то дымится, не то парит...

Я впервые здесь — за Бранденбургскими воротами. Здесь держались до последнего последние из гитлеровцев, отсюда — из-за Бранденбургских — отстреливались они, когда уже взят был рейхстаг.

Конечно, мне повезло, что я встретил здесь такого солдата, который побывал в Берлине гораздо раньше нас. Я чувствую себя уверенней. Он охотно, даже покровительственно, рассказывает мне обо всем. Признаться, без него мне было бы трудно. Ведь теперь, после боя, чужой разрушенный город вдруг в своем «мирном виде» стал как бы еще непонятней. Не сразу разберешь, где тут что надо искать... В бою даже яснее. Есть участок полка или батальона. Вот и пробирайся от одного известного тебе пункта до другого. Район Вайсензее и Моабита, через который мы наступали и в котором мы действовали, был уже в какой-то мере нами изучен. Настолько хотя бы, что мы могли в нем ориентироваться. Но теперь бои закончились. Сдались самые последние, в одиночку сопротивлявшиеся автоматчики. Можно идти куда хочешь свободно. И тут-то мы почувствовали, какое непростое это дело ходить по громадному, везде одинаково разрушенному городу. Блуждать по нему, когда у тебя нет ни плана, ни карты, когда не знаешь ни основных магистралей, ни принципов планировки... Одним словом, — я именно это хочу сказать, — под пулями и снарядами ориентироваться было легче, чем теперь, когда стало тихо.

Вот почему я так смело шел с Кириллом Егоровичем, так обрадовался встрече с ним: он здесь бывал, он знает...

Кое-где над крышами, у карнизов разрушенных и сожженных зданий, — скульптуры. Прямо над черными

стенами. Целые, нетронутые... Бронза от времени покрылась окисью, и статуи стали зелеными. Совсем как стеклянные, только что не просвечивают.

Тем более странно видеть их на этой улице.

Я послушно иду за моим спутником и провожатым. Иду и не перестаю удивляться, что мне попался столь необычный солдат. Небось он тут один такой, на весь Берлин один.

Старик что-то мне показывает. Он уже вошел в свою роль экскурсовода. Но мало что уцелело.

Кварталы кирпича, щебня, камня.

Мой гид оживился, когда увидел богатое, пышно украшенное здание в сплошных горельефах, в орнаменте. Кирилл Егорович помнит его еще с тех лет. Через решетки на окнах мы заглядываем внутрь первого этажа, вернее, полуподвала. Сколько оружия! И пушки, и мортиры, и мушкеты. Всех, наверно, времен и веков. Здесь — арсенал. Что-то вроде музея истории войн.

И опять — зияющие окна, обитые углы... И — бронза, покрытая окисью. Опять пустыри и руины, руины и пустыри.

Раньше все это выглядело по-другому.

Как это все выглядело раньше, я уже знал. (И когда Кирилл Егорович рассказывал, я хорошо представлял себе ту, прежнюю Унтер-ден-Линден.) Они проходили под той же аркой, по всей этой широченной парадной улице. Резало глаза от сверканья штыков и касок... Солдаты, которые лежат на полях Подмосковья. Солдаты, вылезшие из подвалов рейхстага... Кирилл Егорович рассказывает свое, но тоже о марширующих колоннах. На флангах — офицеры в островерхих вильгельмовских касках, грозно распушившие усы. На конях. И впереди — барабанщики... Потом шли другие — ночью, — орали «Хорст Вессель»... И вдоль всей улицы,

и над липками — белыми раструбами — факелы. И орлы — на длинных шестах. Орлы и факелы. На рукавах, на дверях магазина, на столбе с чадящим факелом, на всем — свастика.

По этой же улице только вчера мы выводили их длинные, неровные, растрепанные колонны.

Мы переходим небольшую, грязную Шпрее,— пожалуй, она одна здесь не разбита и не изуродована — и попадаем на Люстгартен. Но сначала Андрюшин ведет меня к королевскому дворцу, и тут мы наталкиваемся на какое-то сооружение. Из металла... Что-то странное. Похожее на танк, но мы таких что-то не встречали. Выразительная махинина. Нечто подобное я видел только на рисунке. Была, по-видимому, такая картина — я видел в детстве ее, в календаре: высокий врангелевский танк, примающий частокол заграждений, и красноармейские цепи, поднимающиеся ему навстречу из траншей. Кирилл Егорович ее не помнит, а я — помню...

Кто-то — немец, подошедший к нам, говорит, что это английский танк. Мы, конечно, не верим. Английские танки мы знаем! Они небольшие, невысокие. Они были у нас... Но нам тут же объясняют, что это английский танк времен первой мировой войны... А, вот что! Те самые!

Но Кирилл Егорович спешит и не склонен задерживаться. Он больше всего оживляется, когда видит что-нибудь уцелевшее...

На исполински огромном битюге сидит такой же огромный мужчина в каске. Фридрих Вильгельм. Кайзер. Мы с Кириллом Егоровичем решили, что это самый большой из всех не только виденных нами, но и вообще из всех когда-либо существовавших на земле памятников. С пристройками он занимает целый квартал.

У его подножия и вблизи, повсюду, положив головы на обмытые и уже прогретые солнцем ступени, спят солдаты. Один, услышав наши громкие на набережной шаги, приподнялся и, широко раскрытыми непонимающими глазами поглядев на нас, перелез в холодок. Туда, где еще была тень. На нем грязные обмотки, он в ватнике. В фуфайке. Щеки обросли густой серой щетиной... Сначала надо отоспаться.

На самых нижних ступенях пьедестала — фигура женщины. Германия. Мы с Кириллом Егоровичем подошли к ней близко. Ее специально сделали такой, и до колен ее не дотянуться.

Чтобы мы себя чувствовали маленькими.

И Кирилл Егорович, старый швейцар, бывший служитель императорского лица, открывая мне двери Берлина, ведет меня дальше, мимо бронзовой статуи — со шпагой, но без головы, — к другим памятникам. Мы и впрямь чувствуем себя подавленными их размерами. Меня еще вчера, в Тиргартене, среди поваленных деревьев, сожженных крупповских танков, поразила своей величиной статуя Победы. Улыбаясь в желтые, прокуренные усы, Кирилл Егорович говорит, что ее, золоченую эту статую, бойцы уже прозвали «бабой с крыльями»...

3

Сейчас я даже и объяснить не могу, как случилось, что я не только не держал в голове, но даже забыл об имперской канцелярии. Не скажу, как это произошло. Казалось, мы все должны были стремиться увидеть штаб-квартиру Гитлера.

Вероятно, я тогда, в Берлине, считал, что это не для всех доступно...

А может, дело было проще. Ведь я полностью на этот день доверился Кириллу Егоровичу, с самого начала решив не отставать от него. А ни о какой канцелярии, построенной Гитлером вскоре после прихода к власти, Кирилл Егорович ничего не знал и не слышал. Нужно сказать еще, что Кирилл Егорович, который сначала так уверенно, хорошо исполнял свою роль экскурсовода, очень скоро примолк. И я понимаю! Много прошло времени, как он был здесь... Скоро получилось так, что уже не он, а я шел впереди. Вел его туда, куда хотел. Конечно, и я шел вслепую, меня влекло одно только любопытство.

Все-таки старик кое-что мне показал. Мы обходили с ним половину города и теперь возвращались обратно по той же Унтер-ден-Линден. Только по другой уже стороне. Бранденбургские ворота были недалеко, когда я заметил боковую, уходящую влево неширокую улицу. Мне хотелось посмотреть еще что-нибудь. Я повернул в нее, Кирилл Егорович послушно пошел за мной. Обогнув осыпавшийся угол дома, мы прочли на случайно сохранившейся табличке: «Вильгельмштрассе».

Я долго напрягал память, пока понял, почему и в связи с чем я много раз слышал это название. Мы уже шли вдоль высокой, глухой, розовой стены. После Унтер-ден-Линден эта улица казалась нам небольшой. Кирилл Егорович молча шел за мной, не понимая, почему мы повернули, пошли сюда, а не к рейхстагу.

Я уже увидел узкий дверной проем. Зрение у меня было лучше, и высоко над входом, как бы вырезанным в стене, мне был виден уже клювастый алюминиевый орел с расправленными крыльями. Его зацепило снарядам, и он был полуоторван. В цепких своих лапах орел этот держал земной шар, оплетенный свастикой... Я потом видел еще раз эту птицу, но уже не на фронте берлинской имперской канцелярии, а в нашем, советском музее, в Москве. В том же музее, куда

было привезено знамя победы, которое дивизия наша ставила на рейхстаге. Его внесли в музей и установили в самом большом зале. И чтобы сохранить навечно, укрыли стеклом, в пирамиде... Как хранят оружие. А этот сбитый с рейхсканцелярии, привезенный в Москву исковерканный имперский орел брошен к подножию пирамиды. К той, в которой хранится флаг наш.

Ступеней никаких не было. Вход прямо с тротуара. Несмело шагнули мы с тротуара в проем. Мы думали, конечно, что нас не пропустят и придется сразу же повернуть обратно. Но нас никто и не задерживал. Здесь никого не было... Никто уже не интересовался тем местом, где находился Гитлер. Его убежищем.

Перед нами замкнутый, прямоугольный, каменный забетонированный двор. Под ногами — бетон, да и стены тоже бетонные. Так мне это запомнилось. Солнце стояло высоко, и здесь было жарко. Все здесь было геометрично-прямое и квадратное — и какое-то невысокое, наполовину как бы ушедшее в землю.

Поняв, что нас никто не удерживает, мы решили с Кириллом Егоровичем, что должны идти дальше. Тут в другом конце двора, у подъезда, мы увидели обгоревший броневик. Мы на минуту остановились, подивившись тому, что сожженная и разбитая машина стоит внутри двора и как вообще сюда попал броневик.

Потом долго шагали по длинному, мало освещенному коридору. Куда-то поворачивали и опять шли по коридору, но уже по другому. Хотя я не помню, был ли там кто-нибудь, но, вероятно, кто-то нам все-таки показывал, как идти, иначе мы бы ничего не нашли.

Когда мы зашли в кабинет, мы в первое мгновение ничего не могли разглядеть. Над головой была дыра, было небо и солнце. От света, который бил через пролом в потолке, все казалось как бы во тьме.

Пол был завален поломанной мебелью и бумагами. Все знакомо перемешано со штукатуркой и обвалившимися перекрытиями. Окна тут были с двух сторон: одно окно — рядом с письменным столом — большое, почти во всю стену. Но теперь, когда потолок был проломлен, эти окна как бы уже не светили. Кабинет Гитлера, следовало бы говорить — бывший кабинет, был гигантским, но на кабинет этот большой помпезный зал уже не был похож. Одни шкафы у стены остались непрокинутыми, и в них были какие-то книги. Кирилл Егорович подал мне одну, другую. Они оказались все с надписями. От авторов... Целая библиотека автографов.

Взятая мной наугад в том же шкафу книга была Геббельса. И тоже с автографом.

Чтобы подойти к окну, мы обошли поваленное кресло, и тут я наступил на еще одну — затоптанную и лежащую в мусоре книгу. Это была книга самого Гитлера. Мы ее впервые увидели. Но оказалось, что та же самая книга была на полках, что шли вдоль стены. Его книжка была тут во многих изданиях — все в одинаково черных переплетах.

Но больше всего поражали люстры. Их было две. Нигде потом я никогда таких не видел. Эти люстры — по одним по ним можно судить о размерах помещения — не нависали над головой. Они — стояли... Одна была до самого потолка, другая лишь немного не доставала. Обе крепились на полу...

А гигантский тот глобус, о котором многие писали, шар, которым Гитлер столь усердно вертел здесь, лежал на полу, в углу, и мы не сразу его разглядели под рухнувшей на него штукатуркой... Он уже был весь расплющен.

Мы сидели с Кириллом Егоровичем в разгроханном тяжелыми снарядами кабинете Гитлера, у разбитого, высаженного разрывами окна, смотрели на виднеющуюся вдали Колонну победы — и вспоминали, как Гитлер приходил к власти. О кровавом разгуле его штурмовиков и о поджоге рейхстага...

Отсюда была нам видна одна башня рейхстага и почти весь его большой, шарообразный, решетчатый купол. Здесь, в этом по-современному построенном дворце, где мы сидели и отдыхали сейчас, Гитлер и распоряжался и жил, а там, в рейхстаге, произносил свои речи. Напрямую тут было близко, хотя напрямую хода не было... Даже высокие деревья парка Тиргартен мы видели. И конечно, видели Колонну победы — ее отовсюду видно. Кирилл Егорович спрашивал меня об этом памятнике, но, к сожалению, я мало что мог ему сказать. Я знал только, что колонна эта считается памятником 1870 года, что она установлена в честь победы над Францией. Больше ничего я не мог прибавить к этой справке, хотя старый солдат интересовался всеми фактами истории.

Я не мог тогда сообщить Кириллу Егоровичу одного эпизода. Я его узнал уже позднее. Мне об этом рассказывал мой товарищ, который после войны оставался жить в Германии.

Был у меня такой товарищ.

Так вот, немка-переводчица, окончившая русскую гимназию в Риге и работавшая в тридцатых годах на Магнитке, рассказывала ему, как Гитлер возвращался из захваченного Парижа. Он только что продиктовал в компъенском вагончике свои условия. Ехал он через всю Германию, ехал в открытой машине, стоя. В жесткой высокой военной фуражке. Ехал под фейерверк и рев

эсэсовских молодчиков и бюргеров, сошедшихся к дороге. И ему угодившей в него ракетой обожгло лицо.

И тогда вернувшийся из Парижа Гитлер задумал увеличить монумент в Тиргартене; он уже заказал необходимый для этого камень. Его привезли из Швеции. Мой друг понял так, что предполагалось расширить пьедестал и, сделав выше колонну, поднять статую, высечь новые барельефы, изображающие победы гитлеровского оружия. Но скорей всего Гитлер, намереваясь поставить памятник своей победе над Францией, хотел «повторить» старый памятник — сделать так, чтобы нынешняя колонна рядом с новой казалась бы маленькой. Так он задумал, когда с обожженной физиономией ехал по дороге Париж — Берлин.

Заказанные для памятника плиты, по словам женщины, были привезены и сложены в Тиргартене. В немецких газетах было даже об этом сообщение. Эти плитыгодились, как я думаю, когда в Берлине сооружался памятник советскому солдату. Под ногами этого нашего солдата, поставленного теперь в Трептов-парке, — плоские, из твердой горной породы ступени-плиты.

Да, я не знал всего этого, когда мы сидели в канцелярии Гитлера, в его кабинете — у окна, вырванного вместе с рамами. Но этого не рассказал бы тогда и мой товарищ по дивизии.

Он в то время, наверно, еще спал, приткнувшись где-нибудь в подвале, под рейхстагом.

Другой вход, к которому мы подошли, выводил в сквер, вернее, в небольшой парк, прилегающий к имперской канцелярии. Деревья в сквере, как всюду в Берлине, иссечены осколками. В воронках и ямах какие-то рваные и скомканные, вымокшие бумажки.

Тут, в парке, мы увидели двух мужчин в штатском, по виду журналистов. У них на груди, словно бинокли, болтались фотоаппараты... Они что-то искали между деревьями.

Так и англичане вот, когда они приехали сюда, да и потом, через два месяца, — я видел это сам, — так же кружа вокруг имперской канцелярии, ковыряли тросточками землю, разыскивая Гитлера... Почему-то нас, тех, кто своими глазами видел обгорелые трупы многих других высокопоставленных чинов и сподвижников Гитлера, гораздо меньше волновал вопрос о том, где он сам. Все были убеждены, что и он не ушел.

Я только много позже понял, что один из первых побывал в кабинете Гитлера, одним из первых переступил порог имперской канцелярии. А тогда я не знал этого.

5

Возвращались мы прежним путем — через этот кабинет и все тем же полутемным коридором. Уже в дверях кабинета Кирилл Егорович меня окликнул, и я взглянул на стену, на которую он мне показывал. И не поверил глазам своим! Подошел к другой стене. Стены были золоченые. Отстававшая позолота слезала слоями.

У нас в Сибири, в домах состоятельных мужиков, так вот покрывали печки-голландки. Полукруглые, обитые железом печки... Печь красят сначала черной краской, а потом «дуют» на нее золотым порошком. Так она в этих золотых яблоках и стоит...

Мы опять вышли в тот подъезд, в тот же внутренний двор. Тут уже были одиночки-экскурсанты, такие же, как и мы. Кто-то показал нам подземный ход в самом углу двора. Спуск в бункер... Так, окруженный нами,

загнанный, как в мышеловку, Гитлер ни разу и не вылез из своего убежища, пока мы штурмовали Берлин. И только чтобы сжечь труп, его вытянули наверх. Вот здесь, на этих цементных плитах, запорошенных пеплом архивных бумаг, он — вытащенный охранниками на поверхность — лежал с отваливающейся челюстью... Да, да. Здесь вот он и лежал. Как скорпион, укусивший себя... И удивительнее всего — и страшнее и смешнее, что сами себя. Сначала сожгли полчеловечества, а потом — сами себя. И сжигать было уже нечем и негде. И некогда...

Пришлось заворачивать в кусок ковра...

Так же, как и Гитлер, покончил с собой и Геббельс, этот маленький злой гном. Только на сутки позднее. Так же, как его фюрер, он завещал сжечь себя. Но мы врывались уже сюда. Поэтому люди, составляющие свиту Геббельса, торопились в этот раз еще больше и думали уже только о том, чтобы самим спастись, и не дожгли до конца Геббельса. Поэтому-то труп Геббельса и был сразу найден.

Надо бы спуститься вниз, в этот бункер, где столько времени отсиживался Гитлер. Но Кириллу Егоровичу пора было возвращаться. Больше всего на свете он боялся своего старшины. Мне же не хотелось отставать от Кирилла Егоровича...

Перед тем как уйти, мы узнали все-таки кое-что об этом броневике, который заинтересовал нас, когда мы входили. Он стоял у стены. Он, этот теперь разбитый и обгоревший броневик, был личный, Гитлера. Он так и стоял здесь всегда... Гитлер держал его на всякий случай поближе к подъезду.

Миновав темный проем, мы опять попали на Вильгельмштрассе. Чуть в стороне, но почти у самого входа в имперскую канцелярию стояла большая очередь... Немцы делили убитую лошадь.

Мы вышли на Унтер-ден-Линден, и мой старик, бывший привратник императорского лицея, опять оживился, понемногу возвращаясь к сегодняшней своей роли. Он снова вел меня по Берлину и таким же тоном, как и раньше, давал объяснения. Казалось, был не в Берлине, а в лицее и, раскрывая передо мной двери, говорил: «А вот здесь кабинет ректора, а направо — актовый зал».

Спасибо тебе, старина, ты много показал мне в этот день...

Солнце уже садилось, уходило за молчаливые, мертвые дома. Мы подошли к рейхстагу.

У его главного входа стоял наш часовой. Он о чем-то громко разговаривал с двумя гражданскими немцами. Как я понял, те просили пропустить в рейхстаг, где они ни разу не бывали...

Здесь у дверей рейхстага я и расстался с ним, моим гидом — советским солдатом Кириллом Андрюшиным.

Ольга Берггольц. ВОЗВРАЩЕНИЕ МИРА

Они вернулись на свои места, на Аничков мост, теплой белой ночью второго июня.

Вместе с неубывавшей толпой горожан я стояла и смотрела, как поднимали одну из бронзовых групп на высокий гранитный, выщербленный осколками постамент: это была как раз та статуя, где над нагим, поверженным наземь юношей высоко взвились тяжелые копыта разъяренного коня.

Мы стояли долго, мерцала белая ночь, статуя подымалась медленно и вдруг в какой-то момент так и врезалась в бледно-зеленоватое небо всем своим черным, бурным, трагическим силуэтом! И мы вздрогнули все, даже озноб пробежал по телу: так прекрасно явилась в небе скульптура, так пронзительно-остро вспомнился сорок первый год, и так остро еще раз ощутили мы мир.

Нет ничего страшнее и печальнее памятника, сошедшего с места. А ведь осенью сорок первого года этот поверженный бронзовый юноша лежал прямо на тротуаре, и бешеные копыта его лошади висели над самыми головами прохожих. А на другой стороне моста юноша, уже усмиривший коня, тоже стоял на тротуаре, держа лошадь под уздцы; он был немного выше человеческого роста, он как бы шел рядом со всеми, торопясь увести своего коня отсюда.

Сошедшие с высоких своих постаментов, стоящие прямо на земле, разбредающиеся в разные стороны, они уже не скульптурой были, а живыми людьми, как мы, и наглядно олицетворяли собой бедствие, такое грозное,

которое даже их, многопудовых, неподвижных, огромных, сдуло с многолетних мест.

Долго стояли в ту осень на тротуарах наши кони, медленно, уже слабеющими руками тащили их ленинградцы к саду Дворца пионеров, осторожно погружали в ямы. Больше трех лет лежали они, спрятанные глубоко под землей, а появились — все четыре — за одну ночь! Овеянные новыми воспоминаниями, полные новым, особым смыслом, они стали вновь украшением города. И много дней подряд каждый ленинградец, проходя по Аничкову мосту, замедлял шаги, с волнением и любовью глядел на коней и думал: «Стоят! На месте стоят, как в мирное время!»

И сразу радостно вздрагивало сердце: почему же «как», ведь и в самом деле — мир!

...В ту ночь, когда клодтовские кони возвращались на старые свои места, я шла к себе мимо дома, в котором жила много лет, пока блокада не выжила меня оттуда. Поворачивая с Фонтанки в Пролетарский переулок, где был мой старый дом, я еще раз оглянулась на силуэты коня и укротителя и вдруг снова вспомнила сорок первый.

Я вспомнила одну октябрьскую ночь, проведенную в кочегарке моего бывшего дома. Кочегарка была маленькая, тесная, вся в каких-то сплетениях труб, в рычагах, с двумя черными котлами. Красноватая, воспаленная лампочка свешивалась с потолка, обливая все это сумрачным светом; широкий, низкий чурбан, похожий на плаху, стоял перед котлами, и белая, тощая, как скелет, грязная кошка неподвижно сидела на этом чурбане и глядела безумными зелеными глазами; котлы были еле-еле теплыми — выходил уже последний уголь, было душно, пахло землей, углем и сырым камнем... Здесь у нас было что-то вроде КП нашей группы самозащиты и место отдыха для ее дежурных бойцов. Фашист в октябре бомбил нас

непрерывно и особенно свирепо по ночам, и в ту ночь была уже чуть ли не пятая бомбежка. Я, нач группы самозащиты Н. Н. Фомин, инженер А. В. Смирнов и еще два товарища только что сменились с дежурства и приплелись сюда, измученные бессонницей, страхом и голодом, и сами не знали, что делать: то ли идти немного отдохнуть к себе, по квартирам, то ли оставаться здесь.

— Давайте останемся здесь, — предложил Смирнов, которого мы за непомерно высокий рост и детские голубые глаза называли «дядя Степа». — Все-таки здесь не так слышно: надо немножко побережь нервы...

Я раздвинула дачный шезлонг, принесенный сюда на предмет отдыха, — великолепный, отполированный шезлонг, от которого так и веяло жарким летом, и солнечными бликами в тени, и взморьем, Фомин сел на маленький круглый стульчик, закрыл глаза и обнял обеими руками чуть теплый котел. Дядя Степа растянул под самым потолком между двух котлов гамак, тоже чудесный, летний, напоминающий о даче... Но гамак был слишком короток для дяди Степы, так что ему пришлось сложиться вдвое, как деревянному аршину, чтобы лечь в гамак. Двое других товарищей бросили какой-то брезент на пол возле деревянной плахи и пристроились на полу, положив на плаху голову.

От усталости, от страшного напряжения (весь вечер и половину ночи мы видели с крыши, как горел и рушился кругом нас Ленинград) спать никто не мог, да к тому же все было слышно, даже вой самолета вверху, и свист бомб, и взрывы, и белая кошка начинала тогда вопить нехорошим, не кошачьим голосом и, тараща зеленые глаза, царапала вытянутыми лапами землю. Надо признаться, тут было куда страшней, чем наверху, и еще тоскливее...

«Если есть ад, — думала я, — то он, конечно, такой, как эта кочегарка. Эти котлы, этот дьявольский кот-оборотень... и красноватый свет, и, главное, эта бесконечность страдания, бессрочность его. И не физического, а нравственного... Никакого конца, никогда — ни смерти, ни отдыха, ни жизни... Пытка страхом... И еще эта кошка чудовищная... Выбросить бы ее надо!»

— Бомба идет, — отметил Фомин, не открывая глаз, и плотнее обнял котел.

— Здесь же запрещено говорить о бомбах, — кротко сказал из своего гамака дядя Степа. — Давайте о другом, если не спится... Вы ведете дневник, Николай Никифорович?

— Вот еще, — пробурчал Фомин. — К чему это?

— А я веду, — сказал Смирнов медленно. — Сейчас, я слышал, почти все ленинградцы ведут дневники... Но, наверное, у меня самый странный дневник... Я совсем не записываю в нем личных переживаний. Но зато я тщательно отмечаю различные исчезновения... Я записал день, когда зачехлили купол Исаакия и Адмиралтейскую иглу... И другое... И вот, наверное, никто в городе, кроме меня, не записал, что сегодня, на сто восьмой день войны, с Аничкова моста исчезли клодтовские кони...

— И так и отсчитываете, на который день войны что исчезает? — заинтересовался один из товарищей, поднимая голову с плахи. — А зачем?

— Не знаю сам, — грустно ответил дядя Степа. — Я же сказал, что не анализирую и не записываю личных переживаний. — И, помолчав, добавил: — Может быть, я надеюсь, что удастся записать дни, когда это начнет возвращаться...

Клодтовские кони вернулись на свои места на четырнадцатый день мира. И сегодня, когда я пишу об

этом, идет уже третий месяц мира, сегодня его шестьдесят восьмой день.

Мы все до сих пор отсчитываем дни с 9 мая, как четыре года назад отсчитывали дни с 22 июня. Но ныне первыми днями победы мы датируем события, полные радости, потому что первые дни мира — это прежде всего дни великих возвращений. Возвращаем мир, и вместе с ним начинает возвращаться все, чем он прекрасен...

На тридцать шестой день победы открылся Екатерининский парк в Пушкине. Еще Пушкин весь в развалинах, но люди давно вернулись сюда, а 17 июня десятки тысяч ленинградцев вновь приехали в любимые сады только затем, чтобы бродить по «таинственным долинам», лежать на траве, смотреть на могучие деревья и буйно разросшиеся за годы войны кустарники. Так деревья и земля вновь возвращаются к человеку — не затем, чтобы маскировать его, скрывать в траншеях и ямах, а для того, чтобы радовать и утешать, как когда-то... нет, еще любовней и заботливей, чем тогда: ведь мы так истосковались по природе за эти годы.

Еще закрыт Александровский парк — он не до конца разминирован, но в Екатерининском уже давно сровняли с землей немецкие кладбища, и юный бронзовый Пушкин вновь мечтает на своей скамье в лицейском садике, и воспетая им «Молочница», извлеченная из земли, как прежде, склонясь, сидит на камне. Правда, куда-то пропала разбитая урна, и струя, изливавшаяся из нее, ныне иссякла; но ведь поэт назвал ее «вечной струей», — скоро она заблещет вновь, скоро и она вернется.

Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой...

На пятидесятый день мира в Ленинграде были подняты из земли статуи Летнего сада. Их мыли горячей водой, мочалкой и мылом, прежде чем

расставить по местам, и они стоят теперь празднично белые, какие-то особенно нарядные, облитые солнцем и золотыми бликами Летнего сада.

Вот идут по дорожке Летнего молодой лейтенант и девушка, и по тому, как прижимает он к себе ее руку, как доверчиво и преданно поднимает она лицо, глядя ему в глаза, — по всем безошибочным, одинаковым, вечным, как мир, признакам, видно, что это влюбленные. Не разжимая рук, они ходят от одной статуи к другой, вместе наклоняются и читают надписи.

— Ро-мон-на. — медленно читает лейтенант и, хмурясь, пожимая плечами, говорит: — Не знаю, кто такая. Надо почитать...

Потом они глядят друг на друга и хохочут. У него на груди медаль «За оборону Ленинграда». Он, видимо, из тех, кто прибыл из недр России на защиту города, и защищал его, и защитил, и вот только теперь увидел вместе с любимой девушкой. Они откровенно, бесконечно, вызывающе счастливы. Они были бы счастливы, конечно, и шестьдесят восемь — семьдесят дней тому назад, если бы ходили так же, прижавшись друг к другу, по летней аллее прекрасного сада, но сейчас нет ничего такого, что, как тогда, могло бы искромсать это счастье: лейтенанта уже не убьют, не искалечат, она не станет вдовой, ведь войны нет, она кончилась нашей победой, мир. И еще прошло только шестьдесят восемь дней мира, а впереди у них, этих счастливых, и у всех, всех нас сотни дней, годы мира. И уже скоро мы перестанем считать дни, годы мира. И уже скоро мы перестанем считать на дни и будем считать мир на годы, а он будет длиться и длиться...

Мне недаром, наверное, захотелось начать с клодтовских коней. Вот так же, как поднимали на высокий пьедестал этого бронзового юношу, усмирившего дикого коня, — так же начали мы поднимать свою мирную жизнь, и будем поднимать ее

бережно, с великим трудом и усердием, с большим напряжением сил, вершок за вершком, шаг за шагом, пока она вдруг, как бы внезапно, не заблещет со своей вершины на радость всем нам, ее поднимавшим.

И мы будем вспоминать тогда первые дни мира с таким же увлечением, изумлением и гордостью, как, например, первые дни обороны Ленинграда, но без привкуса горечи, с которым невольно вспоминается та трагическая осень, а с чувством... с чувством, еще неизвестным нам, но, наверно, удивительно хорошим и светлым.

И примерно так же, как теперь, мы говорим: «А помните, как мы строили баррикады? Как собирали бутылки в жактах — отражать танки? Как бомбили нас девятнадцатого сентября?» — так же будем говорить мы о тех днях, которые сейчас переживаем...

Мы скажем, наверно:

«А помните, в июне сорок пятого весь Невский был в лесах, и что удивительно — ведь работали-то одни женщины! И стены клали, и штукатурили, и стеклили, и красили — сплошь женщины. Это как в сорок первом на оборонных вокруг Ленинграда... Тоже ведь были больше всего женщины... Женщина Ленинград укреплениями обводила, женщина его и подняла!..»

И, подобно тому как вспоминают наши производственники о том, как в начале войны учились они производить специальные гранаты, разрывающие колючую проволоку, так будут вспоминать они, как переходили с гранат на мирное производство.

Мы жертвовали ради победы в течение многих-многих дней не только жизнью, но ежедневными, насущнейшими удобствами, без которых плохо и трудно жить. Мы обносились за время войны, устали от постоянных нехваток самого простого и мелкого. И так приятно знать, что с первых же дней мира ленинградские фабрики и заводы стали готовиться к

тому, чтобы как можно больше и скорее дать людям вещей, необходимых для их обычной мирной жизни: тканей, обуви, утвари и много-много другого.

Возвращен мир, и с ним возвращается все, чем он хорош, и человек возвращается к человеку.

В первые дни мира, когда вновь взлетели клодтовские кони на свои постаменты, когда в дремучем Екатерининском парке вылавливали последние мины, а «Треугольник» изготовил первые соски, когда десятки тысяч новых деревьев были высажены в садах Ленинграда и первые люльки закачались на фасадах домов, в эти дни начали прибывать в Ленинград первые эшелоны с детьми, эвакуированными в начале войны.

С восторгом возвращались маленькие ленинградцы в родной город, хотя многие из них уже не помнили его. С трепетом и любовью встречали их матери и родственники, хотя и не все узнавали своих детей сразу...

Я запомнила одну мать, которая, стоя перед группой ребятишек и глядя то на одного, то на другого, растерянно восклицала:

— Да где же моя Ниночка? Ниночка-то моя где?

А длинноногая русая девочка удивленно и обиженно кричала:

— Мапочка, да вот я! Да вот же я! Это я, я!

Ниночку увозили из Ленинграда, когда ей было всего пять лет, а сейчас ей шел уже десятый, она уже перешла во второй класс, она умела читать. Но матери, прибежавшей на вокзал, она все еще представлялась до этой минуты маленькой, пухлой, совсем картошкой, и мать не могла сразу узнать ее, ставшую сознательным человечком за годы войны и разлуки.

— Да ведь ты совсем большая, — говорила мать, плача и обнимая дочку, — да ведь ты совсем другая стала без меня.

И ей было немного грустно, что той Ниночки, которую она отправляла, которую так хорошо знала и любила, нет уже, она не встретила, не нашла ее, а есть другая, новая, взрослая девочка, милая, напоминающая прежнюю Ниночку, — и она уже привыкла к ней, и гордилась ею, и любила по-новому.

О, как долго не было слышно в нашем городе детских голосов. Всех приезжающих в Ленинград поражало это. Но вот они звенят под моими окнами, во дворе, они кричат: «Окружай его, окружай!» Они все еще играют в войну, в блокаду, кто-то вопит: «Артиллерийский обстрел продолжается!» — и громко хлопает крышкой мусорного ящика... Действительно, похоже! Недаром мгновенно я слышу плаксивый, громкий крик нашей дворничихи тети Пани:

— А ну, перестать хлопать! Чтоб не было мне этого! Наподдаю!.. — И так же громко и горестно она объясняет кому-то. — Я этих стуков слышать не могу! До чего удивительно, всю блокаду на посту в этой подворотне выстояла, ни бомбов, ни снарядов — ничего не боялась. А теперь шина лопнет или стукнет вот так, кастрюлька в кухне упадет, — прямо в дрожь кидает со страху! Так и чудится: обстрел! И что за чудеса со мной — понять не могу.

...А шесть дней назад, на шестидесятый день мира, мы встречали наших гвардейцев, проходивших через город.

Это были солдаты и офицеры дивизий, которые стояли вместе с нами в кольце всю блокаду, которые рвали блокаду в сорок третьем году, в огненном районе Шлиссельбурга, которые осенью сорок третьего заняли знаменитые Синявинские высоты, освободив тем самым от вражеского обстрела единственную железнодорожную нитку, связывавшую нас со страной. Это были те дивизии, которые ликвидировали проклятую блокаду в январе сорок четвертого,

освобождали Ропшу, Красное Село, Петергоф, Дудергоф, Пушкин, Гатчину...

И рано утром восьмого июля в домах никого не осталось: все ленинградцы, от мала до стара, вышли на улицы. Все шли. И те, кто ожидал увидеть среди проходящих гвардейцев своих родных, близких и знакомых, и те, кто никого уже не ждал с войны, совсем никого.

...Вот стоит около Триумфальной арки на улице Стачек аккуратная старушка в пестром, «веселеньком» ситчике, в старинном кружевном шарфе на голове... В носовом платке у нее завернут гостинец — «маленькая», в руке серебряная стопочка — чарка...

— Ты кого, бабушка, встречаешь?

— Я? Я, милый, всех, любя, встречаю... Всех!

— А твои где же?

— А мои, милый, еще за революцию, в гражданскую на фронтах полегли...

...Стоит девочка лет восьми с огромным, любовно собранным букетом: в середине сияющие ромашки, они окружены синим кольцом васильков, потом идут малиновые, горящие, как огоньки, гвоздики, и какой-то свежей, нежной травкой обрамлен весь букет. И сама девочка похожа на ромашку — в белом платье, с ярко-золотистой головой, с солнечным бликом на самой макушке.

— Ты папе букет принесла, девочка, а? Сразу видно, что папе! Ну-ка, ну-ка, как его зовут?

Она поднимает круглые глаза и говорит негромко:

— Нет... Мой папа в первые дни войны убит...

И, видя, как пробегает по лицу взрослого смущение, тут же поясняет:

— Это я чужому папе отдам... Бойцу, как мой... чьему-нибудь папе, понимаете?

— Понимаем, дочка!

...И хотя многие-многие ленинградцы никого не ждали с этими дивизиями, и хотя не было среди ленинградцев ни одного, кто бы не утратил в этой войне близкого человека, я никого не заметила в трауре или нарочито темных одеждах, — нет, все были в лучших своих светлых и пестрых платьях, и все — с цветами. Не было пышных цветов, роз или георгин, в городе их еще не было, — были только полевые цветы, а у иных — только листья клена или дуба.

Мне казалось, что победители пойдут во всю ширину наших улиц, гулко печатая шаг, чтоб отдавался он как гром, как обвал, — шаг победителей, пойдут в сверкании и блеске, в оглушающем гуле медных сияющих оркестров, стройными, грозными рядами... Но так прошли они только по Дворцовой, где был парад, и через площади, где были митинги, а по улицам они шли совсем иначе, и прохождение было таким, которое остается в сердце до самой смерти.

Мне довелось встречать одну из гвардейских дивизий на Литейном, возле Невы, у моста.

Они не печатали шага, не шли во всю улицу, — они шли по трамвайным путям, по трое, иногда даже по двое в ряд, а мы, сбжав с тротуаров, стояли так близко от них, что старухи гладили плечи проходящих гвардейцев, и мы поднимали им руки, кидали наши ромашки и шиповник, дубовые и кленовые листья прямо под пыльные сапоги их и вкладывали им прямо в ладони чистые, прохладные платки, и они тут же утирали ими разгоряченные свои лица, а мы совали им в руки эскимо, папиросы, шоколад, а женщины постарше — даже «маленькую» в карманы, и мы то неистово рукоплескали и что-то кричали, то молча обнимали и целовали их, и так все плакали!.. Как мы плакали в тот день...

А они шли мимо нас, очень усталые, в тяжелых пыльных касках, их лица, озаренные смущенной

улыбкой, были темно-красными от загара; мокрые, потемневшие от пота гимнастерки пестрели нашивками за ранения и множеством орденов и медалей, и медали внятно и тихо звенели при каждом их шаге. Они не шли по улицам сомкнутым строем, одни, немногие из них, шли под руку с женами, или невестами, или знакомыми, а то и незнакомыми, просто из толпы вышедшими девушками, иные несли на руках маленьких своих ребятишек, встретивших их, а ребята — постарше — свои и чужие — семенили рядом или бежали целыми толпами между батальонами, и несметное количество мальчишек сидело на стволах огромных орудий, как птицы, и штатские с нашивками ранений бок о бок шли с гвардейцами, оживленно беседуя, — их боевые друзья.

И, глядя на усталые, обгоревшие лица гвардейцев, на их жен, детишек, друзей и матерей, шагающих рядом с ними, глядя на всех, кто тянул к бойцам руки с лаской, с цветком, с подарком, мы поняли, что это не только гвардейские дивизии, это — народ возвращается с войны. Уставший после многолетних кровавых битв, победивший страшного и сильного врага, ликующий и ничего не забывший, в пыли, в поту, в ранах и великой славе — могучий, добрый, дружный русский народ возвращается с войны, справедливой и победоносной.

И было — ощущаемое всеми — особое величие в том, что этот народ, возвращаясь с войны, идет по улицам Ленинграда, города, принявшего несказанные ратные муки и труды, города необыкновенной красоты, где нет ни одной пяди асфальта, не политой кровью защитников, и где нет в этот день мертвых, но есть только живые; недаром же дети, и жены, и матери погибших вышли встречать живых, как родных, вышли в праздничных платьях, с полевыми цветами и зелеными ветками в руках.

...Мир возвращается к нам, и мы — к миру. Уже шестьдесят восемь дней мира прожили мы. Это мало, и это много. Мы узнали за эти дни, что возвращение — иначе еще говорят: возрождение мира — это большой праздник и большой непраздничный труд. Мы знаем также, что ничто не вернется к нам точно таким, как было до войны: ни дети, ни чувства, ни даже неподвижные памятники. Мы живем еще как бы на рассвете, в раннем утре мира. Мы знаем, что победа будет разгораться, как разгорается утро, переходя в полдень... Может быть, что-то из того, что придет к нам с нарастанием мирного времени, не будет узноано нами, но хочется верить и верится, что полдень мира будет еще светлее, еще щедрей, еще свободней, еще прекрасней, чем мы представляем его сейчас, в первые дни после победы.

15 июля 1945 г.

notes

Примечания

1

Махалля – квартал.

2

Машкоб — водонос.

З

Амак – дядя.

Стихи Михаила Эминеску «Что ты лес качаешься?..» и «Тоскую лишь о том...». Приводятся в переводах Г.Петрова и Ю.Кожевникова.

Стихи Михаила Эминеску «Что ты лес качаешься?..» и «Тоскую лишь о том...». Приводятся в переводах Г.Петрова и Ю.Кожевникова.

6

Цуйка – сливовая водка.

«Галери Лафайет» — универмаг в Бухаресте

8

Плутонер — старшина (р у м ы н.).

9

К э р у ц а — подвода (р у м ы н.).

10

Супа — глинобитное возвышение во дворе или в садике, служащее местом отдыха в жаркое время.

11

Нуркеш — ласкательное от Нурила.